ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

СЕРИЯ:

СОЦИОЛОГИЯ

2018 Том 18 № 2

Научный журнал
Издается с 2001 г.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) **Свидетельство о регистрации** ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г. **Учредитель:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY

2018 Volume 18 No. 2

Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)
4 выпуска в год.
Языки: русский, английский.
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ. Публикует статьи по двум научным специальностям согласно номенклатуре ВАК РФ: 22.00.00 — социологические науки и 09.00.11 — социальная философия. Включен в международную базу данных Скопус, в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com).
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar,WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе *COPE (Committee on Publication Ethics)* **http://publicationethics.org**.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: **http://journals.rudn.ru/sociology**.

Электронный адрес: **socjournalrudn@rudn.university**.

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)
4 issues per year.
Languages: Russian, English.
Indexed/abstracted in Scopus (abstract and citation database of peer-reviewed literature), Ulrich's Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of *COPE (Committee on Publication Ethics)* **http://publicationethics.org**.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues since 2008) and additional information are available at **http://journals.rudn.ru/sociology**.

E-mail: **socjournalrudn@rudn.university**.

Подписано в печать 16.04.2018. Выход в свет 25.04.2018. Формат 70×100/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 21,86. Тираж 500 экз. Заказ № 445. Цена свободная.
Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,
+7 (495) 952-04-41; E-mail: ipk@rudn.university

© Российский университет дружбы народов, 2018

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР

Херпфер К., Университет Вены, Австрия. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., РУДН, Россия. E-mail: narbut_np@rudn.university

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., РУДН, Россия. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Гаспаришвили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В.Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Горшков М.К., академик РАН, доктор философских наук, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н., доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник РАН

Куропятник А.И., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой культурной антропологии и этнической социологии СПбГУ

Маркович Д., доктор философских наук, профессор Белградского университета (Сербия)

Назарова И.Б., доктор экономических наук, директор Аналитического центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Хагендорн Л., доктор философии (социальная психология), почетный профессор Утрехтского университета (Нидерланды)

Чамбаликова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шафранец К., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии образования и молодежи Института социологии Университета Николая Коперника в Торуне (Польша)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Литературный редактор ***К.В. Зенкин***

Компьютерная верстка ***Е.П. Довголевская***

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@rudn.university

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2

Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socjournalrudn@rudn.university

EDITORIAL BOARD

HONORARY EDITOR

Haerpfer C., University of Vienna, Austria. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: narbut_np@rudn.university

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Gasparishvili A.T., PhD in Philosophy, Associate Professor, Deputy Dean of Faculty of Global Studies of Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation of Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Gorshkov M.K., D.Sc (Phylosophy), Academician of Russian Academy of Sciences, Head of Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences

Hagendoorn L., D.Sc (Social Psychology), Professor Emeritus of Utrecht University (Netherlands)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor of School of Political Sciences and Sociology of Complutense University of Madrid (Spain)

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor of Russian Academy of Sciences (Russia)

Kuropjatnik A.I., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology Chair of Saint Petersburg State University

Marković D., D.Sc (Philosophy), Professor of Belgrade State University (Serbia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Head of Analytical Center of National Research University "Higher School of Economics" (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD in Philosophy, Associate Professor of Sociology Chair of RUDN University Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Puzanova Zh.V., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociological Laboratory of RUDN University Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research of Belorussian State University (Belorussia)

Szafraniec K., D.Sc (Sociology), Professor of Chair of Sociology of Education and Youth of Institute of Sociology of Nicolaus Copernicus University in Toruc (Poland)

Čambáliková M., PhD in Sociology, Professor, Researcher at Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences, Head of Sociology and Social Psychology Chair of Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD in Sociology, Professor, Head of Historical Sociology Chair of Faculty of Humanities of Charles University (Czech Republic)

Review Editor ***Konstantin V. Zenkin***

Computer design ***Ekaterina P. Dovgolevskaya***

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socjournalrudn@rudn.university

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

Кравченко С.А. Становление нелинейного знания: новые риски, уязвимости и надежды (на англ. яз.) 195

Карасев Д.Ю. Сетевая теория «периферийных революций» Джеффа Гудвина 208

Вершинина И.А. Репрезентация власти в городском пространстве: концепция Йорана Терборна 226

Гриценко С.А., Чернова Н.И. Густав Стеффен как социолог и политик 238

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Куропятник А.И., Куропятник М.С. Интеркультурализм: постмультикультуральный дискурс социальной интеграции 250

Цвык А.В. «Большая Европа» или «Большая Евразия»? В поиске новых идей для евразийской интеграции (на англ. яз.) 262

Зинькина Ю.В., Шульгин С.Г., Алешковский И.А., Андреев А.И. Некоторые последствия изменений в распределении населения мира: насколько глобализированным останется мир? (на англ. яз.) 271

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ страхов, надежд и опасений (часть 2) 284

Долгорукова И.В., Кириллов А.В., Мазаев Ю.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н. Динамика виктимизации населения России: социологическая оценка 303

Рубан Л.С. Современное девиантное поведение и отношение молодежи к его проявлениям 318

Милошевич-Шошо Б.Ч. Насилие как основное проявление социальных проблем в Боснии и Герцеговине (на англ. яз.) 334

РЕЦЕНЗИИ

Концептуальные и эмпирические находки и пробелы истории эмоций. Рецензия на книгу: Плампер Я. История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 568 с. 345

Турбулентность норм современного общества: концепция «нормальной аномии». Рецензия на книгу: «Нормальная аномия» в России и современном мире / Н.Н. Зарубина и др.; под общ. ред. С.А. Кравченко. М.: МГИМО-Университет, 2017. 281 с. 361

НАШИ АВТОРЫ 368

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Kravchenko S.A. The development of non-linear knowledge: New risks, vulnerabilities, and hopes 195

Karasev D.Yu. Jeff Goodwin's network theory of "peripheral revolutions" 208

Vershinina I.A. Representation of power in the urban space: Göran Therborn's theory 226

Gritsenko S.A., Chernova N.I. Gustaf Steffen as a sociologist and politician 238

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Kuropjatnik A.I., Kuropjatnik M.S. Interculturalism: Postmulticultural discourse of social integration 250

Tsvyk A.V. 'Greater Europe' or 'Greater Eurasia'? In search of new ideas for the Eurasian integration 262

Zinkina Yu.V., Shulgin S.G., Aleshkovski I.A., Andreev A.I. Some implications of the changes in the world population distribution: How globalized will the world remain? 271

SURVEYS, EXPERIMENTS, CASE STUDIES

Narbut N.P., Trotsuk I.V. The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of fears and hopes (Part 2) 284

Dolgorukova I.V., Kirillov A.V., Mazaev Yu.N., Tanatova D.K., Yudina T.N. The dynamics of victimization of the Russian population: A sociological evaluation 303

Ruban L.S. Today's deviant behavior, and the youths' attitudes to its manifestations 318

Milošević Šošo B.Č. Violence as a key manifestation of social problems in Bosnia and Herzegovina 334

REVIEWS

Conceptual and empirical findings and gaps of the history of emotions. Review of the book: Plamper J. Istorija emotsij [The History of Emotions]. Per. s angl. K. Levinsona. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie; 2018. 568 p. 345

Turbulent norms of contemporary society: Theory of "normal anomie". Review of the book: "Normalnaya anomiya" v Rossii i sovremennom mire ["Normal Anomie" in Russia and Contemporary World]. N.N. Zarubina i dr.; pod obsch. red. S.A. Kravchenko. Moscow: MGIMO-University, 2017. 281 p. 361

AUTHORS 368

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No.2 195—207
http://journals.rudn.ru/sociology

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-195-207

THE DEVELOPMENT OF NON-LINEAR KNOWLEDGE: NEW RISKS, VULNERABILITIES, AND HOPES*

S.A. Kravchenko

Moscow State University of International Relations (MGIMO-University)
Prosp. Vernadskogo, 76, Moscow, 119454, Russia
(e-mail: sociol7@yndex.ru)

Abstract. The article considers the non-linear knowledge as the result of the 'arrow of time' effect (I. Prigogine) that determined the new realities in which everything develops increasingly quicker and in a more complex way. The author extends the impact of this effect to the dynamics of knowledge and shows that the modern knowledge acquires the quality of reflexivity and takes on a completely new vector of non-linear development within the so-called 'turns' in the history of science. The transition from linear to non-linear knowledge determines more complex manufactured risks including the threat of dehumanization described in the article. The monitoring of these risks implies that the value-oriented non-linear knowledge should be taken into account not only by natural, technical and social sciences but also by the humanities. Among new challenges to the humanity there are vulnerabilities manifested in the increasing structural dysfunctions of complex social and/or techno-natural systems in the form of 'normal accidents', 'collateral damage', etc. The author believes that key challenges of such vulnerabilities are determined by the dominant pragmatic values of modern knowledge. There is also a new type of development in the form of metamorphosis leading to non-linear transformations, which aggravates the complex character of modern risks and vulnerabilities. The author finds answers to these challenges in the humanistic turn that can ensure the valid knowledge of complex risks and vulnerabilities together with the grounds for better future that people want.

Key words: non-linear knowledge; 'arrow of time'; reflexivity; 'manufactured uncertainties'; risks; vulnerabilities; 'new catastrophes'; 'normal accidents'; 'theory of metamorphosis'; humanistic turn

Today we live in the knowledge society. D. Bell argues that it is characterized by two basic phenomena: 1) "the sources of innovation are increasingly derivative from reach and development (and more directly, there is a new relation between science and technology because of the centrality of theoretical knowledge"; 2) "the weight of the society — measured by a larger proportion of Gross National Product and a larger share of employment — is increasingly in the knowledge field" [12. P. 212]. This situation is the result of great changes in the nature of knowledge determined by the development

* © S.A. Kravchenko, 2017.
The research was supported by the Russian Science Foundation. The project No. 16-18-10411.

of human civilization. The Nobel prize-winner I. Prigogine's theory of 'arrow of time' states that everything (material, biological and social worlds) develops increasingly quicker and in a more complex way: the emerging dynamic and self-organizing systems interact in the ways that strongly influence the probabilities of further events [37].

The effect of 'arrow of time' should be extended to the dynamics of knowledge that becomes a greater factor of change as a "generalized capacity to act and as a model for reality" [1]. In ancient times, knowledge was supported by oral communications in the form of traditions and rituals, that is why social changes were slow and mainly linear. Today knowledge circulates globally [24], its dynamics becomes more complex due to the points of bifurcation, gaps, and traumas, and the new type of knowledge (non-linear) develops with the help of skilled reflexive actors, whose main goal is wealth achieved by the changes in society and nature while choosing options from a set of alternatives. In the long run, risks can turn into chances with hopes and dangers, and produce vulnerable realities in the form of 'new catastrophes' and 'normal accidents' as side-effects of technical innovations, i.e. catastrophic futures will be widely accepted. However, other social goals and practices are also possible: value-oriented humanistic knowledge can become a major factor of the transition to the new trends of global development with hopes for better and secure futures.

THE ESSENCE OF THE NON-LINEAR KNOWLEDGE

Perhaps, the first evidence of the birth of the non-linear knowledge is the call of scientists to critical non-linear reflection. The famous American sociologist R. Merton acknowledged that science develops by standing "on the shoulders of giants" and by becoming 'non-linear': this is "the course taken by history in general, by the history of ideas in particular, and, in a way, taken in scientific inquiry as well" [32. P. xix]. He called to re-reading, reinterpretation of masters of science, and to accumulation of innovative non-linear knowledge. "I have long argued that the writings of classical authors in every field of learning can be read with profit time and time again, additional ideas and intimations coming fleshly into view with each re-reading. What is to be found in writings of the past is anything but fixed, once and for all. It changes as our own intellectual sensitivities change; the more we learn on our own account the more we can learn by re-reading from our freshly gained perspective" [32. P. 45]. Merton developed the idea of non-linear scientific knowledge with such concepts as unanticipated consequences and ambivalences [33; 34], codependence of functions, non-functions and dysfunctions, manifest and latent functions [31] that allow us to deal effectively with many challenges of the 'arrow of time' effect.

A valuable contribution to the theory of non-linear scientific knowledge was made by T. Kuhn who questioned the traditional model of the linear development of science and introduces the ideas of gaps of knowledge and scientific revolutions [30]. In every given historical period the content and functions of science are defined by the paradigm as a set of categorical principles recognized by a group of scientists. However, over time, the scientists begin to face growing anomalies that cannot be explained by existing theoretical and methodological approaches, which leads to the crisis manifesting in gaps

of knowledge and a scientific revolution; thus, a new paradigm is formed. The transition to the non-linear development of scientific knowledge by paradigmatic changes aggravated criticism of the existing knowledge.

One more step to the non-linear knowledge was made by the development of reflexive social sciences with more valid understanding of complex realities taking into account both objective structures and human agency and adding to the research improvisations and game strategies that are typical for non-linear knowledge. According to P. Bourdieu, scientists use certain strategies in the academic struggles for truth to win in the games that influence knowledge and ensure social conditions for better scientific results [14]. To succeed one must non-linearly develop innovative empirical, theoretical and methodological tools. No wonder that reflexive sociology achieved a better integration of empirical research and theory [15]. Bourdieu argues that agency produces both intentional and unintended consequences in an unsynchronized way. If traditional knowledge mainly results in intentional consequences and synchronized structures and functions, the modern knowledge due to its reflexive nature produces uncertainties and side effects of non-linear character.

Another representative of the reflexive social science is A. Giddens who describes the non-linear changes in knowledge as 'institutionalized reflexivity' and 'manufactured uncertainties'. Social actions become knowledge-dependent both on previous social practices and scientific and expert recommendations. As a result, on the one hand, people are free from structures, but, on the other hand, they face more complex uncertainties. "What I call 'manufactured uncertainties' is bound up more with the advance of knowledge than with its limitations" [25. P. 105]. The 'manufactured uncertainties' make scientists rely on the principles of non-linear knowledge.

The British sociologist J. Urry was among the first to connect the foundations of non-linear knowledge with 'complexity and resource turns'. Great changes in the material world, especially climate changes, and heavy environmental pressures due to innovative technologies prove that society and the material world are intertwined and constitute a unique social-environmental reality with absolutely new risks and vulnerabilities which are the product of global carbon networks that affect social and material world. These problems cannot be solved by any single science, that is why Urry calls to a 'complexity turn' based on a new synthesis of scientific knowledge: "I embed society, and hence sociology, as a subject within the analyses of climate change, and more generally within a world of objects, technologies, machines and environments. A strong claim is made here that the social and the physical/material worlds are utterly intertwined and the dichotomy between the two is an ideological construct to be overcome" [41. P. 8]. He also mentions a 'resource turn': "societies should be examined through the patterns, scale and character of their resource-dependence and resource-consequences" [41. P. 16]. These turns imply that to develop a valid non-linear knowledge in the complex social-natural reality we must take into account even the potential of 'insignificant factors' with the help of a new synthesis of sciences.

Finally, U. Beck developed the 'theory of metamorphosis of the world': modern turbulences cannot be conceptualized in terms of traditional changes (some phenomena

change while others remain the same); metamorphosis means non-linear transformations in which "old certainties of modern society are falling away and something quite new is emerging". The very theory of metamorphosis is non-leaner in character even if compared with Beck's earlier theorizing for it "goes beyond theory of world risk society: it is not about the negative side effects of goods but about the positive side effects of bads" [9. P. 3, 4]. The 'metamorphization' has already began, but it should not be overestimated: there are different types of metamorphoses — negative side effects of goods and positive side effects of bads, and their interdependence is a subject for further investigations. Anyway, non-linear realities are already here, and we need non-linear knowledge to act adequately.

Thus, one can see a dramatic shift in scientists' thinking that focuses on innovative knowledge and corresponding innovations: they are not to clarify or improve the existing tools, but to constantly 'rediscover' them under the transforming social and environmental realities. The need to interpret everyday life as a set of anomalies is determined by the global 'arrow of time' effects in societies and nature. The re-discovery of social reality becomes an indicator of valid knowledge [29. P. 27—36].

COMPLEX RISKS: A REQUEST FOR VALUE-ORIENTED NON-LINEAR KNOWLEDGE

In reflexive modernity, the development of knowledge is accompanied by the production of risks. U. Beck defines the risk as a systematic way of dealing with hazards and insecurities of modernization [11. P. 21] as a use of technical innovations based on permanent renewing of knowledge. Thus, "knowledge implies the risk of change. It confronts people without concern for their wants or what they believe are their needs. It throws the established intellectual and social world into turmoil" [19. P. 126]. The transition from linear to non-linear knowledge produces more complex risks that are staged in character: "'Staging' here is not intended in the colloquial sense of the deliberate falsification of reality by exaggerating 'unreal' risks" that leads to non-linearity between anticipation and reality. "It does not matter whether we live in a world that is 'objectively' more secure than any that has gone before — the staged anticipation of disasters and catastrophes obliges us to take preventive action" [10. P. 10, 11]. Mass-media mainly expressing everyday knowledge dramatizes events and adds performances facilitating the staging of risks. According to J.C. Alexander, the author of the theory of performance, "Internet technologies are a means of symbolic production, devices that allow for rapid circulation of performance and drama" [2. P. 7], i.e. the risk script and its performative staging add to the complexity of risks.

Scientific non-knowledge is an important component of the non-linear knowledge. Speaking about the catastrophe in Chernobyl U. Beck argues: "The nuclear explosion was accompanied by an explosion of non-knowledge... What used to count as knowing is becoming non-knowing, and non-knowing is acquiring the status of knowledge" [10. P. 116]. Similar 'explosions' occur more or less regularly in all sciences — yesterday's 'universal' knowledge in the form of a 'true' paradigm today is too 'old' and produces scientific non-knowledge which is not ignorance but a kind of knowledge

presupposing hypothetical risks. In everyday life, we have a paradoxical combination of various kinds of knowledge and non-knowledge increasing the number of 'old' and new risks.

New knowledge phenomena determined the new complex risks that differ from the 'old' ones. U. Beck believes that the new types of risks that promote global anticipation of global disasters and catastrophes have three features: 1) "delocalization: their causes and consequences are not limited to one geographical location or space"; 2) "incalculability: their consequences are in principle incalculable; at bottom they involve 'hypothetical' risks based on scientifically generated non-knowing and normative dissent"; 3) "non-compensability: ...the logic of compensation is breaking down and is being replaced by the principle of precaution through prevention" [10. P. 52].

Beck's approach fails to take into account the complexities of dehumanized effects of risks. Almost all risks are ambivalent and manifest both positive and negative forces. A. Giddens argues that active risk-taking is a core force of the innovative society, renewal of social life and democracy [23]. Wealth and achievements are eventually due to the people's choice of knowledge alternatives and values. Thus, professional risks are usually portrayed as heroic and socially important. But some risk-choices are made within the values of well-being that increase growth and consumption by all means. As growth is a "function of inequality" [3. P. 73] there are complex risks of new segregation. The risks of modern societies confront the industrial social-cultural values and the logic of formal rationality, according to which the pursuit of welfare is rational. However, further growth of production and consumption of goods will inevitably lead to even more complex manufactured risks that can undermine human relations. The monitoring of these risks implies that linear knowledge with a pragmatic goal of wealth and comfort should be replaced by the value-oriented non-linear knowledge based on the achievements of natural, technical and social sciences and also humanities. This synthesis will lead to more valid knowledge of complex risks of dehumanization and to better risk-management.

There are already changes in the perception of our abilities to confront inhumane aspects of modern knowledge. Z. Bauman emphasizes that some human actions lack proper humane characteristics: he metaphorically compares human actions and reflexivity with the birds' ones arguing that 'Twitter' is what birds produce when they tweet. Tweeting plays two roles in the life of birds: it allows them to keep in touch and to prevent other birds from transgressing on their territory. Human Twitter has the same functions: "Once face-to-face contact is replaced by a screen-to-screen variety, it is the surfaces that come in touch. Courtesy of Twitter, 'surfing', the preferred means of locomotion in our hurried life of instantly born and instantly vanishing opportunities, has finally caught up with interhuman communication. What has suffered as a result is the intimacy, the depth and the durability of human intercourse and human bonds" [5. P. 18, 19]. The lack of humane phenomena is also expressed in manufactured risks of 'moral insensitivity', 'heartless kind of behaviour', 'simulating friendship'. Z. Bauman and L. Donskis say that "the function of pain to be an alert, a warning, and a prophylactic tends to be all but forgotten, however, when the notion of 'insensitivity' is transferred

from organic and bodily phenomena to the universe of interhuman relation, and so attached to the qualifier 'moral'. The non-perception of early signals that something threatens to be or is already wrong with human togetherness and the viability of human community, and that if nothing is done things will get still worse, means the danger is lost from sight or played down for long enough to disable human interactions as potential factors of communal self-defense" [8. P. 13, 14]. These complex risks of dehumanization have appeared not by chance — they are the product of human actions and of the inadequate role of humanities in the mainstream knowledge.

There are two risks of dehumanization due to the 'arrow of time' effects. First, the speed of acquiring formal and practical knowledge to create wealth is much greater than the development of humanistic orientation Without the proper human ethics the knowledge as a model for better reality is often opposed to major principles of civil society and even destroys them (the Occupy protests, the social uprising in the Arab Spring, Black Lives Matter, etc. were determined by 'staging performances' of 'happy life' and 'real justice'). As one can see the 'choreographed' agency is based on the rapid acquisition of the dispersed knowledge of unsynchronized individual 'liberation' without ethics. Second, individual actors still do not know how to manage the non-linear development of social-natural systems that function on different principles. "The complex systems world is a world of avalanches, of founder effects, self-restoring patterns, apparently stable regimes that suddenly collapse, punctuated equilibria, 'butterfly effects' and thresholds as systems tip from one state to another". Order and chaos are in a certain state of balance: "the components are neither fully locked into place but yet do not dissolve into anarchy. They are 'on the edge of chaos'" [42. P. 237, 238]. This is a fundamentally new interpretation of social order, in which norm and anomie are combined and humanistic approaches are needed to deal with complex risks. Under the complex risks the restoration of social order almost always leads to unsynchronized emergences and unanticipated consequences pushing society and material world from the equilibrium. The humanity have come to the threshold of the capacity to reflect transient events, to act adequately and rationally, and to make decisions based on humanistic goals.

VULNERABILITIES OF COMPLEX SYSTEMS AS CHALLENGES TO HUMANITY

Until recently, scientists tended to find causes of disasters among external forces such as natural processes or human activities. Now disasters and catastrophes can be caused by internal factors such as 'normal' interactions of people with complex social, technical and environmental systems. In such complex systems, internal factors can get out of control and produce vulnerabilities as increasing structural dysfunctions of complex social systems (social-cultural order of the city) and/or techno-natural systems (nuclear power plant, water and food production), which under the influence of the external agency including high-scale knowledge and technology can make internal forces express their own 'will' as a sort of reflexivity destructive for society. This phenomenon manifests itself in a potential threat of a catastrophe and social fears about emerging uncertainties [27. P. 3—12]. It should be stressed that these complex systems

are the result of the non-linear scientific knowledge that produces social-technical-environmental hybrids changing modern societies. "Scientific knowledge has been accumulating for a very long period, and had a consistent if frequently unperceived effect in shaping the fundamental character of human societies" [20. P. 72]. Societies with such complex systems become turbulent and vulnerable to catastrophic uncertainties in time and space that depend on lots of factors including the system's ability/inability to withstand external and internal burdens of emergent nature. There are new catastrophes due to the non-linear knowledge accumulation, production of non-knowledge and knowledge explosions which manifest themselves in permanent staging of disasters and 'liquid fears'. The very discourse of vulnerability is a great challenge to the human-kind's security.

The American sociologist Ch. Perrow metaphorically named modern vulnerabilities 'normal accidents' — disasters caused not by false management but by everyday functioning of complex technical systems that fail 'normally'. Given the complex system characteristics, "multiple and unexpected failures are inevitable" even with the best management [35. P. 5]. In the book "The Next Catastrophe: Reducing Our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters", Perrow demonstrates that vulnerabilities become increasingly complex: "concentrations of hazardous materials, populations, and economic power in our critical infrastructure make us more vulnerable to natural disasters, industrial/technological disasters, and terrorist attacts" [36. P. vii]. At the same time Perrow stresses that a potential catastrophe is not caused by human errors but by the nature of complex systems — to minimize risks people shoud avoid creating such systems. "Normal Accident Theory (NAT) argued that if we had systems with catastrophic potential that might fail because of their complexity and tight coupling, even if everyone played as safe as humanly possible, these systems should have been abandoned. Catastrophes would be rare, but if inevitable, we should not run the risk" [36. P. xxii.]. Perrow calls for stopping the population growth in ecologically and technologically dangerous areas where the industrial extraction of natural resources is carried out simultaneously with the development of agriculture, fisheries, social and cultural infrastructure. To prevent terrorist threats he advocates closing "all holes in our open society" [36. P. 127]. However, he admits that it is impossible to eliminate 'normal accidents' as attributes of complex social-technical systems: "We are not safe. Nor can we ever be fully safe for nature, organizations, and terrorists promise that we will have disasters evermore. Let us minimize their consequences by minimizing the size of our vulnerable targets" [36. P. 325].

Today's complex systems produce great challenges to humanity, but the idea to abandon them as such or limit their functions is utopian for the self-realization of knowledge makes that impossible. Risks of 'normal accidents' should be minimized not by abandonning complex systems but by their comprehensive humanization on the basis of the integrity of social, natural, technical sciences and humanities. This synthesis should include traditional and even religious knowledge to preserve routine social practices and conservative ways of thinking that can balance or prevent pragmatic risky innovations (in human genetics, new means of conducting wars, etc.). Thus, key

challenges of 'normal accidents' are not potential catastrophes but rather formal rationality and pragmatic values. There can be complex systems based on the knowledge oriented on substantial rationality and existential needs.

An essential contribution to understanding the vulnerabilities of the climate system as a complex social-environmental hybrid was made by A. Giddens. According to him, climate changes are the result of pragmatic, mercantile exploitation of nature within the image of man as 'the measure of all things' and without taking into account environmental sensitivity. Giddens perceives man-made challenges to humanity as an effect that was called 'Giddens's paradox'. The traditional division of natural and social environment is no longer working: in traditional and industrial societies, challenges (different disasters) were mainly natural, now they are mainly determined by people themselves, while the linear thinking and knowledge of climate still prevail. In "The Policy of Climate Change", he argues that this leads to a false, distorted perception of contemporary activities of people: they "find it hard to give the same level of reality to the future as they do to the present" [22. P. 2], which concerns both everyday and global environmental problems. Thus, business and political elites are well aware of the postponed negative side-effects of their policies regarding nature, but due to the pragmatic values in modern knowledge they do not take necessary steps to change the situation for the better — such an 'organized irresponsibility' leads to climate changes that are irreversible. Therefore, the linear knowledge produced challenges for humanity.

The vulnerabilities of the climate system were also considered by J. Urry who proposed an interpretation of 'global warming': it is "a simplifying term since what may happen in different parts of the world may be very different, with possibly significant cooling occurring in some places. Indeed the problem of the term 'warming' stems from the sheer difficulty in predicting long-term future climates" [41. P. 23]. This is a non-linear interpretation of the vulnerabilities of the climate system, which emphasizes turbulence, unpredictability of climate change and possible unintended consequences of the self-realization of knowledge and innovative activities of humanity. Urry also notes the interdependence of climate changes and the destiny of civilizations advocating the study of complex causes of emerging vulnerabilities in the climate system within "a framework which emphasizes non-linearity, thresholds and abrupt and sudden change", and pointing to the limits of the linear knowledge: "it is noteworthy that historical analysis and science did not consider that climate played much of a role in the rise and fall of civilizations. Climate was typically viewed as immutable, not changing much and no being of great consequence for the ways in which special societies develop and change" [41. P. 21—22, 24].

New vulnerabilities have also emerged in the food system as a complex social-environmental hybrid. The functionality of the global-network agribusiness is predisposed to 'normal accidents' such as increasing production of genetically modified products and extension of 'dead land and water' [38. P. 149—210]. These vulnerabilities can be minimized by rejecting the obsolete dogma 'the more food — the better'. In fact, people need quality nutrition that support their physical and spiritual health, and provide them with adequate energy to prevent culture-bound syndromes — anorexia, addiction to fast food, etc.

According to Z. Bauman, there are new vulnerabilities in the form of 'collateral damage' of man's activity. This term was used in the vocabulary of military expeditionary forces but in the 'liquid modernity' it denotes unintended, unplanned effects of human actions in general: while producing knowledge and wealth people did not take in account the possible existential insecurity that accompanies life in the 'liquid modern' world. This insecurity is determined by the very life of the big city and expressed in mixophilia (attractions it can offer) and mixophobia (fears that force people into 'gated communities'). The side effects of these developments are vulnerabilities to existential needs of communicating: people pay a lot of money "to liberate themselves from unwanted company to be left alone. Inside the walls and the gates live loners". The need for security can become addictive: "Once you start drawing and fortifying borders, there is no stopping" [6. P. 65—66, 68].

To overcome these vulnerabilities people need humanistic decisions and actions with at least three basic grounds: (1) until now, the institutional regulation of scientific knowledge is supported by many societies not to overstep the edge of chaos, so the institutional control should take into account 'manufactured uncertainties' and existential needs; (2) the 'arrow of time' effects determine a fundamentally new interdependence of scientists in the form of strong ties allowing intensive interactions and weak ties that are of a particular importance in the networks of 'invisible colleges' [18]; their efficiency depends on the growth of not only number of arithmetic nodes but also of the social space the people are involved (in complex systems weak ties can have a greater impact on the humanization of scientific and technological innovations as network private insurance); (3) the subject of sciences is changing — more scholars consider new vulnerabilities as a part of life and a challenge for the security of humanity.

HOPES FOR BETTER FUTURES: IN SEARCH OF KNOWLEDGE BASED ON SOLIDARITY VALUES

Today scientists rediscover futures based on the non-linear knowledge and the demand for humanization. The general opinion is that there are no simple linear ways to the 'universal common' future of humankind. Not long ago the future was an optimistic 'progress' of all humankind, for instance the theme of the Third ISA Forum (Vienna, 2016) was "The Futures (plural!) We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World". Much attention was given to overcoming the 'global humanitarian crisis' and designing the future — as 'human', 'posthuman' or 'trunshuman' [21. P. 85]. The most important goal is to find humane ways to possible futures. The 13th Conference of the European Sociological Association (Athens, 2017) stressed the necessity of new solidarities in Europe that demands to overcome the limits of the existing knowledge: "The project of questioning reality began in Greece, and sociology from the start shared in this task of highlighting dominant forms of understanding in societies (and science) that limit knowledge, by working towards more fitting kinds of understanding" [43. P. 9]. To fulfill this task we need a humanistic vector in the production of knowledge based on culture and solidarity values for better futures.

M. Castells made a great contribution to understanding modern movements opposing "the cynicism and arrogance of those in power, be it financial, political or

cultural, that brought together those who turned fear into outrage. And outrage into hope for a better humanity... Hope projects behavior into the future. Since a distinctive feature of the human mind is the ability to imagine the future, hope is a fundamental ingredient in supporting goal-seeking action" [17. P. 2—3, 14]. The results of the study of the international research network on alternative economic practices and their cultural foundations (2011—2015) proved that there are social changes to another economy based on values opposing formal rationalism, pragmatism and mercantilism: "the value of life over the value of money; the effectiveness of cooperation over cutthroat competition; the social responsibility of corporations and responsible regulation by governments over the short-term financial strategies... we saw the blossoming of multiple experiences of innovation in organizing work and life: cooperatives, barter networks, ethical banking, community currencies, time sharing banks, alternative means of payments, etc" [16. P. 1].

However, many people fear the alarm discourse about future and turn to the past. According to Bauman, there is a 'global epidemic of nostalgia'. In "Retrotopia" he argues that its major factors lie in the optionality of human choices: the 'civilizing process' was designed as "a reform of human manners, not human capacities, predispositions and impulses"; "in the course of civilizing process, acts of human violence were shifted out of sight, not out of human nature"; "we seem to be settling for a prospect of a continuous and never conclusive war-to-exhaustion between 'good violence' and 'bad violence'"; "we live in a world in which pragmatism is the topmost rationality"; "our world — the world of weakening human bonds" [4. P. 14, 16, 25, 44]. To overcome the global epidemic of nostalgia people should reject the dogma 'there is no alternative' and realize "chances of success and defeat": "More than at any other time, we — human inhabitants on Earth — are in the either/or situation: we face joining either hands, or common graves" [4. P. 167].

U. Beck applied his theory of 'metamorphosis of the world' to support the idea of 'emancipating catastrophism' taking into account 'positive side effects of global risks'. He criticizes the pessimism of the linear approach to modern disasters: "We all know that the caterpillar will be metamorphosed into a butterfly. But does the caterpillar know that? That is the question we must put to the preachers of catastrophe. They are like caterpillars, cocooned in the worldview of their caterpillar existence, oblivious to their impending metamorphosis. They are incapable of distinguishing between decay and becoming something different. They see the destruction of the world and their values, whereas it is not the world that is perishing, but their image of the world. The world is not perishing, as the preachers of catastrophe believe, and the rescue of the world, as invoked by the optimistic advocates of progress, is not imminent either. Rather, the world is undergoing a surprising, but understandable, metamorphosis through the transformation of the reference horizon and the coordinates of the action" [9. P. 26].

The humanistic turn in science based on the synthesis of natural, social and humanitarian knowledge would result in the humanistic paradigm of the non-linear knowledge that allows to analyze complex social, technical, and natural realities. This implies a new type of scientific knowledge that considers societies and all matters through their complexity-dependence and human agency-consequences [26. P. 29].

The representatives of the Enlightenment opposed religious humanism with the secular humanism claiming the self-worth of existence, and reason and rationality as the main values. They advocated the need to overcome all forms of unfreedom defining the man as the measure of all things for his intelligence can produce only goodness and morality. In fact, pragmatic principles of humanism of the Enlightenment set the grounds for anthropocentrism that produced today's complex risks and vulnerabilities. The anthropocene (the current stage of the geological history) is characterized by "soaring carbon dioxide levels, a quantum step upward in erosion, wide-spread species extinction, ecosystem disturbance and acidification of the oceans" [40. P. 45]. These risks and vulnerabilities can be minimized only by overcoming all possible gaps in sociology [28. P. 29—37] and by ensuring the humanistic trend in the development and self-realization of knowledge. The humanistic turn deals with the 'arrow of time' effects of social-cultural and environmental dynamics, synergetically takes into account social and environmental risks and vulnerabilities, searches for new forms of humanism adequate for the complex economic, physical, technical, political and social systems of the contemporary world. The humanistic turn rejects ideas and practices of anthropocentrism, and reveals challenges of humanization of scientific and technological innovations to maintain the balance between them and key environmental processes so that the non-linear knowledge would produce controlled 'manufactured uncertainties'. Thus, the development of scientific ethos can set principles of substantial rationality in the non-linear knowledge as a realistic basis of hopes for the futures people want.

REFERENCES

[1] Adolf M., Stehr N. *Knowledge.* London, New York: Routledge; 2017.
[2] Alexander J.C. *The Drama of Social Life.* Cambridge: Polity Press; 2017.
[3] Baudrillard J. *The Consumer Society. Myths and Structure*. London: Sage; 2017.
[4] Bauman Z. *Retrotopia*. Cambridge: Polity Press; 2017.
[5] Bauman Z. *44 Letters from Liquid Modern World*. Cambridge: Polity Press; 2011.
[6] Bauman Z. *Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age.* Cambridge: Polity Press; 2011.
[7] Bauman Z. *Liquid Fear.* Cambridge: Polity Press; 2006.
[8] Bauman Z., Donskis L. *Moral Blindness. The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press; 2013.
[9] Beck U. *The Metamorphosis of the World*. Cambridge: Polity Press; 2016.
[10] Beck U. *World at Risk*. Cambridge: Polity Press; 2010.
[11] Beck U. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage; 1992.
[12] Bell D. *The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books; 1973.
[13] Bourdieu P. *In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology.* Stanford University Press; 1990.
[14] Bourdieu P. *Homo Academicus*. Stanford University Press; 1984.
[15] Bourdieu P., Wacquant L. The purpose of reflexive sociology (The Chicago workshop). P. Bourdieu, L. Wacquant (Eds.). *An Invitation to Reflexive Sociology.* University of Chicago Press; 1992.
[16] Castells M. et al. *Another Economy is Possible.* Cambridge: Polity Press; 2017.

[17] Castells M. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press; 2015.
[18] Crane D. Social structure in a group of scientists: A test of the "invisible college" hypothesis. *American Sociological Review.* 1969: 34.
[19] Crozier M. *Strategies for Change: The Future of French Society*. Cambridge: MIT Press; 1982.
[20] Fukuyama F. *The End of History and the Last Man.* New York: Free Press; 1992.
[21] Fuller S. Is future 'human', 'posthuman' or 'trunshuman'. 3rd Forum of Sociology. The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Vienna; 2016.
[22] Giddens A. *The Politics of Climate Change*. Cambridge: Polity Press; 2009.
[23] Giddens A. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy.* Cambridge: Polity Press; 1998.
[24] Giddens A. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press; 1990.
[25] Giddens A., Pierson Ch. *Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity.* Cambridge: Polity Press; 1998.
[26] Kravchenko S.A., Salygin V.I. Novyj sintez nauchnogo znanija: stanovlenie mezhdisciplinarnoj nauki [A new synthesis of scientific knowledge: The development of interdisciplinary science]. *Sociologicheskie Issledovanija.* 2015: 10 (In Russ.).
[27] Kravchenko S.A. Stanovjaschajasja slozhnaja socialnaja realnost: problemy novyh ujazvimostej [The developing complex social reality: New vulnerabilities]. *Sociologicheskie Issledovanija.* 2013: 5 (In Russ.).
[28] Kravchenko S.A. Mosty, soedinjajuschie vsevozmozhnye raskoly sociologii radi bolee ravnogo mira [Bridges connecting all possible dissents in sociology for a more equal world]. *Sociologicheskie Issledovanija.* 2015: 2 (In Russ.).
[29] Kravchenko S.A. Pereotkrytie socialnoj realnosti kak pokazatel validnosti sociologicheskogo znanija [Re-discovery of social reality as an indicator of the sociological knowledge validity]. *Sociologicheskie Issledovanija.* 2014: 5 (In Russ.).
[30] Kuhn T. *The Structure of Scientific Revolutions.* University of Chicago Press; 1970.
[31] Merton R. *On Social Structure and Science*. University of Chicago Press; 1996.
[32] Merton R. *On the Shoulders of Giants*. Chicago—London: University of Chicago Press; 1993.
[33] Merton R. The unanticipated consequences of purposive action. *American Sociological Review*. 1936: 1.
[34] Merton R. *Sociological Ambivalence and Other Essays*. New York: Free Press; 1976.
[35] Perrow Ch. *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. Princeton University Press; 1999.
[36] Perrow Ch. *The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters*. Princeton University Press; 2011.
[37] Prigogine I. *The End of Certainty*. New York: Free Press; 1997.
[38] Sassen S. *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy*. Cambridge: Belknap Press, Harvard University Press; 2014.
[39] *The Futures We Want*: *Global Sociology and the Struggles for a Better World*. 10—14 July 2016, Vienna.
[40] Urry J. *What is the Future?* Cambridge: Polity Press; 2016.
[41] Urry J. *Climate Change and Society*. Cambridge: Polity Press; 2011.
[42] Urry J. *Global Complexity*. Cambridge: Polity Press; 2003.
[43] Welz F. *The President's welcome.* 13th Conference of the European Sociological Association. *(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities*. Athens, 2017.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-195-207

СТАНОВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ЗНАНИЯ: НОВЫЕ РИСКИ, УЯЗВИМОСТИ И НАДЕЖДЫ*

С.А. Кравченко

Московский государственный институт международных отношений
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Просп. Вернадского, 76, Москва, 119454, Russia
(e-mail: sociol7@yandex.ru)

В статье утверждается, что нелинейное знание рождается и воплощается в жизнь благодаря эффекту «стрелы времени» (И. Пригожин), согласно которому вся материя развивается все быстрее и все усложняющимся образом. Автор распространяет этот эффект на динамику знания, показывая, что современное знание обретает качество рефлексивности и совершенно новый вектор нелинейного развития, проявляющийся в так называемых «научных поворотах». Переход от линейного к нелинейному знанию производит более сложные риски, включая риски дегуманизации, которые и рассматриваются в статье. Мониторинг этих рисков требует учитывать ценностно-ориентированное нелинейное знание, которое включают в себя не только достижения естественных, технических и социальных, но и гуманитарных наук. Среди новых вызовов человечеству — уязвимости, проявляющиеся в усилении структурных дисфункций сложных социальных и/или техногенно-природных систем и принимающие формы «нормальных катастроф», «побочного ущерба» и т.д. Автор полагает, что основные уязвимости порождены доминированием прагматических ценностей в современном знании. Наряду с новыми угрозами в нашей жизни появился и новый вид развития — метаморфозы, или нелинейные преобразования, значительно усложняющие и без того сложный характер рисков и уязвимостей. Ответ на эти вызовы автор видит в гуманистическом повороте, который породит более достоверное знание о сложных рисках и уязвимостях на основе моделей лучшего будущего.

Ключевые слова: нелинейное знание; «стрела времени»; рефлексивность; «рукотворные неопределенности»; риски; уязвимости; «новые катастрофы»; «нормальные катастрофы»; «теория метаморфозы»; гуманистический поворот

---

* © Кравченко С.А., 2017.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ. Проект № 16-18-10411.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 208—225
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-208-225

СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ «ПЕРИФЕРИЙНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» ДЖЕФФА ГУДВИНА*

Д.Ю. Карасев

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Просп. Вернадского, 84, Москва, Россия 119571
(e-mail: dk89@mail.ru)

Предмет статьи — синтетическая теория революции Джеффа Гудвина, претендующая на то, чтобы стать теорией революции четвертого поколения, а также особенности ее применения в рамках сравнительно-исторического исследовании периферийных революций «короткого двадцатого века». Первая часть статьи показывает истоки новаторского теоретико-методологического синтеза Дж. Гудвина: возможности и ограничения различных структурных теорий государства, а также сетевого анализа. Синтез государственно-конструктивистского подхода и сетевой модели структурного конструктивизма позволяет, с одной стороны, избежать ошибок предшествующих поколений теорий революции, связанных в основном с их неспособностью учесть каузальный вклад культурных и агентных детерминант, а, с другой, защищает от противоположных ошибок эссенциализма, культурного детерминизма, волюнтаризма и т.д. Вторая часть статьи описывает использование теоретической модели для анализа волн периферийных рефолюций в Юго-Восточной Азии в 1945—1955-е годы, в Центральной Америке в 1970—1980-е годы и в Восточной Европе в 1989 году. Росту революционных движений способствуют бюрократические, патримониальные и эксклюзивные режимы со слабой инфраструктурной властью, но свергают чаще всего патримониальные. Политическое угнетение и насилие больше способствуют солидарности периферийных революционеров, чем социально-экономические факторы, например, бедность. В заключении представлены выводы Гудвина о будущем революций и теорий революций. В XXI веке мир увидит меньше революций и больше движений за глобальную справедливость. В социологии революции наблюдается все меньше попыток создания общей теории революции и все большая специализация в изучении отдельных революций и их типов на основе синтетической структурно-культурной методологии.

Ключевые слова: Джефф Гудвин; социология революции и общественных движений; государство-центричный подход; сетевой анализ; постколониализм; проблема структуры/агентности, культуры

Академическую институционализацию социологии революции в качестве отрасли социологического знания принято связывать с именем П. Сорокина и его одноименной работой. Но сколь сильно изменилась социологическая теория революции с тех пор? Общее представление об этом можно составить, обратившись к тем классификациям, которые содержат элемент периодизации. Наиболее подходящей (хотя и не бесспорной [см., напр.: 7]) выглядит известная классификация Дж. Голдстоуна, выделяющая три поколения теорий революции. К «первому поколению» относятся теории с узким предметным полем и социально-психологи-

* © Д.Ю. Карасев, 2018.

ческим объяснением причин революций. Ко второму поколению — теории с расширенным предметным полем (включая многочисленные случаи коллективного и политического насилия второй половины XX века за пределами Европы), предлагающие психологические, социологические и политические объяснения (соответствующие подвиды второго поколения). Третье поколение составляют теории, избегающие ошибки расширенного и узкого предмета (группируя революционные кейсы, сравнивая и противопоставляя их группами), которые предлагают структурное («неволюнтаристское») объяснение революций и их результатов в терминах государственных, классовых, демографических, экономических структур и международных отношений [11]. Из сказанного легко сделать предсказуемый вывод, что двумя детерминантами трансформации социологических теорий революции являются общие теоретико-методологические изменения в социологии (смена парадигм) и изменение предмета (появление новых «революциобразных» кейсов).

Некоторое упрощение истории социологии революции позволяет сделать более содержательные выводы. Можно говорить о влиянии на социологию революции (прежде всего историческую) политической истории «сверху» и ревизионистской истории «снизу», в социологии соответствующая дихотомия в более широком теоретическом ключе известна как «проблема макро/микро». Иными словами, не только революции бывают «сверху» и «снизу», но и изучать и объяснять их можно «снизу» и «изнутри» (например, организационным потенциалом революционеров, их уровнем мобилизации, внутренней солдирности и поддержки населения, наличием необходимых ресурсов) или «сверху» и «извне» (например, политической неспособностью старого режима, кризисом государственных финансов, войнами, ошибками политических лидеров по обе стороны баррикад, геополитической, экономической или демографической коньюнктурой и т.п.).

Соответственно, существенная трансформация теорий революций началась лишь с третьего поколения и попыток (независимо от их успеха) объединить подходы, которые прежде использовались по отдельности. Тогда призыв Дж. Голдстоуна перейти к «четвертому поколению», по сути, есть ни что иное, как призыв к синтезу всех незаслужено забытых достоинств предыдущих поколений с «третьим» под давлением общесоциологических и особых для социологии революций теоретико-методических дебатов. Если бы не новые кейсы, вечное теоретическое возвращение «назад» в объясненнии революций поставило бы под вопрос реальное развитие этой отрасли социологического знания.

Что касается предметной стороны, то можно назвать революционные кейсы, появление которых заводило в тупик каждое из трех предшествующих поколений. Так, кейсом, который «убил» третье поколение и стал стимулом для четвертого, была Иранская революция 1979 года [22]. Доказательством тому служит книга Ч. Курцмана, посвященная Ирану [18], главы которой выстроены так, чтобы наглядно показать, как теории третьего поколения одна за другой терпели фиаско в попытках объяснить Иранскую революцию. Социологическая теория революции всегда запаздывает за своим предметом, поскольку на то, чтобы признать, что проблема не в специфике неудобного кейса, а в теории, всегда требуется время. Американский социолог Дж. Гудвин не обращается специально к иранскому

кейсу, но его синтетическая теория — хороший пример движения к четвертому поколению, она отвечает всем теоретическим требованиям и одновременно применима к нетипичным на первый взгляд периферийным кейсам.

Т. Скочпол называет исследования периферийных революций своего бывшего аспиранта Гудвина одними из самых влиятельных в этой области [22. С 304]. Методологический вклад Гудвина в создание синтетической теории революции четвертого поколения признает и Дж. Голдстоун, согласно которому «ни одной общепризнанной теории четвертого поколения еще не создано, но контуры такой теории ясны» [3. С. 103]. Это теория, (а) пересматривающая основные допущения структурных объяснений третьего поколения, (б) синтезирующая структурные, агентные и культурные объяснения, (с) уделяющая больше внимания вопросам идеологии, идентичности, эмоций, лидерства, гендерных проблем и т.п. Методология Гудвина соответствует всем этим критериям, но ее практическая реализация потребовала существенных упрощений.

Реконструкцию теоретического синтеза Гудвина следует начать с его тщательного SWOT-анализа структурных подходов к объяснению революций через роль государства. По мнению Гудвина, подходы на основе оценки роли государства (state-centered approach) были и во многом остаются наиболее мощным инструментом исследования социальных революций, а «модные» постструктуралистские концепции (зачастую редуцирующие все к культуре и ментальности), напротив, вызывают массу вопросов. Гудвин выделяет четыре типа подходов на центральной роли государства: *автономия государства, способности государства, политическая возможность, государственно-конструктивистский подход*.

Пример использования перспективы (относительной) автономии государства от господствующего класса — классическое исследование Т. Скочпол [23]. Вторая перспектива концентрируется на материальных или организационных способностях государства (которые М. Манн называл «инфраструктурной властью» [19]) достигать своих политических целей вопреки сопротивлению прочих могущественных акторов. Перспектива политической возможности уделяет особое внимание реакциям и проницаемости государства, или «политической системы», для коллективного действия или влияния мобилизованных групп, например, это исследование Ч. Тилли [25] (хотя, «поздний» Тилли гораздо ближе к сетевому анализу).

Наконец, государственно-конструктивистский подход акцентирует внимание на том, как государство (часто непреднамеренно) оформляет разные идентичности, социальные связи, идеи и даже эмоции акторов гражданского общества. В этом случае центральный вопрос не в том, есть ли политическая возможность действовать у уже оформленных акторов, а в том, как действия государства и прочих акторов власти обуславливают (конструируют) когнитивные способности и моральное оправдание определенного вида коллективного действия, коллективных эмоций, идентичности и идеологии революционеров.

«Отчего столько внимания государству, если революции с очевидностью являются комплексными историческими процессами, которые включают множество экономических, социальных, культурных, организационных, социально-психологических и волюнтаристских факторов?» [13. С. 24].

Во-первых, государства и революции связаны исторически. Современное государство отвечает на вопрос, почему революция является «модерновым» феноменом, который не имел места до XVII века: «нет государств — нет революций» [14. С. 12].

Во-вторых, подход на основе центральной роли государства позволяет зафиксировать специфику революционных движений: в отличие от прочих типов общественных движений их цель — захват или разрушение государственной власти. Государство с неизбежностью является целью революционных движений, поскольку без государственного аппарата принуждения или вопреки ему невозможны кардинальные социальные изменения.

В-третьих, данный подход позволяет исследовать условия формирования революционных движений: группы со специфической революционной идеологией, радикальной или высоко-рисковой стратегией борьбы способны завоевать поддержку широких слоев населения только там и тогда, где и когда этой поддержки лишилось государство. Ослабление или распад государства является необходимым условием успеха революционного движения.

Как любой другой подход, структурная перспектива на основе центральной роли государства обладает своими ограничениями, поскольку общества влияют на государство не в меньшей, а, возможно, в большей степени, чем государства на общества; госслужащие обычно не являются автономными акторами, а, напротив, часто служат интересам господствующего класса или (иногда) вооруженных нижних классов; будучи «структурным», подход не фиксирует цели (иногда стратегические) и культурные измерения социального действия; поскольку «государства» и «общества» интерпретируются друг через друга, само различие между ними сегодня несостоятельно и должно быть устранено [14. С. 18—21]. Наиболее общим недостатком подхода является отсутствие негосударственных или неполитических (независимых) переменных, объясняющих ассоциативные социальные сети, материальные ресурсы, коллективные верования, культурные дискурсы, а также эмоции. На базе структурного подхода, сфокусированного на роли государства, невозможно осуществить нейтральный синтез каузального вклада разных сфер в социальные революции. Но это возможно на базе сетевого подхода, который уделяет особое внимание социальной организации и межличностным связям в процессе мобилизации движений. Гудвин считает сетевой анализ более перспективным направлением исторической социологии (революции).

Отметим сходства и различия структурного подхода на основе центральной роли государства и сетевого анализа. Оба ведут начало от структурного функционализма, но источниками своеобразия сетевого подхода являются формальная социология Г. Зиммеля, теория обмена Дж. Хоманса и социометрия Я. Морено.

В отличие от структурного подхода, единицами анализа которого являются разного рода (материальные/нематериальные) «*сущности*», единицами сетевого анализа выступают связи, транзакции, узлы, потоки, а не индивиды, структуры, группы, нормы, институты и т.п. Антиэссенциализм сетевого анализа позволяет синтезировать социальную структуру, культуру, социальную психологию и агентность в историческом объяснении, поскольку речь идет лишь о связях, а они

могут быть любыми: символическими, родственными, материальными и т.д. Если подход на основе центральной роли государства является макроподходом, то сетевой не может интерпретировать групповое поведение в отрыве от индивидуального и тем самым устраняет разрыв «макро-микро».

Все это Гудвин называет *«антикатегорическим императивом»*, который запрещает объяснять человеческое поведение и социальные процессы исключительно в терминах «категорических атрибутов» акторов, будь то индивидуальных или коллективных. Сетевой анализ строит свое объяснение не на основе таких статических атрибутов, как принадлежность к классу, влияние классового сознания или политической партии, пол, возраст, вероисповедание и т.д., а на основе включенности акторов в динамическую структуру социальных отношений, мест, которые люди временно занимают в сети социальных связей.

Гудвин выделяет три вида сетевых моделей исторического объяснения, а внутри каждого вида — реляционную и позиционную разновидности. *Реляционный подход* объясняет определенное поведение или процессы на основе социальных связей, их плотности, силы, симметричности, диапазона и т.п. *Позиционный подход* истолковывает поведение и процессы не в терминах связи между акторами, а с точки зрения их позиций относительно прочих акторов социальной системы. Центральным понятием позиционного анализа выступает «структурная эквивалентность» — когда два или более актора разделяют отношения «лицом к лицу» применительно к третьему актору. Набор «структурно эквивалентных» отношений формирует «позицию», а акторы, ее разделяющие, — «блок». В итоге создается «блочная модель» социальной системы.

«Первая из трех имплицитных моделей [исторического объяснения], модель *структурного детерминизма*, пренебрегает потенциальной каузальной ролью верований, ценностей и нормативных обязательств актора, или ролью культурных и политических дискурсов в истории. Она также пренебрегает теми историческими конфигурациями социального действия, которые оформляют и трансформируют изначальные социальные структуры в первую очередь.

Второй и более удовлетворительный (но все же проблематичный) подход — *структурный инструментализм*. Здесь исследования признают первостепенную роль социальных акторов в истории, но, в конечном счете, концептуализируют их активность в узкой утилитарно-прагматической и инструментальной формах» [8. С. 1426]. «Яркой тенденцией структуралистских инструменталистов является явное или скрытое „протаскивание“ в исследования концепций агентности из сферы теорий рационального выбора» [8. С. 1428]. По сути, модель структуралистского детерминизма представляет собой серию моментальных сетевых «снимков» социальной структуры, которая детерминирует поведение акторов независимо от их убеждений или верований. Соответственно, данная модель предлагает минимум объяснений конкретных исторических механизмов изменений, ведущих от одной сетевой конфигурации к другой. Структуралистский инструментализм, напротив, признает трансформационную роль социального действия, однако получается, что акторы «творят историю» не намеренно, а как бы случайно, в ходе погони за деньгами, статусом и властью.

«И, наконец, самая сложная сетевая модель социального изменения, которую мы называем *структурным конструктивизмом*, признает особый исторический диалог идентичностей и „решительных действий“» [8. С. 1426]. Структурный конструктивизм подтверждает возможность того, что цели и стремления акторов могут быть комплексными, мультивалентными и исторически детерминированными; он исследует, например, такие сложные процессы, как связь на основе идентичности, структурная направленность обучения и уступчивый оппортунизм. Этот подход наиболее адекватен с точки зрения концептуализации агентности и потенциального трансформирующего влияния культурных идиом и нормативных обязательств на социальное действие. Примеры Гудвина [8] для сетевых моделей исторического объяснения, реляционной и позиционной разновидностей каждой модели, удобно представить в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1

Сетевые модели исторического объяснения

Модели	Модель структурного детерминизма	Модель структурного инструментализма	Модель структурного конструктивизма
Реляционный анализ	*Rosenthal N.* et al. (1985) Social Movements and Network Analysis: A Case Study of Nineteenth-Century Women's Reform in New York State	*Gould R.V.* (1991) Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune, 1871	*McAdam D.* (1988) Freedom Summer
Позиционный анализ	*White H.C.* et al. (1976) Social Structure from Multiple Networks. I. Blockmodels of Roles and Positions	*Bearman P.S.* (1993) Relations into Rhetorics: Local Elite Social Structure in Norfolk, England, 1540—1640	*Padgett J.F., Ansell C.K.* (1993) Robust Action and the Rise of the Medici, 1400—1434

Синтез *государственно-конструктивистского* подхода и сетевой модели *структурного конструктивизма* лег в основу сравнительно-исторического исследования Гудвина [13]. Изучению революции, по мнению социолога, должен предшествовать анализ общественных движений [40] — каким образом под влиянием структурных и культурных факторов конструируются общественные движения, их смыслы и идентичности, а также как они становятся революционными, изменяя условия своего возникновения. В терминах сетевого анализа речь идет о том, как социальные, культурные, социально-психологические и прочие сети создаются, воспроизводятся и изменяются в ходе социального действия, что, по сути, отражает понятие агентности, выступающее (по меткому выражению Х. Уайта) «динамическим лицом социальной сети». Стремясь построить собственные исторические объяснения, Гудвин заимствует ряд положений теории структурации Э. Гидденса [2], неофункционализма Дж. Александера [4]. Гудвин расширяет сетевую модель структурного конструктивизма концепцией аналитической автономии социальных, культурных и социально-психологических структур, а также неопрагматистской концепцией агентности.

Применительно к оценке роли культурных факторов центральной задачей для Гудвина становится избежание того, что М. Арчер [5] называет ошибкой

«центрального объединения» культуры и социальной структуры. Вслед за Арчер и Александером Гудвин признает аналитическую автономию культурных и символических структур от структур социально-экономических. «Мы предполагаем, что культурные образования являются значимыми потому, что они одновременно ограничивают и дают возможности историческим акторам, точно так же, как это делают сетевые структуры» [8. С. 1440].

Культурные и социально-сетевые структуры «оформляют» акторов в той же степени, в какой акторы оформляют структуры, воспроизводя и изменяя их. Культурные структуры ограничивают акторов, предоставляя им спектр аргументов, которые артикулируются или артикулировались в публичных дискурсах ранее и потому могут быть интерпретированы или поняты другими. Культурные образования также позволяют историческим акторам двигаться в разных направлениях, например, систематизируя их понимание социального мира и самих себя, конструируя их идентичности, цели и стремления, признавая определенные мнения значимыми или выдающимися, а другие — нет.

Гудвин указывает и на «подводные камни» культурных объяснений в исследованиях революций. Во-первых, культурные объяснения могут быть столь же детерминистскими, как структурные, выставляя акторов «культурными марионетками», которыми умело манипулируют. Во-вторых культурные объяснения иногда неправильно интерпретируются как агентные по природе: «культура отождествляется с волюнтаристским действием» [9. С. 366.] Объяснения второго рода недооценивали ограничивающий (контрреволюционный) потенциал культуры (этот недостаток присущ бирмингемской школе и «слабой программе» культурсоциологии).

Социально-психологический контекст выступает еще одним аналитически автономным измерением социального действия наряду с социально-экономическим и культурным. Он включает в себя разные межличностные привязанности, связи эмоциональной солидарности, враждебность, агрессию, волевые аспекты, которые дают возможность и ограничивают действия, направляя потоки и инвестиции («катексисы») эмоциональной энергии. Узлы социально-психологической сети социального действия носят не символический (как в случае культурного контекста) или позиционный (как в случае социально-структурного), а либидинальный характер. Из работы З. Фрейда «Психология масс» Гудвин заимствует концепцию либидинального устройства группы (революционного движения).

По сравнению с теориями рационального выбора модель «либидинальной экономики» неоправданно редко использовалась для объяснения коллективного поведения. Исключением являются работы Ф. Слейтера [24] и Л. Козера [6]: Слейтер анализировал разные формы эмоционального или «либидинального разрыва» с группами, в то время как Козер исследовал то, каким образом «жадные институты» (включая политические организации) пытались его не допускать. Высокорисковые общественные движения требуют от участников, особенно ключевых, «пуританизма», дисциплины и решительно ограничивают их свободное время. Поэтому любые сильные эмоциональные связи, требующие больших инвестиций времени, являются угрозой.

Слейтер называет три основные либидинальные угрозы групповой солидарности: «диадический выход» (диада, сексуальная пара), «семейный выход» (нуклеарная семья и родство в целом), и «нарциссический выход». На примере восстания хуков (Хукбалахап) на Филиппинах Гудвин демонстрирует, как либидинальное устройство (структура связей) движения подорвало коллективную идентичность и дисциплину, создав условия для эмоционального/«либидинального выхода» его участников [16].

Либидинальная экономика хуков была довольно простой: основу движения составляли ветераны войны с Японией, которым на момент восстания было за тридцать, у которых были семьи и дети в родных деревнях, что усиливало их солидарность и решимость защищать родных. Поддержку оставленной семье и движению оказывал род. Партизанское движение медленно продвигалось вперед, обороняя деревню за деревней, не имея возможности вернуться к родным. Женщины в движении хуков были представлены слабо и на вспомогательных ролях. Формальной процедуры развода на Филипинах не было. Своего рода революционные свадьбы не решили проблемы «сексуального оппортунизма». Высокорисковая стратегия требовала от партизан мобильности, а умножающиеся дети и диадические сильные связи препятствовали ей и в конце концов подорвали внутреннюю солидарность движения.

Таким образом, анализ и модификация структурных подходов к объяснению революций на основе центральной роли государства приводит Гудвина к сетевой методологии, которую он дополняет оценкой влияния культуры, социальной психологии и агентности. Гудвин выделяет три рода аналитически автономных измерения/контекста социального действия: социально-структурный, культурный и социально-психологический.

Благодаря сетевой методологии обо всех контекстах можно говорить в одних и тех же терминах отношений, связей и транзакций. Эти реляционные контексты частично пересекаются и накладываются, оставаясь в то же время автономными. «Структуры» (связи) соответствующих контекстов никогда полностью не детерминируют социальное действие, более того они создаются, воспроизводятся и изменяются в ходе него, что находит отражение в понятии «агентность». Агенты социального действия — индивидуальные или коллективные акторы, культурные смыслы, социально-экономические ценности, идентичности, либидиальные проявления (и прочие «сущности», узлы связи) — получают форму и содержание в ходе социального действия, не обладая ими вне и помимо него. В результате мы получаем сложную схему (рис. 1) эмпирического социального действия в духе Александера, на основе которой Гудвин выстраивает историческое объяснение (здесь Гудвин заимствует концепцию агентности «неопрагматиков» М. Эмирбаер и А. Мише, которая в целом отражает триаду «создание — воспроизводство — изменение» сети социального действия, детально раскладывая ее по измерениям, т.е. «эмпирическое социальное действие» в схеме Гудвина похоже на «креативное действие» Х. Йоаса).

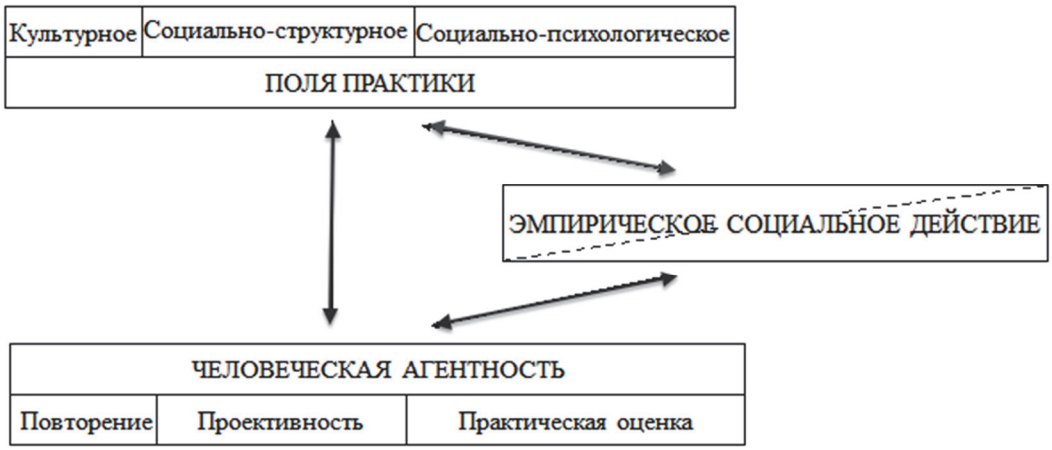

Рис. 1. Реляционные контексты действия (и агентности) [9. P. 364]

Разработанную методологию Гудвин использовал в сравнительном исследовании периферийных революций и радикальных революционных движений «короткого двадцатого века» [13]. Не ставя перед собой цель разработать общую теорию периферийных революций, Гудвин выявляет сходства и различия механизмов, обуславливающих траекторию революционных движений — как успешных, так и потерпевших неудачу. Сравнивая и обобщая условия успеха и провала революционных движений, он суммирует причины периферийных революций. Теория революций в Третьем мире разработана Гудвином совместно с Дж. Фораном на основе сравнения результатов Исламской и Сандинистской революций 1979 года и изложена в статье 1993 года «Революционные результаты в Иране и Никарагуа» [10].

Но в чем же причина использования столь тяжеловесного методологического аппарата применительно к сложным и гетерогенным периферийным кейсам? Ответ Гудвина — стереотипы, которыми овеяны эти революции и которые препятствуют их теоретическому осмыслению.

Во-первых, было принято считать, что революции в Третьем мире являются не социальными, а национально-осободительными и с окончанием деколонизации во второй половине XX века прекратятся. Но революции продолжались, причем не только в колониальных, но и в формально независимых странах Третьего мира (и продолжаются до сих пор).

Во-вторых, решающим фактором процесса и исхода революции в Третьем мире считалось вмешательство сверхдержав (эта ошибка широко распространена среди современных исследователей «цветных революций»). Но некоторые клиентеллистские режимы, располагающие поддержкой США или СССР, терпели поражение от революционеров, не имевших аналогичной поддержки противоположного полюса холодной войны.

В-третьих, успехи революций и мобилизаций часто объясняли участием именитых профессиональных революционеров типа Ф. Кастро и Э. Че Гевары, но многие известные лидеры периферийных революций гибли, а революционные движения не исчезали, а иногда и укреплялись.

В-четвертых, периферийные революции объяснялись ужасной бедностью Третьего мира: считалось, что бедность и восстания уйдут в прошлое по мере догоняющей индустриализации и развития социального государства. Как известно, ни первого, ни второго в Третьем мире, особенно в Центральной и Латинской Америке, за редкими исключениями, не произошло. И наоборот, отсутствие революций в бедных странах объясняли и часто продолжают объяснять поддержкой США, но сверхдержавам не всегда удавалось предотвратить революции, например, Франции — революции во Вьетнаме и Алжире, США — во Вьетнаме, Кубе и Никарагуа. Некоторые периферийные режимы не способны выстоять против повстанцев, кто бы за ними не стоял, с другой стороны, некоторые революционеры проводили политику, которую не могли приветствовать их патроны. Таким образом, сравнительный анализ периферийных кейсов демонстрирует, что традиционные геополитические, макросоциологические структурные подходы или признание роли великих личностей («сверху» и «извне») не могут объяснить, почему революции произошли (удались) в одних, но не в других случаях.

В терминах Дж. Махоуни [20] если фактор, которому приписывается причинная значимость, встречается и в положительных (когда революция произошла), и в отрицательных кейсах (когда ее нет или она не удалась), то фактор «нерелевантен», и это относится ко всем вышеперечисленным факторам. Бедность стран Третьего мира была «тривиальным» фактором по сравнению с развитыми странами, но внутри Третьего мира — фактором «нерелевантным». Иначе почему на Кубе, в одной из наиболее развитых стран Латинской Америки, революция произошла, а на Гаити или в Доминиканской Республике — нет?

Аналогичным образом часто заблуждаются и приверженцы подходов, рассматривающих периферийные революции как крестьянские войны. Зачастую они недооценивают влияние других коллективных участников революционных коалиций, например, национальных меньшинств с их националистическими идеологиями или городских групп. Выбор в пользу одних, а не других идеологий для агитации, а также смеси идеологий в ходе революционной мобилизации часто порождает широкие, но хрупкие революционные коалиции, участники которых далеки от идеологического фанатизма. Многие теории периферийных революций склонны объяснять это обстоятельство тем, что режимы лишают определенные группы услуг, которые те считают естественным результатом налогов и лояльности [см., напр.: 27]. Однако, по мнению Гудвина, печальная реальность такова, что большинство периферийных режимов не передавали и не собирались передавать никакие коллективные блага широким массам, а подавляли недовольство последних и попытки реформ, т.е. необходима более чувствительная микросоциология революции, не обремененная моделью агентности из теории рационального выбора.

Таким образом, особенности старого режима и организационный потенциал революционеров — важнейшие детерминанты, причем они являются взаимозависимыми переменными с не вполне ясным направлением каузальных связей в каждый конкретный момент революционного процесса и зависят от третьих факторов. Соответственно, периферийные революции (и революции вообще) невозможно изучать и объяснять только «снизу/изнутри» или «сверху/извне»

(проблема макро/микро). Отказ от этих дихотомий делает предметом исследования сложные и частично пересекающиеся и совпадающие сети исторического и географического пространства холодной войны, которые приходится тщательно распутывать и революции в которых необязательно детерминированы идентичным набором факторов. По этой причине Гудвин не стремится разработать общую теорию периферийных революций: факторы во всех кейсах одни и те же, но картинки революционного калейдоскопа, в которые они в каждом конкретном случае складываются, различаются даже при внешне схожем результате.

Сложность и неоднородность предмета делает главной задачей его редукцию для целей сравнительно-исторического анализа. Отобранные примеры революционных движений Гудвин разделяет по регионам, а внутри каждого региона — по степени успеха: от неудачной мобилизации до захвата государственной власти. Иными словами, в терминах позиционного анализа Гудвин предлагает «блочную» модель периферийных революционных движений эпохи холодной войны (табл. 2).

Таблица 2

«Блочная» модель периферийных революционных движений холодной войны

Результат	Юго-Восточная Азия, 1945—1955-е	Центральная Америка, 1970—1980-е	Восточная Европа, 1989
Неудавшаяся мобилизация	Индонезия	Гондурас	Чехословакия, ГДР
Успешная мобилизация без взятия власти	Малайя, Филиппины	Сальвадор, Гватемала	Польша, Венгрия
Успешная мобилизация и взятие власти	Вьетнам (1954)	Никарагуа (1979)	Румыния (1989)

Гудвин исследует три геополитических пространства холодной войны: Юго-Восточную Азию 1945—1955-х годов, Центральную Америку 1970—1980-х годов и Восточную Европу 1989 года. В качестве независимой переменной он берет влияние хода и расстановки сил холодной войны на распространение транснациональных «циклов протеста»/«революционных волн». Общность геополитического и историко-идеологического контекстов, несмотря на прочие различия, позволяет Гудвину зафиксировать структурную эквивалентность данных регионов как «периферийных». «Периферийное — это общество, управляемое периферийным государством» [13. С. 15]. Периферийные (колониальные, пост- или неоколониальные) — государства, власть и политика которых более ими менее детерминированы или жестко ограничены могущественным «ядром» или «метрополией», государством или системой государств.

В результате конфликты интересов, идентичностей и видения будущего возможны внутри «ядра», между «ядром» и «периферией» или внутри «периферии». Более дюжины примеров периферийных революционных движений подобраны Гудвином таким образом, чтобы в каждом из трех регионов присутствовало хотя бы одно движение, которому (а) не удалось создать широкую мультиклассовую (или мультиэтничную) коалицию с международной поддержкой, (б) удалось создать широкую коалицию, но не захватить государственную власть, и (в) удалось мобилизоваться и захватить государственную власть. Степень успешности стано-

вится своего рода двухуровневой зависимой переменной и фиксирует вторую позицию — структурную эквивалентность революционных движений (различаются общественные, радикальные и революционные движения [см.: 13. С. 10]), которая независимо от их успеха, региона, идеологии или радикальности обуславливает нацеленность на силовой захват государственной власти.

Необходимо отметить, что выводы о причинах побед и поражений революционных движений Гудвин делает на основе сравнения леворадикальных вооруженных партизанских движений Юго-Восточной Азии и Центральной Америки (монография 2001 года [13] представляет собой дополненное восточно-европейскими кейсами и методологическими новшествами диссертационное исследование 1988 года «Государства и революция в Третьем мире»). Цель обращения к «революционной волне» 1989 года — подтвердить валидность объяснений, предложенных на основе двух первых регионов. Опыт Восточной Европы также необходим для обобщений и предсказаний будущего социологии революции и ее предмета.

Согласно *государственно-конструктивистскому* подходу наиболее общим фактором динамики революционных движений служит государство, поэтому вывод Гудвина звучит более чем осторожно и скупо: «определенные типы государств и режимов непреднамеренно способствуют созданию революционных движений или, точнее, такого типа политических контекстов, которые способствуют умножению революционеров» [13. P. 292].

Можно представить это вывод графически [13. P. 28—29]. На рисунке 2 изображены концептуальные рамки, в которых располагаются реальные государства: по вертикали ранжируются типы государств от бюрократического/рационального к патримониальному/клиентелистскому), по горизонтали — типы политических режимов (от либеральных и инклюзивно-демократических до эксклюзивно-репрессивных диктатур), на оси «z», отложена сила «инфраструктурной власти» государства. Ниже в заданной системе координат представлены государства, способствующие развитию революционных движений (рис. 3), и те, что наиболее вероятно будут этими движениями свергнуты (рис. 4).

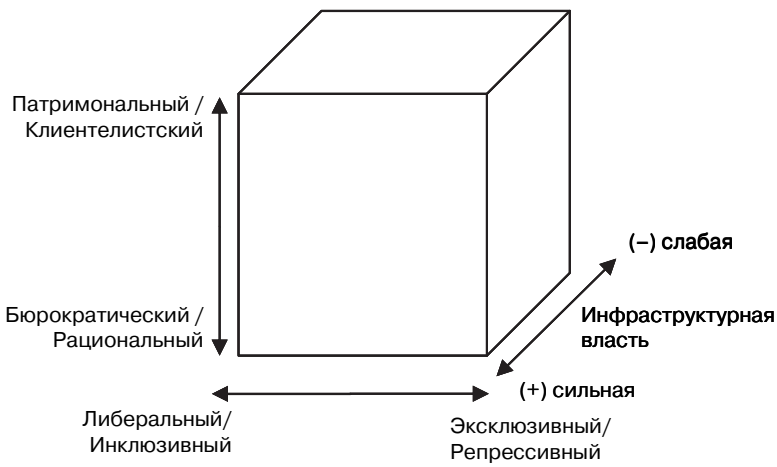

Рис. 2. Типы государств

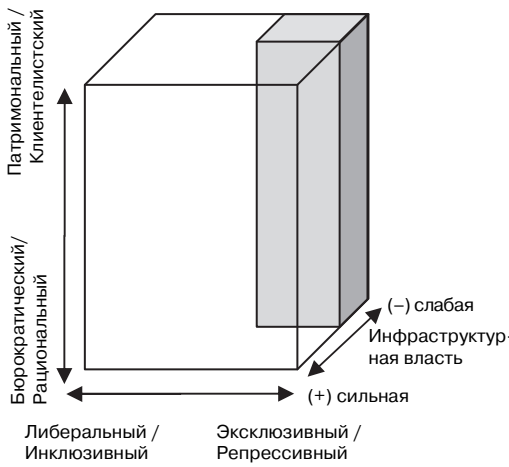

Рис. 3. Государства, «продуцирующие» революционные движения (закрашенная область)

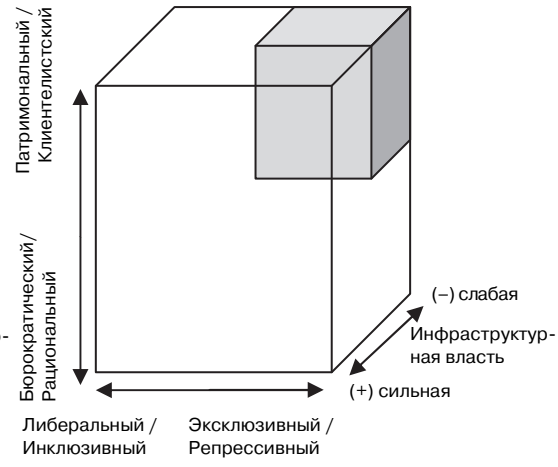

Рис. 4. Государства, которые будут свергнуты революционным движением (закрашенная область)

Графики показывают, что и бюрократические, и патримониальные эксклюзивные режимы со слабой инфраструктурной властью способствуют росту революционных движений, но вероятность быть свергнутыми больше у патримониальных. Иными словами, патримониальные режимы институционально блокируют реализацию инициатив, которые могли бы стать альтернативой участию в революции. Патримониальные режимы не способны оставить за бортом непопулярных лидеров, инкорпорировать новые группы в процесс принятия решений, вести контрреволюционную борьбу рационально и эффективно, не используя насилие. Гудвин приводит подобные графики, демонстрируя траектории революционных движений в зависимости от государств в каждом из трех регионов [см.: 13. P. 131, 211, 284]. Более конкретны объяснения успехов и неудач революционных движений по регионам, которые выстроены согласно сетевой методологии структурного конструктивизма, где каузальным фактором динамики революционных движений выступают связи разного рода и уровней — начиная с международных связей, связей между государством и обществом, и заканчивая межэтническими, связями между разными общественными движениями и идентичностями членов революционного движения.

Поскольку все колониальные режимы Юго-Восточной Азии в 1945—1955 годы были патримониальным и репрессивно-эксклюзивными, для объяснения причин успеха революционеров лишь в части из них Гудвин различает типы колониализма: *«напрямую управляемые колонии»*, в которых метрополии располагали важные правительственные здания и персонал и подавляли ориентированные на реформы местные элиты, были более уязвимы для революций по сравнению с «*косвенно управляемыми колониями»*, где имперские силы спонсировали местные элиты, которым без разрушения прежних военно-административных институтов передавалась часть власти. Пример первого типа — французские колонии во Вьетнаме: именно это обстоятельство позволило вьетнамским коммунистам создать

широкую коалицию под лозунгами национального освобождения. Опосредованное управление Британией и Америкой колониями в Малайе и на Филиппинах не позволило повстанцам использовать национальную идентичность для формирования революционных движений. Чтобы сокрушить левых партизан, местные элиты Малайи и Филиппин воспользовались поддержкой иностранных корпусов и прибегли к частичным аграрным реформам. По мнению Гудвина, форма колониализма — фактор успеха антиколониальных революций в Анголе, Мозамбике и Алжире.

Применительно к неоколониализму Центральной Америки в 1970—1980-е годы основным международным фактором стала внешняя политика Дж. Картера (в частности, запрет на операции ЦРУ в регионе). Режимы Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа представляли собой закрытые военные режимы. Неопатримониальный диктаторский режим А. Самосы в Никарагуа отличался большей эксклюзивностью и репрессивностью и был инфраструктурно слаб, опираясь лишь на насилие национальной гвардии. Все это обусловило утрату поддержки США и успех Сандинистской революции. «Реформистские» перевороты Сальвадора и Гватемалы, напротив, сохраняли частичную открытость верхушки для выходцев из средних классов и тем самым патронаж и военную помощь США в борьбе с низовыми повстанческими движениями. Таким образом, им, в отличие от режима Самосы, удавалось вести согласованную и относительно эффективную военную борьбу с левыми партизанами, пользующимися поддержкой низов и стран коммунистического лагеря.

Политика гласности и «перестройка» мгновенно лишили поддержки клиентелистские и эксклюзивные сателлиты Восточной Европы в 1989 году. Однако лишь персоналистский, неопатримониальный и инфраструктурно слабый режим Н. Чаушеску, опиравшийся на репрессии «Секуритате», был насильственно свергнут коалицией революционеров и военных. В сравнительно более открытых и бюрократически управляемых режимах Польши и Венгрии пролонгация мобилизации, а также влияние католических консерваторов в антиправительственной коалиции в Польше привели к превращению революционных движений в реформистские. Силовому захвату власти «Солидарность» в Польше и «Альянс свободных демократов» в Венгрии предпочли договоренности со старым режимом и оппозиционерами, победу на полусвободных выборах или коалиционное правительство и мирный демонтаж социализма.

Значительное влияние международных связей на успех революционных движений не означает, что периферийные революции — порождение лишь внешних факторов [17]. Международные связи практически не объясняют, почему в одних случаях мобилизация сторонников движения и формирование революционной коалиции были успешны, а в других — нет. Например, голландские колонии в Индонезии, как и французские во Вьетнаме, были напрямую управляемыми, однако индонезийским коммунистам, в отличие от вьетнамских, не удалось захватить власть и заручиться массовой поддержкой. Их инициативу в мобилизации перехватили нерадикальные индонезийские националисты, поддерживаемые Японией, обещавшей Индонезии свободу и независимость.

Гудвин также сравнивает социально-экономические факторы революционных движений: уровень национального благосостояния, бедность и малоземелье. Компаративистский вывод состоит в том, что все они способствуют успеху левых революционных движений и мобилизации низших слоев. Однако сами по себе они не могут адекватно объяснить масштаб и устойчивость революционных коалиций. Решающим, по мнению Гудвина, является фактор политического насилия: «Революционные движения — ответ не только на экономическую эксплуатацию или неравенство, но в большей степени на политическое угнетение и насилие, зачастую грубое и сплошное (indiscriminate)» [13. P. 3]. Доказательством служит Гондурас: несмотря на вопиющую бедность и малоземелье по сравнению с прочими странами региона, левым революционерам не удалось мобилизовать сторонников. Причиной стала меньшая по сравнению с Гватемалой, Сальвадором и Никарагуа репрессивность режима и его б*о*льшая политическая открытость: военные хунты, диктаторы, либеральные президенты и националисты постоянно сменяли друг друга, соперничество группировок ослабляло всех, но бурлящая соревновательная мобилизация подталкивала режим экспериментировать с аграрными реформами. Кроме того, в Гондурасе отсутствовала могущественная земельная аристократия и, следовательно, отчетливый образ внутреннего «врага», борьба с которым могла бы сплотить революционеров. Другим мощным препятствием был высокий инфраструктурный контроль над банановыми плантациями Гондураса со стороны бизнеса США, особенно «Юнайтед Фрут Компани» (UFC).

Чтобы подтвердить каузальную значимость политического насилия по сравнению с социально-экономическими факторами, Гудвин сравнивает Сальвадор/Гватемалу и Малайю/Филиппины. Хотя революционерам Сальвадора и Гватемалы не удалось завоевать власть, полностью расправится с революционерами, пользующимися широкой поддержкой «низов», государствам не удалось. Эти примеры, наряду с борьбой партии «Сияющий путь» в Перу, формируют кластер *«постоянных мятежей» («persistent insurgencies»)* — они противопоставляются ситуации в Малайе, Филиппинах и Венесуэле, где революционеры были разгромлены правительствами. Общей детерминантой поддержки революционеров со стороны населения в «постоянных мятежах» служило массовое и сплошное насилие слабых в военном отношении государств против рядовых граждан, подозреваемых в поддержке мятежников.

Связь между государством и обществом, с одной стороны, и между обществом и революционными движениями — с другой, выступает ключевым моментом в объяснении политического насилия во всех его формах: репрессии государства, насилие во время мобилизации движения и свержения старого режима. Вероятность политического насилия особенно велика там, где связи между правящими элитами, революционерами и разными категориями граждан слабы, где в прошлом имело место малое число интеракций и кооперации, вылившееся в слабые политические связи, например, там, где элиты, революционеры и население говорили на разных языках, исповедовали разные религии, претендовали на одну и ту же землю и/или были территориально сегрегированы. Данную гипо-

тезу о «сплошном насилии» Гудвин развивает в теорию «революционного терроризма» [12].

Таким образом, на примере периферийных революций Гудвин подтверждает значимость подхода, акцентирующего роль государства, в его конструктивистской версии. Влияние международных факторов, культуры и идентичности учитывается посредством дополнения данного подхода сетевой методологией.

Интересным и наиболее спорным выступает вывод Гудвина о низкой вероятности революций в ближайшие десятилетия по ряду причин: глобализация делает революционную социалистическую альтернативу сложной и потому менее привлекательной; коллапс советской системы повлек за собой исчезновение основной модели результатов революции; формальная демократия (практически повсеместна) обладает иммунитетом к революции.

Разумеется, глобализация оказывает новое экономическое давление на большинство стран мира, создает пространство для невмешательства в мире, который более не является биполярным, делает демократии хрупкими, хотя коллапс Советского Союза одновременно усиливает их, направляет потенциальные революции к более демократическим и экономически оправданным альтернативам [13. P. 300].

Под влиянием глобализации национальное государство слабеет, и радикальным движениям приходится менять цель — речь идет уже не о революционных движениях, а о радикальной борьбе за глобальную справедливость. Вывод Гудвина нужно правильно интерпретировать: меньше революционных движений, меньше революций и больше массовых движений за глобальную справедливость (применительно к идеологии глобальных движений он говорит об «обновлении социализма»).

Гудвин полагает, что 1989 год ознаменовал не падение социализма как такового, но лишь падение зависимого и авторитарного социализма. Точно также периферийные революции свергали не капитализм или «периферийный капитализм», а авторитарные разновидности колониального и олигархического (или «кланового») капитализма. «Революции не должны считаться восстаниями, порожденными экономическими конфликтами, которые с необходимостью возникали в большинстве или даже во всех национальных государствах, но как политическая борьба, которая по большей части является результатом исторического стечения обстоятельств и относительно редких типов государственных структур и практик» [13. P. 34].

Наконец, в статье 2004 года «К новой социологии революций», помимо обзора современных теорий революций, Гудвин предпринимает попытку обозначить последние тенденции в социологии революции. В качестве двух наиболее общих и взаимосвязанных тенденций он называет отказ от попытки создания общей теории революции или хотя бы «коллективного насилия», т.е. эклектичное объяснение отдельных революций и их типов, а также синтез в историко-сравнительных исследованиях модели автономии государства и культурологической перспективы [16].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК / REFERENCES

[1] *Александер Дж.С.* Аналитические дебаты: Понимание относительной автономии культуры // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1 [Alexander J. Analytic debates: Understanding the relative autonomy of culture. In J. Alexander, S. Seidman (Eds.). *Culture and Society: Contemporary Debates*. Cambridge; 1990].

[2] *Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2005 [Giddens A. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley; 1986.)

[3] *Голдстоун Д.* К теории революции четвертого поколения // Логос. 2006. № 5 [Goldstone J. Toward a fourth generation of revolutionary theory. *Annual Review of Political Science*. 2001: 4].

[4] Alexander J. *Action and Its Environments*. New York; 1988.

[5] Archer M. *Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory*. Cambridge; 1988.

[6] Coser L. *Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment*. New York; 1974.

[7] Cucută R.A. Theories of revolution: The generational deadlock. *Challenges of the Knowledge Society*. 2013: 1.

[8] Emirbayer M., Goodwin J. Network analysis, culture, and the problem of agency. *American Journal of Sociology*. 1994: 99 (6).

[9] Emirbayer M., Goodwin J. Symbols, positions, objects: Toward a new theory of revolutions and collective action. *History and Theory*. 1996: 35 (3).

[10] Foran J., Goodwin J. Revolutionary outcomes in Iran and Nicaragua: Coalition fragmentation, war and the limits of social transformation. *Theory and Society*. 1993: 22 (2).

[11] Goldstone J.A. Theories of revolution: The third generation. *World Politics*. 1980: 32 (3).

[12] Goodwin J. A theory of categorical terrorism. *Social Forces*. 2006: 84 (4).

[13] Goodwin J. *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945—1991*. Cambridge; 2001.

[14] Goodwin J. State-centered approaches to social revolutions: Strengths and limitations of a theoretical tradition. In J. Foran (Ed.) *Theorizing Revolutions*. New York; 1997.

[15] Goodwin J. The libidinal constitution of a high-risk social movement: Affectual ties and solidarity in the Huk Rebellion, 1946 to 1954. *American Sociological Review*. 1997: 62 (1).

[16] Goodwin J. Toward a new sociology of revolutions. *Theory and Society*. 1994: 23.

[17] Goodwin J., Skocpol T. Explaining revolutions in the contemporary Third World. Skocpol T. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge; 1994.

[18] Kurzman C. *The Unthinkable Revolution in Iran*. Cambridge; 2004.

[19] Mann M. The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. *European Journal of Sociology*. 1984: 25 (2).

[20] Mahoney J. Comparative-historical methodology. *Annual Review of Sociology*. 2004: 30.

[21] *Rethinking Social Movements: Structure, Culture, and Emotion*. Ed. by Goodwin J. et al. Lanham; 2004.

[22] Skocpol T. *Social Revolution in the Modern World*. Cambridge; 1994.

[23] Skocpol T. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China*. Cambridge; 1979.

[24] Slater P. *Footholds: Understanding the Shifting Family and Sexual Tensions in Our Culture.* Ed. by W.S. Palmer. N.Y.; 1977.

[25] Tilly C. *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton; 1975.

[26] White H. *Identity and Control: A Structural Theory of Social Action*. New York; 1992.

[27] Wickham-Crowley T. *Guerrillas and Revolutions in Latin America. A Comparative Study of Insurgency and Regime Since 1956*. Princeton University Press; 1992.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-208-225

JEFF GOODWIN'S NETWORK THEORY OF "PERIPHERAL REVOLUTIONS"*

D.Yu. Karasev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Prosp. Vernadskogo, 84, Moscow, Russian Federation, 119571
(e-mail: dk89@mail.ru)

Abstract. The article considers J. Goodwin's synthetic theory of revolution that claims to be the 'fourth-generation' theory, and the ways of its application in the comparative-historical analisys of peripheral revolutions of the "short twentieth century". The first part of the article reveals the sources of Goodwin's theoretical and methodological synthesis: the possibilities and limitations of different structural and state-centred theories and of network analysis. The combination of the state-constructionist approach with the network perspective of structuralist constructionism allows to avoid the structuralist mistake of ignoring the causal contribution of cultural and agecy determinants, and protects from the opposite theoretical failures of essentialism, cultural determinism, voluntarism, etc. The second part of the article describes how Goodwin used his complex theoretical model in the analysis of the waves of peripheral revolutions in Southeast Asia in 1945—1955, in Central America in 1970—1980s and in Eastern Europe in 1989. He shows that bureaucratic, patrimonial and exclusive regimes with weak infrastructural power contributed to the growth of revolutionary movements, but the patrimonial regimes are especially vulnerable to the revolutionary overthrow. Political oppression and indiscriminate violence determine the revolutionaries' solidarity on the periphery more than social-economic factors such as poverty. The final part of the article presents some Goodwin's conclusions on the future of revolutions and theories of revolutions. In the 21 century the world will witness fewer revolutions and more movements for global justice; while sociology of revolutions demonstrates fewer attempts to create a general theory of revolution and collective action and tends to the studies of different revolutionary cases and their types on the basis of synthetic structural-cultural methodology.

Key words: Jeff Goodwin; sociology of revolutions and social movements; state-centred approach; network analisys; postcolonialism; the problem of structure/agency and culture

* © Karasev D.Yu., 2018.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 226—237
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-226-237

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: КОНЦЕПЦИЯ ЙОРАНА ТЕРБОРНА*

И.А. Вершинина

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Ленинские горы, 1, Москва, Россия, 119991
(e-mail: urbansociology@yandex.ru)

В статье рассматривается концепция шведского социолога Йорана Терборна, отражающая взаимосвязь политического контекста и трансформации городского пространства. На материале работ Й. Терборна представлены основные элементы этой концепции, выявлены и описаны сходства и различия ее с предлагаемыми другими авторами моделями развития городского пространства в XX—XXI веках. Подход, предлагаемый Терборном, рассматривается в контексте основных урбанистических идей второй половины XX — начала XXI веков, что позволяет лучше понять значение его взглядов для этого направления современной социологии и продемонстрировать специфику данного подхода. Особое внимание уделено вопросам влияния политических акторов различных уровней — национального и глобального — на облик современных городов, рассматриваются характерные формы репрезентации этими акторами своего присутствия в городском пространстве. Одним из главных объектов рассмотрения для Терборна выступают столичные города, являющиеся наиболее ярким выражением политических трансформаций, что продемонстрировано с привлечением обширного исторического материала. Отдельным предметом анализа становятся перспективные тенденции развития городского пространства с учетом возрастания роли глобальных акторов (например, глобальных корпораций) и снижения возможностей национальных государств. Автор стремится продемонстрировать эвристический потенциал идей Терборна для современной урбанистики, поскольку предлагаемый им подход позволяет рассмотреть города как «точки соприкосновения» политического, социального и физического пространств, чью конфигурацию определяют в первую очередь политические, а не экономические акторы. Тем самым Терборн расширяет аналитические возможности современных исследователей городской проблематики, позволяя им преодолеть определенный дисбаланс, связанный с преобладанием экономических факторов в объяснительных моделях развития современных городов. Несмотря на то, что городская тема является одной из центральных для Терборна, до настоящего времени основные работы по ней, за редким исключением, не были переведены на русский язык. Статья является попыткой заполнить эту концептуальную брешь, представив системное изложение основных взглядов Терборна на ключевые факторы развития современных городов.

Ключевые слова: Йоран Терборн; социология города; урбанистика; глобальные города; столицы; глобализация; глобальный капитализм; постмарксизм

Шведский социолог Йоран Терборн (родился в 1941 году) уже хорошо известен отечественному читателю: на русском языке опубликованы монография [8], его статьи [5—7 и др.], интервью с ним [1] и статьи о нем [см., напр.: 3]. Он пишет о социальном неравенстве [27], трансформации семьи [18], глобальных проблемах современности [25], перспективах развития социологии [16] и т.д. Однако не все

* © Вершинина И.А., 2018.

направления его творчества освещены в русскоязычных изданиях. Й. Терборн отмечает, что две главные темы нынешнего столетия «обнаружили себя достаточно поздно: это семья и города» [1. С. 13]. Целью данной работы является выделение основных идей городских исследований социолога. Необходимо отметить, что шведского ученого интересуют не все города, а прежде всего, столицы, поскольку в них сконцентрирована политическая власть, они являются центрами принятия политических решений.

Терборн признается, что его давний туристический интерес к городам перерос в тему научного исследования во время семестра преподавания в Будапеште в 1996 году, после того, как он наткнулся на захватывающую историческую монографию о Площади Героев в столице Венгрии и ее драматической истории в XX веке [1. С. 13]. Таким образом, городская проблематика присутствует в творчестве Терборна уже около двадцати лет [17; 19; 20—22; 24; 26; 28—30].

Шведский социолог отмечает, что смена политической власти традиционно ведет к преобразованию городского пространства. Чем больше новые правители стремятся продемонстрировать свою силу, тем кардинальнее происходящие изменения. Таким образом, репрезентации политической власти в городском пространстве выполняют следующие функции [26. P. 61]: внушают уважение к власти, в основе которого может быть как страх, так и восхищение; способствуют легитимации власти вне зависимости от ее происхождения; демонстрируют основное направление развития общества и его приоритеты; создают собственную систему безопасности, элементами которой становятся государственные здания.

Терборн рассматривает города как символические формы, участвующие в формировании идентичности. Тем самым социолог продолжает развивать идеи Л. Мамфорда, для которого города — главные сосредоточения власти и культуры, одной из функций которых является осуществление символической коммуникации [14. P. 3]. Однако Терборн критикует не только Мамфорда, но также теории мировых и глобальных городов Дж. Фридмана, П.Дж. Тейлора и С. Сассен, обвиняя последних в том, что они уделяют чрезмерное внимание экономическим процессам и рассматривают города как экономические центры в международных сетях: «Мир интерпретировался исключительно как мировая экономика — причем экономика, в которой национальные государства либо просто отсутствуют, либо занимают периферийное положение — и уж точно являются феноменом отмирающим и безынтересным» [7. С. 21]. Шведский социолог заявляет о парадигмальном кризисе экономического подхода к данной теме.

Британский архитектурный критик О. Хэзерли поддерживает Терборна, утверждая, что теоретической основой для анализа городов в конце XX — начале XXI веков становится понятие «глобальный город», то есть формируется определенная парадигма городских исследований, которая базируется на данных «псевдоученых рейтингов», выявляющих наиболее глобальные города [11].

Функционирование городов нельзя сводить лишь к их включенности в мировую экономику. Города — значительно более сложные образования, нежели просто экономические центры. Однако многие современные исследователи продолжают концентрировать свое внимание на экономических аспектах функцио-

нирования городов [13]. По мнению Терборна, «городские исследования останутся столь же многообразными, как и города мира, однако, доминирование концепций безгосударственного экономизма ослабится, если не уйдет в прошлое полностью» [7. С. 36]. Он предлагает интегрировать национальные государства в анализ сетей глобальных городов и посмотреть на города комплексно.

Терборн предлагает действительно иной подход к изучению городов, у него происходит смещение акцентов с экономических аспектов на политические. «Экономизм» исследования глобальных городов, — утверждает социолог, — не учитывает специфику самой городской застройки, которая отражает проявления власти, является ее выражением. Даже самый глобальный город — это больше, чем совокупность деловых офисов и их международных бизнес-интеракций [28. P. 9]. Терборн предлагает анализ исключительно столичных городов, которые рассматриваются как результат формирования национального государства и соответствующей идентичности. Его интересуют не столько местные экономики, сколько архитектурные и монументальные практики репрезентации и манифестации власти. В центре внимания находятся города, которые предназначены не столько для решения экономических задач, сколько являются воплощением национальной культуры и власти: Вашингтон, Оттава, Гаага, Канберра, Бразилиа, Нью-Дели, Исламабад, Пекин и др. Для решения проблемы ограниченности существующих исследований города Терборн считает необходимым объединить пространственно-экономические и историко-культурные аспекты, что он и пытается сделать. Терборн считает, что архитектура похожа на социологию [28. P. 303], только социальные процессы и явления приобретают форму зданий и пространств между ними.

РАЗНЫЕ ПУТИ СТОЛИЦ К СОВРЕМЕННОСТИ

Терборн уделяет внимание как особенностям конструирования физического пространства городов, так и тем смыслам, которые имеют материальные объекты, то есть символической составляющей, которая наиболее ярко представлена в столицах. Он рассматривает современные города как многослойные образования, в которых можно увидеть историю строительства, экономическую историю, историю культуры и политическую историю [22. P. 59], и именно на основе исторического опыта формируется идентичность.

Столичные города наиболее ярко отражают превратности политической истории, пространственных расширений и реорганизации власти. Изменение политического режима неизбежно ведет к реконструкции пространства столицы и обновлению репрезентаций власти, хотя это зачастую происходит с некоторым временным лагом [30. P. 58]. Столицы — главные носители идентичности, поэтому способны оправиться даже после самого жестокого разрушения, что доказывают примеры Варшавы, Минска или Берлина.

Терборн выделяет «четыре пути к современности», которыми шли национальные государства, и на их основе предлагает свою типологию столиц [28. P. 31]: европейские столицы, которые оформляются в результате революций или реформ, сочетают историческое прошлое и современность, рассматриваются как модель

сохранения преемственности с архитектурным прошлым при развитии в ногу со временем; столицы поселенцев, отличающиеся тем, что воспроизводят многие европейские традиции даже вдали от Старого Света, то есть отражают власть европейской культуры; колониальные и постколониальные столицы, в центре внимания которых оказываются отрицание свергнутой власти бывшей метрополии и противопоставление ей; столицы «реактивной модернизации» в обществах, для которых западная культура остается чуждой, они предлагают собственные оригинальные ответы на новые вызовы.

Терборн уделяет особое внимание влиянию фашизма и коммунизма на городское пространство [17; 19; 20; 22; 23], поскольку при этих режимах политические лидеры активно занимались реконструкцией столиц, дабы продемонстрировать свое могущество и превосходство над всеми остальными. Анализ данного вопроса шведский социолог начинает с рассмотрения реконструкции итальянских городов при Б. Муссолини.

Рим — древняя столица Европы с большими амбициями, связанными с ореолом «вечного города». Фашизм приходит в Рим из северных городов Италии (Милана, Турина и др.). В 1931 году численность населения Рима достигает миллиона человек, и за двадцать лет фашизма более чем удваивается, что Терборн рассматривает как индикатор централизации власти и концентрации человеческих и других ресурсов в столице [28. P. 212]. Муссолини избавляется от пережитков Средневековья на улицах города и строит монументальный Рим XX столетия, в котором памятники Античности оказываются на почетных местах. Улицы расширяются, на обломках прошлого (Средневековья) прокладываются новые проспекты, чтобы продемонстрировать преемственность с античным Римом и удивить гостей Всемирной выставки 1942 года, которая планировалась в Риме и к открытию которой собирались проложить метро. Вместе с тем главный проспект города, улица Империи (*Via dell'Impero*), переименованная после Второй мировой войны в улицу Императорских форумов (*Via dei Fori Imperiali*), прокладывается через археологическую зону античного Рима, значительная доля которого утрачивается. Потери в центре города могли быть еще больше, но не все планы реализуются. Масштабную реконструкцию приостанавливает Вторая мировая война. Она пощадила многие творения той эпохи, но сегодня по-прежнему можно оценить замыслы дуче.

Даже критикуя Муссолини, итальянцы не решаются избавиться от его наследия в столицы страны. Фашизму удается решить многие проблемы с инфраструктурой и коммуникациями в городе, давно нуждающемся в реконструкции, поэтому обелиск Муссолини (*Mussolini-Obelisk, Mussolini-Monolith*) до сих пор располагается в центре Итальянского форума в Риме.

В Берлине можно увидеть гораздо меньше архитектурных сооружений довоенной эпохи. В период с 1933 по 1943 год в столице Германии строится немного монументальных зданий, а до наших дней сохраняется еще меньше (Министерство Люфтваффе, Рейхсбанк и некоторые др.). Многие проекты создаются любимым архитектором А. Гитлера Альбертом Шпеером, творения которого впоследствии

разрушаются. Рейхсканцелярия — одно из главных его сооружений и наиболее значимый архитектурный символ Третьего рейха — имеет короткую историю: проектирование начинается в 1938 году, строительство завершается в 1939 году, в 1945 году здание прекращает свое существование. А. Шпеер намеревается подавить посетителей кажущимися бесконечными коридорами, которые деморализуют посетителей задолго до того, как они достигают кабинета Гитлера. Строительство Рейхсканцелярии — это начало реализации больших планов, связанных с желанием превратить Берлин в столицу мира, сделать город политическим центром новой империи, которая должна была раскинуться от Норвегии до Италии. Гитлер и Шпеер планируют завершить реконструкцию Берлина, который должен получить новое название — Германия — и превзойти Вену, Париж, Лондон и другие европейские столицы к 1950-му году [28. P. 218—223]. Масштабные проекты поражают своей гигантоманией, однако этим планам не суждено было сбыться.

Если памятников эпохи Третьего рейха практически не осталось, то монументов, напоминающих о его преступлениях, существует довольно много. Политическая символика в Германии хранит, прежде всего, память о преступлениях нацистов [10. P. 69]. Этим Берлин выделяется среди других столиц, бывших местами базирования диктаторских режимов. Ни одна другая столица не отдала такую большую часть своего городского пространства для сооружения самокритических монументов в память о жертвах, принесенных на алтарь титульной нации. Однако О. Хэзерли отмечает, что память Германии избирательна: миллиарды тратятся на искупление вины перед Израилем, но Греция, например, не только не получает никакой компенсации, но еще и не рассматривается как жертва нацистских грабежей и жестокости; более того, Греция подвергается жесткому экономическому диктату со стороны Германии сегодня [11]. Сложные отношения Германии и Греции сегодня отмечаются и российскими исследователями [2]. Тем не менее, необходимо отметить особенность мемориальности Берлина. Городское пространство других городов мира содержит гораздо меньше монументов, подобных Еврейскому музею Даниэля Либескинда или Мемориалу жертвам холокоста Питера Айзенмана в столице Германии.

Не менее подробно Терборн рассматривает и влияние коммунистической идеологии на городское пространство. Он указывает на то, что монументальная пропаганда составляет важную часть политики советских властей, однако единой концепции социалистического урбанизма не формируется; вместе с тем он считает коммунистические города гораздо менее пафосными и более функциональными, чем фашистские [28. P. 240—241]. Москва превращается в центр архитектурного модернизма, привлекает таких архитекторов с мировым именем, как Ле Корбюзье из Франции, Эрнест Май из Германии, Ханнес Мейер из Швейцарии и многие другие. Как отмечают отечественные исследователи, многие западные архитекторы воспринимают СССР как страну архитектурного будущего, более того, «отмена частной собственности на землю воспринималась как освобождение градостроительства от оков капиталистического земельного права, как предпосылка реализации заветной мечты — возможности осуществлять градострои-

тельные программы и строить новые города, не оглядываясь на границы частных участков» [4]. В СССР появляются и свои выдающиеся архитекторы: Моисей Яковлевич Гинзбург, Константин Степанович Мельников, Алексей Викторович Щусев, братья Леонид Александрович, Виктор Александрович и Александр Александрович Веснины и другие.

Тем не менее, вклад советского градостроения в мировую архитектуру оказывается значительно меньше, чем политическое значение СССР в XX веке. Наиболее важными результатами архитектурных преобразований становятся, во-первых, реконструкция Москвы, ее превращение в столицу мирового пролетариата, и, во-вторых, строительство индустриальных городов. Вместе с тем необходимо отметить, что преобразование городского пространства Москвы осуществляется неоднородно и непоследовательно. Город возвращает себе столичный статус в 1918 году, а Генеральный план реконструкции Москвы принимается лишь в 1935-м. Однако его реализация приостанавливается с началом Отечественной войны, а после смерти И.В. Сталина происходит кардинальный пересмотр основных принципов развития города Н.С. Хрущевым.

Терборн считает очевидным тот факт, что власть советского урбанизма после Второй мировой войны распространяется на территорию всего социалистического лагеря [28. P. 253]. Причем речь идет не только об архитектурных проектах, но и о названиях, которые символизируют наступление новой эпохи. На семидесятилетие Сталина политические лидеры ряда стран социалистического лагеря делают ему монументальные подарки, называя в его честь улицы или устанавливая посвященные ему памятники. Статуи Сталина появляются в Праге, Будапеште и Бухаресте, хотя планируются во всех социалистических столицах [10. P. 68]. Кроме того, появляются аллея Сталина (Шталиналлее, *Stalinallee*) в Восточном Берлине, проспект Сталина в Будапеште, ряд городов Восточной Европы от Болгарии и Румынии до Восточной Германии получают имя Сталина [28. P. 254]. Начинается интенсивное строительство социализма, которое оставляет заметный архитектурный след. Вместе с тем архитектурного единства на социалистическом пространстве не формируется, города значительно отличаются друг от друга, что можно рассматривать как следствие отсутствия общепринятой концепции урбанизма в СССР. Столицы стран социалистического лагеря восстанавливают после Второй мировой войны с опорой на историческое наследие и большим уважением к нему. Коммунистическая Европа идет преимущественно по пути реконструкции разрушенных городов (Варшава, Будапешт, Прага и др.), однако иногда опустевшее пространство используется и для строительства социалистических объектов (например, в Софии) [10. P. 66]. Хотя основной тренд — бережная реконструкция того, что можно спасти. Многие объекты воспроизводятся по довоенным рисункам и фотографиям.

Крушение социалистических режимов в странах Восточной Европы приводит к серьезным урбанистическим преобразованиям посткоммунистических городов. Они включаются в глобальную капиталистическую систему, символом которой становятся огромные торговые центры, деловые районы с небоскребами, роскош-

ные отели и т. п. По бывшим социалистическим странам прокатывается новая волна переименований улиц и других объектов, как правило, им возвращают прежние названия [19. P. 223]. Коммунистическая иконография тщательно вычищается из городского пространства. В некоторых странах создаются своеобразные «музеи террора», рассказывающие о коммунистическом прошлом.

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СТОЛИЦ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Терборн отмечает, что политические центры национальных государств постепенно превращаются в экономические звенья мировой капиталистической системы — глобальные города, происходит глобализация национальных столиц [28. P. 289, 291]. Мировой капитализм способствует кардинальным урбанистическим переменам, мы наблюдаем переход от национальных приоритетов в городском пространстве к глобальным. Это предполагает серьезные изменения для жителей городов, поскольку их интересы имеют гораздо меньшее значение для глобальной капиталистической системы, чем для национального правительства. Столицы XXI века зачастую репрезентируют уже не нации, а международный капитал.

Глобальные города конкурируют между собой за инвестиции, борются за титул «Мисс капиталистическая вселенная» (*Miss Capitalist Universe*) [28. P. 313]. Памятники ставят не только национальным героям, но и мировым брендам. В 2013 году большой общественный резонанс вызывает установка в Москве на Красной площади сооружения в форме дорожного сундука одного из глобальных брендов *Louis Vuitton*. Организаторов не смущает даже то, что Московский Кремль, вместе с прилегающей к нему Красной площадью, включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Глобальному капиталу прибыль гораздо более интересна, чем культурное наследие. Депутаты Государственной Думы требуют убрать «сундук» с Красной площади, являющейся «сакральным местом российского государства», которое «нельзя опошлять и порочить», и добиваются деконструкции объекта [9]. Это является примером торжества национальных интересов над глобальными. Вместе с тем необходимо отметить, что московский перфоманс *Louis Vuitton* далеко не первый. Подобные конструкции уже можно было увидеть на улицах Парижа, Шанхая [12] и других глобальных городов.

Терборн указывает на процесс передачи контроля над городским пространством наднациональным акторам. Он видит множество проявлений того, что власть в глобальных городах, многие из которых являются столицами национальных государств, переходит к транснациональному капиталу и его обладателям, а также его клиентам из высшего класса [28. P. 288].

Терборн пишет о глобальной иконографии, которая формирует особый урбанистический стиль и задает определенный образ жизни. Этот новый стиль жизни успешно пропагандируется с помощью средств массовой информации и включает в себя такие компоненты, как безграничное потребление, урбанистический гламур, культовая культура и т. д. [28. P. 348]. Это стиль, предполагающий

демонстративное потребление и стремление к роскоши. Главными репрезентациями нового стиля в городском пространстве становятся три характеристики [28. P. 288, 316—317]:

1. *Вертикальность*, олицетворением которой становятся небоскребы. Социолог полагает, что они символизируют стремление к власти и являются демонстрацией богатства и роскоши, ведь их строительство обходится довольно дорого. Поскольку лишь меньшая часть небоскребов предназначается для жилья, можно говорить о том, что они отражают доминирование глобального капитала в национальных столицах, которое приобретает вертикальное измерение.

2. *Стремление к новому*, которое наиболее ярко проявляется в бизнес-центрах и торговых моллах. Терборн отмечает, что города совершенно не обязательно должны быть инкубаторами инноваций, более того, как правило, не являются ими. Однако именно в городах наиболее отчетливо фиксируется стремление к различным новинкам, которые быстро становятся необходимыми или даже обязательными атрибутами определенного стиля жизни. Города — это «центры новизны» (*hubs of novelty*). Стремление к новому может проявляться как в строительстве новых районов, и тогда оно связано с вертикальностью, так и в приобретении новых товаров и услуг.

3. *Эксклюзивность*, которая обеспечивается через ограничение доступа и с помощью других средств. Речь не идет о закрытости города, поскольку он нуждается в многочисленном малооплачиваемом сервисном классе, как и в амбициозных талантливых генераторах новых идей. Эксклюзивность предполагает деление города на несколько сегментов, то есть сегрегацию. Доступ к эксклюзивным сегментам может быть ограничен как с помощью физических барьеров, так и с помощью высоких цен.

Транснациональная власть капитала и новый урбанистический стиль противостоят национальному государству и стремительно меняют облик мировых столиц. Конструируются новые, не национальные, а глобальные достопримечательности, которые имеют весьма опосредованное отношение к локальной иконографии. Эти тезисы шведского социолога созвучны идеям С. Сассен, которая указывает, что яркие и непохожие друг на друга глобальные города постепенно унифицируются под властью корпораций [15]. Корпорации соревнуются в высотности своих зданий, а города — в их количестве.

***

Таким образом, национальное в городском пространстве все чаще заменяется глобальным. Новый глобальный стиль — корпоративные небоскребы с соответствующим образом жизни. Вертикальное измерение небоскребов постепенно вытесняет горизонтальное измерение в виде широких бульваров и авеню, которые Терборн ассоциирует с национальным и олицетворением которых является Париж — столица XIX столетия [28. P. 347].

Будущее столиц зависит от тенденций развития национальных государств. Шведский социолог не исключает их дальнейшего усиления, признаками чего он называет *Brexit*, возвращение (*reincorporation*) Крыма в состав России вопреки

международным санкциям, а также предпосылки для появления новых государств (Каталония, Шотландия, Курдистан и т. д.) [28. P. 349]. Он видит больше оснований для укрепления национально-государственной системы, чем для оформления глобальной безгосударственной. Вместе с тем Терборн не исключает усиления глобальных тенденций. Однако он высказывает опасения, что торжество «безжалостного» капитализма оборачивается печальным будущим для людей, и надеется, что воспрепятствовать торжеству глобального капитализма возможно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] Интервью с профессором Йораном Терборном // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. № 1.

[2] *Курбанов А.Р.* Манифестация исторической памяти в политической практике // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. Т. 22. № 1.

[3] *Мартыненко Т.С.* Глобальная социология Г. Терборна: теория социальных неравенств // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. Т. 29. № 1.

[4] *Меерович М.Г., Хмельницкий Д.С.* Иностранные архитекторы в борьбе за советскую индустриализацию // Мир истории. 2006. № 1.

[5] *Терборн Г.* Мультикультурные общества // Социологическое обозрение. 2001. Т 1. № 1.

[6] *Терборн Г.* Глобализация и неравенство: проблемы концептуализации и объяснения // Социологическое обозрение. 2005. Т. 4. № 1.

[7] *Терборн Й.* Как понять города: современный кризис и идея городов без государства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. № 1.

[8] *Терборн Й.* Мир: руководство для начинающих. М.: НИУ ВШЭ, 2015.

[9] *Цыбульский В.* Сумки правят беспредел // https://lenta.ru/articles/2013/11/27/louis.

[10] *Galès P., Therborn G.* Cities // Handbook of European Societies: Social Transformations in the 21st Century / Ed. by S. Immerfall, G. Therborn. N.Y.: Springer, 2010.

[11] *Hatherley O.* Comparing capitals // New Left Review. 2017. No. 105.

[12] Huge Louis Vuitton trunk ad may face demolition in Shanghai // https://in.reuters.com/article/uk-louisvuitton-china/huge-louis-vuitton-trunk-ad-may-face-demolition-in-shanghai-idINLNE74H01L20110518.

[13] *Khanna P.* Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. N.Y.: Random House, 2016.

[14] *Mumford L.* The Culture of Cities. San Diego-N.Y.-L.: Harcourt Brace Jovanovich, 1970.

[15] *Sassen S.* Who owns our cities — and why this urban takeover should concern us all // The Guardian. International edition // https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-this-urban-takeover-should-concern-us-all.

[16] *Therborn G.* At the birth of second century sociology. Times of reflexivity, spaces of identity and nodes of knowledge // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. No. 1.

[17] *Therborn G.* Monumental Europe: on the iconography of European capital cities // Housing, Theory and Society. 2002. Vol. 19. No. 1.

[18] *Therborn G.* Between Sex and Power: Family in the World, 1900—2000. L.: Routledge, 2004.

[19] *Therborn G.* Eastern Drama. Capitals of Eastern Europe in 1830s—2006: An Introductory Overview // International Review of Sociology. 2006. Vol. 16. No. 2.

[20] *Therborn G.* Capital politics: Why and how place matters // The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / Ed. by R. E. Goodin, Ch. Tilly. N.Y.: Oxford University Press, 2006.

[21] *Therborn G.* Europe and Asias: In the global political economy and in the world as a cultural system // Asia and Europe in globalization: continents, regions, and nations / Ed. by G. Therborn, H.H. Khondker. Leiden—Boston: Brill, 2006.

[22] *Therborn G.* Identity and capital cities: European nations and the European Union // The Search for a European Identity: Values, Policies and Legitimacy of the European Union / Ed. by F. Cerutti and S. Lucarelli. L.—N.Y.: Routledge, 2008.
[23] *Therborn G.* European roads to modernity and their national capitals // New Europe. Growth to Limits / Ed. by S. Eliaeson, N. Georgieva. Oxford: Bardwell Press, 2010.
[24] *Therborn G.* End of a paradigm. The current crisis and the idea of stateless cities // Environment and Planning. 2011. Vol. 43. No. 2.
[25] *Therborn G.* The World: A Beginner's Guide. Cambridge: Polity Press, 2011.
[26] *Therborn G.* "Global cities", world power and the G20 capital cities // Cities and Crisis: New Critical Urban Theory / Ed. by K. Fujita. L.: Sage, 2013.
[27] *Therborn G.* The Killing Fields of Inequality. Cambridge: Polity Press, 2013.
[28] *Therborn G.* Cities of Power: The Urban, The National, The Popular, The Global. L.: Verso, 2017.
[29] *Therborn G.*, *Bekker S.* Introduction // Capital Cities in Africa: Power and Powerlessness / Ed. by S. Bekker, G. Therborn. Dakar—Cape Town: CODESRIA, HSRC, 2011.
[30] *Therborn G., Ho K. Ch.* Capital cities and their contested roles in the life of nations: Introduction // City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. 2009. Vol. 13. No. 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-226-237

REPRESENTATION OF POWER IN THE URBAN SPACE: GÖRAN THERBORN'S THEORY*

I.A. Vershinina

Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, 1, Moscow, Russia, 119991
(e-mail: urbansociology@yandex.ru)

Abstract. The article considers the theory of the Swedish sociologist Göran Therborn focusing on the relationship of political changes with transformations of the urban space. The author presents key elements of his theory, identifies and describes its similarities and differences with other models of the urban space development. Göran Therborn's approach is compared with the main urban theories of the second half of XX — the beginning of the XXI century, which allows to understand the importance of his views for urban studies and main features of his approach. The article focuses on the influence of different political actors (national and global) on contemporary cities, and on typical forms of these actors' presence in the urban space. Göran Therborn was interested in capital cities as the best examples of political transformations and in the perspectives of urban development under the increasing role of global actors (such as global corporations) and the reducing capacities of nation states. The author seeks to prove the potential of Therborn's theory for today's urban sociology for it presents cities as "points of contact" of political, social and physical spaces. According to Therborn, the configuration of today's urban space is determined primarily by political and not economic actors. Thus, Therborn expands boundaries of urban studies by combining economic and political factors in the explanatory models of modern cities development. Although the city is one of the central themes for Therborn his main works on it, with a few exceptions, have not been translated into Russian, and the article aims to fill this gap by presenting key ideas of Therborn's theory of urban development.

Key words: Göran Therborn; urban sociology; urban studies; global cities; capitals; globalization; global capitalism; post-marxism

* © I.A. Vershinina, 2018.

REFERENCES

[1] Intervju s professorom Göranom Therbornom [Interview with Professor Göran Therborn]. *Zhurnal Sociologii i Socialnoj Antropologii*. 2013: 1 (In Russ.).

[2] Kurbanov A.R. Manifestatsija istoricheskoj pamjati v politicheskoj praktike [The manifestation of historical memory in political practice]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 18. Sociologija i Politologija*. 2016: 22 (1) (In Russ.).

[3] Martynenko T.S. Globalnaja sociologija G. Therborna: teorija sotsialnyh neravenstv [G. Therborn's global sociology: Theory of social inequalities]. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Filosofija. Sociologija. Politologija*. 2015: 29 (1) (In Russ.).

[4] Meerovich M.G., Khmelnitsky D.S. Inostrannye arhitektory v borbe za sovetskuju industrializatsiju [Foreign architects in the struggle for Soviet industrialization]. *Mir Istorii*. 2006: 1 (In Russ.).

[5] Therborn G. Multikul'turnye obshhestva [Multicultural societies]. *Sociologicheskoe Obozrenie*. 2001: 1 (1) (In Russ.).

[6] Therborn G. Globalizatsija i neravenstvo: problemy kontseptualizacii i objasnenija [Globalization and inequality: Issues of conceptualization and of explanation]. *Sociologicheskoe Obozrenie*. 2005: 4 (1) (In Russ.).

[7] Therborn G. Kak ponjat goroda: sovremennyj krizis i ideja gorodov bez gosudarstva [Understanding cities: The current crisis and the idea of stateless cities]. *Zhurnal Sociologii i Socialnoj Antropologii*. 2013: 1 (In Russ.).

[8] Therborn G. *Mir: rukovodstvo dlja nachinajuschih* [The World: A Beginner's Guide]. Moscow: NIU VShE; 2015 (In Russ.).

[9] Tsybulsky V. Sumki pravjat bespredel [Bags create the lawlessness]. https://lenta.ru/articles/2013/11/27/louis (In Russ).

[10] Galès P, Therborn G. Cities. In: Immerfall S., Therborn G. (Eds.) *Handbook of European Societies: Social Transformations in the 21st Century*. New York: Springer; 2010.

[11] Hatherley O. Comparing capitals. *New Left Review*. 2017: 105.

[12] Huge Louis Vuitton trunk ad may face demolition in Shanghai. https://in.reuters.com/article/uk-louisvuitton-china/huge-louis-vuitton-trunk-ad-may-face-demolition-in-shanghai-idINLNE74H01L20110518.

[13] Khanna P. *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization*. New York: Random House; 2016.

[14] Mumford L. *The Culture of Cities*. San Diego, New York, London: Harcourt Brace Jovanovich; 1970.

[15] Sassen S. Who owns our cities — and why this urban takeover should concern us all. https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-this-urban-takeover-should-concern-us-all.

[16] Therborn G. At the birth of second century sociology. Times of reflexivity, spaces of identity, and nodes of knowledge. *British Journal of Sociology*. 2000: 51 (1).

[17] Therborn G. Monumental Europe: On the iconography of European capital cities. *Housing, Theory and Society*. 2002: 19 (1).

[18] Therborn G. *Between Sex and Power: Family in the World, 1900—2000*. London: Routledge; 2004.

[19] Therborn G. Eastern drama. Capitals of Eastern Europe in 1830s—2006: An Introductory Overview. *International Review of Sociology*. 2006: 16 (2).

[20] Therborn G. Capital politics: Why and how place matters. In: Goodin R. E., Tilly Ch. (Eds.). *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. New York: Oxford University Press; 2006.

[21] Therborn G. Europe and Asias: In the global political economy and in the world as a cultural system. In: Therborn G., Khondker H.H. (Eds.). *Asia and Europe in Globalization: Continents, Regions, and Nations*. Leiden, Boston: Brill; 2006.

[22] Therborn G. Identity and capital cities: European nations and the European Union. In: Cerutti F., Lucarelli S. (Eds.). *The Search for a European Identity: Values, Policies and Legitimacy of the European Union*. London, New York: Routledge; 2008.
[23] Therborn G. European roads to modernity and their national capitals. In: Eliaeson S., Georgieva N. (Eds.). *New Europe. Growth to Limits*. Oxford: Bardwell Press; 2010.
[24] Therborn G. End of a paradigm. The current crisis and the idea of stateless cities. *Environment and Planning*. 2011: 43 (2).
[25] Therborn G. *The World: A Beginner's Guide*. Cambridge: Polity Press; 2011.
[26] Therborn G. "Global cities", world power, and the G20 capital cities. In: Fujita K. (Ed.). *Cities and Crisis: New Critical Urban Theory.* London: Sage; 2013.
[27] Therborn G. *The Killing Fields of Inequality*. Cambridge: Polity Press; 2013.
[28] Therborn G. *Cities of Power: The Urban, The National, The Popular, The Global*. London: Verso; 2017.
[29] Therborn G., Bekker S. Introduction. In: Bekker S., Therborn G. (Eds.). *Capital Cities in Africa: Power and Powerlessness*. Dakar, Cape Town: CODESRIA, HSRC; 2011.
[30] Therborn G., Ho K. Ch. Capital cities and their contested roles in the life of nations: Introduction. *City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action*. 2009: 13 (1).

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 238—249
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-238-249

ГУСТАВ СТЕФФЕН КАК СОЦИОЛОГ И ПОЛИТИК*

С.А. Гриценко, Н.И. Чернова

Московский технологический университет (МИРЭА)
Просп. Вернадского, 78, Москва, Россия, 119454
(e-mail: gricenko@mirea.ru, chernova@mirea.ru)

Целью статьи является проведение комплексного анализа научного и публицистического наследия шведского социолога Густава Стеффена, его научной и общественно-политической деятельности в контексте шведской и общеевропейской истории рубежа XIX—XX веков. Материалами для статьи послужили научные и публицистические работы Г. Стеффена, отзывы современников на его труды, материалы прессы и ряд официальных актов шведского парламента (риксдага), депутатом которого он был. Методология Стеффена в разные периоды его творчества вобрала в себя элементы марксизма, «элитистских» идей Ницше, традиции немецкой социологической школы М. Вебера и Г. Зиммеля, а также «интуитивной философии» А. Бергсона. В целом социологию Стеффена следует считать тяготеющей к теоретическому макроанализу социума в его историческом развитии. Несмотря на то, что Стеффен стал первым профессором социологии в шведской истории (1902), ему не удалось создать собственную научную школу. С его смертью в 1929 году развитие социологии в Швеции прервалось почти на двадцать лет. Лишь после Второй мировой войны сформировалась школа Т. Сегерштедта (младшего), опиравшаяся по большей части на американскую традицию. Во многом причиной научной изоляции Стеффена стала его твердая прогерманская позиция в годы Первой мировой войны. Примыкая к лагерю «активистов», он стремился втянуть Швецию в войну на немецкой стороне, но потерпел неудачу и фактически завершил политическую карьеру в начале 1920-х годов. Есть ряд черт, которые современная шведская социологическая традиция унаследовала от Стеффена — «бергсонизм», следствием которого стало внимание к социальным обстоятельствам жизни отдельного человека, принципиальная «историоцентричность» и междисциплинарность. Все это позволяет считать Стеффена подлинным пионером социологии в Швеции, многие идеи которого сохраняют свою актуальность по сей день.

Ключевые слова: Густав Стеффен; Торгни Сегерштедт (мл.); история социологии; шведская социология; история Швеции; Первая мировая война; «прогерманизм»; внутренняя и внешняя политика Швеции

Пожалуй, в истории любой современной научной дисциплины существуют своеобразные «темные пятна» — забытые, не востребованные потомками имена, идеи, концепции, подходы. История социологии, выделившейся в отдельную науку из комплекса обществоведческих дисциплин примерно полтора столетия назад, достаточно ярко доказывает данный тезис: одни концепции признаются ведущими, другие уходят в тень вместе со своими сторонниками (как правило, уже умершими) и признаются своего рода анахронизмом. При этом есть и такие имена в истории социальной мысли, которые остаются практически забытыми по сей день даже в рамках своей страны и национальной исследовательской школы, не говоря уже о международном признании.

* © Гриценко С.А., Чернова Н.И., 2017.

К числу последних относится имя Густава Фредрика Стеффена (1864—1929) — крупного ученого, который даже в родной Швеции малоизвестен и является, по выражению современного социолога И. Эрикссона, представителем «скрытой» (шв. *dold*), истории шведской социальной науки. Парадокс ситуации состоит в том, что общеизвестная история шведской социологии начинается в 1947 году с открытия кафедры социологии в Стокгольме под руководством Торгни Сегерштедта-младшего, последователя Т. Парсонса. Однако еще в 1902 году в университете Гетеборга профессором политэкономии и социологии стал Густав Стеффен, однако этот факт в лучшем случае лишь формально упоминается в большинстве справочников [5].

Почему так произошло? Представляется, что ответ на данный вопрос может дать краткое исследование творческого пути Г. Стеффена в контексте истории шведской науки, а равно и политики, так как Стеффен был не только исследователем, но и плодотворным политическим публицистом и даже некоторое время депутатом национального парламента. Целью статьи является попытка комплексного анализа научного и публицистического наследия ученого, его научной и общественно-политической деятельности в контексте шведской и общеевропейской истории конца XIX — первых десятилетий XX века. Материалами, которые помогут нам в изучении данной проблемы, являются, в первую очередь, научные, журналистские и публицистические работы Стеффена, во вторую — отзывы современников на труды ученого, а также материалы прессы того времени. Наконец, вспомогательным источником информации могут стать и официальные акты парламента, членом которого в 1910—1916 годы был Стеффен.

К сожалению, имя и труды Стеффена к настоящему моменту практически не известны в России — соответственно, нами не обнаружено посвященных ему монографий отечественных ученых-обществоведов. Деятельность Стеффена упоминается отечественными историками-скандинавистами А.С. Каном [4], И.Н. Новиковой [6], С.А. Гриценко [2; 3] в контексте обсуждения общественно-политических дискуссий начала XX века, проходивших в Швеции и посвященных внешнеполитической ориентации страны (Стеффен был сторонником прогерманского курса).

В Швеции долгие десятилетия имя ученого можно было найти лишь в биографических справочниках, и единственным исключением была обстоятельная монография Оке Лилльестама [11]. Усилиями Пера Виссельгрена [22], Санья Магдалени [12], Ингалилля Эрикссона [8] в последние десятилетия ситуация начала изменяться к лучшему, в результате чего фигура гетеборгского исследователя постепенно занимает достойное место подлинного родоначальника шведской социологии [22. S. 112].

Густав Фредрик Стеффен родился 4 мая 1864 года в Стокгольме, в достаточно судьбоносное для европейской науки время — в том же году в Германии родился Макс Вебер, под влиянием которого во многом будет проходить позднейшая научная деятельность Стеффена, а всего семью годами ранее — Георг Зиммель, с которым шведский ученый состоял в длительной переписке. Отец Г. Стеффена, служащий таможни, не признал незаконнорожденного сына, однако у способного

мальчика нашлись покровители [10], и в 1883 году он начал учебу в Стокгольме, но вскоре перебрался в Германию, где изучал сначала естественные науки (химию и минералогию) в Ахене, а затем — в Горной Академии в Берлине [20]. Вскоре интересы юноши изменились: в 1885—1887 годы Стеффен, работая ассистентом в Горной академии, параллельно изучал политэкономию в Берлинском университете. В следующее десятилетие он продолжит изучение социальных наук в Лондоне (1887—1897), Флоренции (1897—1902), а также в Мюнхене и Ростоке. Тем самым молодой ученый ознакомился с научными достижениями практически всех тогдашних ключевых центров становления и развития социологической науки (кроме Франции), став своего рода «ученым-космополитом» [10].

Все же одна из научных держав Европы привлекала Стеффена в наибольшей степени. Речь идет о Германской империи — молодой, амбициозной континентальной державе, которой в силу ряда исторических причин симпатизировали многие образованные шведы, видя в ней потенциальный противовес как английской гегемонии на море, так и российской экспансии на Запад. С самого начала своей научной и политической деятельности Стеффен завязал прочные личные контакты с берлинской профессурой и рядом немецких политиков [9. S. 256], а в 1902 году он успешно защитил докторскую диссертацию в университете Ростока. Видимо, именно в то время его впервые привлекла «душевность» и «организаторский гений» немецких ученых — качества, которые он позднее счел ключевыми элементами немецкой и европейской культуры в целом [3; 17. S. VI—VII].

Впрочем, в сфере идейного воздействия на молодого исследователя с Германией вполне могла соперничать Великобритания, в которой он провел суммарно более десяти лет в качестве студента и корреспондента влиятельной гетеборгской газеты. «Становление Стеффена как ученого... произошло в Германии и Англии под влиянием национальных исследовательских традиций» этих стран», — с данным тезисом С. Магдалени трудно не согласиться [12. S. 91].

В Англии Стеффен сблизился с «Фабианским обществом», был лично знаком с Б. Шоу и многими левыми политиками. Исследовательские же его интересы концентрировались на таком прикладном предмете, как условия жизни наемных рабочих и их сложные взаимоотношения с хозяевами фабрик [20]. Неудивительно, что в своих первых работах — «Рабочий вопрос в промышленности» (*Den industriella arbetarfrågan*, *1889*), «Нормальный рабочий день» (*Normalarbetsdagen, 1891*), «О современной Англии» (*Från det moderna England, 1893*) — Стеффен предстает с точки зрения методологии как ученый-эмпирик, находящийся под сильным влиянием марксизма [10]. В то время Стеффен еще идеалистически уповал на мирное разрешение конфликтов между рабочими и фабрикантами, подчеркивая роль моральных ценностей в предпринимательской деятельности (идея, популярная в общественных науках того времени и сохраняющая отчасти актуальность [1. С. 67—68]).

В более поздней работе «Англия как великая держава и государство культуры» (1898) Стеффен, проведя анализ истории возникновения и развития рабочего движения в Англии, приходит к выводу, что подлинность «демократического»

устройства Великобритании на рубеже веков вызывает серьезные сомнения, а скрытый «аристократизм» ее формы правления может довести ее до больших социальных проблем [16. S. IV]. Но все же Стеффен уповал на ее скорейшую демократизацию, приобщение массы трудового английского народа к управлению своей страной. Особенно важным ученый считал тот факт, что только демократическая Англия сможет быть по-настоящему миролюбивой державой, благосклонной к нуждам и потребностям «малых» стран Европы (в том числе его родной Швеции) [16. S. 218].

Также в 1890-е годы Стеффен испытал мощное влияние «элитистских» воззрений Ф. Ницше, которые он стремился сочетать с социалистическими идеями. В действительности, молодой Стеффен отнюдь не был «мыслителем одной идеи», его круг интересов в общественных науках был очень значителен, как и количество стран, в которых он успел поработать [22. S. 78].

Обобщением научных изысканий Стеффена в тот период стала докторская диссертация «О покупательской способности взрослых мужчин-рабочих в Англии в 1760—1830-е годы», которую он поехал защищать в полюбившуюся ему Германию. В 1902 году в университете Ростока Стеффен благополучно стал доктором наук [9. S. 256], повторив путь своих выдающихся соотечественников — основателя геополитики Рудольфа Челлена, географа и путешественника Свена Хедина, юриста и обществоведа Понтуса Фальбека, также защищавших свои работы в Германии [2; 3].

Поскольку получить должность при университетах Берлина или Кельна Стеффену не удалось, он после долгих лет в континентальной Европе вернулся в Швецию, где и стал первым в стране профессором социологии и политэкономии. Такое совмещение наук на одной кафедре не должно удивлять: как справедливо указывает П. Виссельгрен, сто лет назад границы между общественными науками были очень размытыми, и даже великие М. Вебер и Э. Дюркгейм далеко не сразу смогли стать в представлении коллег «чистыми социологами» [22. S. 80—82]. Сам Стеффен несколько тяготился новой должностью, так как не имел контактов с научным миром Гетеборга ранее и закономерно оказался там в определенной изоляции.

Рубежом в творческом развитии Стеффена как социолога стали 1907—1909 годы, когда он вместе с остальным научным миром Швеции подвергся влиянию пришедшего в Скандинавию «бергсонизма». «Интуитивная философия» Анри Бергсона подвигла Стеффена изменить методологию социальных исследований: отныне он стал интересоваться уже не столько сбором эмпирических данных, сколько вопросами взаимоотношений индивида, природы и общества [8. S. 50]. «Первая волна» шведской социологии в лице Стеффена и отчасти П. Фальбека своей стала историоцентричной, «квалитативной», нацеленной на широкие научные обобщения (в то время как послевоенная социология в Швеции оставалась по преимуществу прагматически ориентированной, количественной и направленной на решение практических задач) [22. S. 77—78]. Эволюцию эклектичного научного подхода Стеффена демонстрирует его многотомный труд *Sociala Studier* (1905—1912).

Параллельно с научной активностью в указанные десятилетия ученый делает первые шаги в шведской политике. Отталкиваясь от собственных «культурно-идеалистических взглядов» и политической программы немецкого «ревизиониста» Э. Бернштейна, он формулирует ряд социал-реформистских постулатов: социалистическое общество является отдаленной целью, но долгое время в Швеции будет существовать регулируемый «частный капитализм»; необходимо добиться выравнивания доходов различных слоев населения путем перераспределения национального богатства; государство должно обеспечить прожиточный минимум наиболее бедным гражданам, ввести «всеобщий общественный стандарт качества жизни»; при этом должна быть сохранена свобода предпринимательства и открытия новых средних и мелких предприятий как основы нынешнего благосостояния [20].

Политическая программа Стеффена, а также его искренняя вера в то, что назревшие социальные реформы важнее увеличения национального дохода, привлекли внимание Яльмара Брантинга, лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ), и в 1910 году он стал ее членом. «Ревизионистские» взгляды гетеборгского профессора встретили отпор радикально настроенных младосоциалистов во главе с Ф. Стремом и П.-А. Ханссоном, однако были поддержаны партийным руководством и более консервативными членами СДРПШ вроде Эрика Пальмшерны, который позднее отметил явную пользу вхождения Стеффена в партию, его вклад в теоретическую разработку проблем социализма в Швеции [10].

При поддержке СДРПШ в 1910 году Стеффен избирается в первую, аристократическую и «буржуазную» палату риксдага от Стокгольмского округа. Он останется депутатом вплоть до 1916 году будет членом ряда парламентских комиссий, запомнится современникам как незаурядный оратор [20]. В начале 1914 года социолога, наконец, пригласят преподавать в Берлинский университет, однако возвращению Стеффена в Германию помешает война.

Разразившаяся в августе 1914 года Первая мировая война поставила шведских интеллектуалов перед серьезным выбором: поддержать ставший доброй традицией и экономически оправданный шведский нейтралитет или высказать свою поддержку одной из воюющих сторон.

Поскольку «Великая война» 1914—1918 годов стала неслыханным потрясением для всей Европы, пространства для рационального выбора почти не осталось. Представители научной и культурной элиты воюющих стран — России, Англии, Германии, Франции — в основной своей массе стали фанатично поддерживать свои правительства из патриотических побуждений, позабыв обо всех былых противоречиях и положившись сугубо на личные чувства и веру в предстоящую победу. Подобным образом мыслили и интеллектуалы нейтральной Швеции, делая не логический, а эмоциональный выбор в вопросах моральной поддержки той или иной воюющей державы. Поэтому, как только началась война, Стеффен на время отложил социологические исследования и всеми силами старался обос-

новать участие Германии в войне, оправдать немцев и разоблачить их врагов [2]. В войне он видел следствие империалистических противоречий и считал, что немцы достойны победы, учитывая «глубокую культурность» и «социальную конструктивность» германского империализма, что выгодно отличало его от английского, французского или русского. Немецкий империализм способен принести блестящее будущее народам Европы, — убеждал шведскую общественность Стеффен [3; 19. S. 163]. В одной из работ военного времени Стеффен практически с первых строк пишет об агрессии русских, англичан и французов на рубеже веков, утверждая, что «не Германия хотела этой войны» [15. S. 3—4]. Однако, как известно, большинство историков не согласны с этим [3].

Антиподом Германии как спасительницы Европы и главным врагом европейской цивилизации в работах Стеффена выступала Российская империя, казавшаяся ему культурно отсталой страной, варварским государством погромов [15. S. 85]. Стеффен полагал, что Россия намерена проводить экспансию в западном направлении (в том числе на Севере Европы [21. P. 12]), расширяя свою сферу влияния военным путем [3], а также путем возрождения «ночного кошмара панславизма». Исходя из этого, Стеффен оспаривал права Российской империи на некоторую часть ее западных территорий. В работе «Россия, Польша и Украина», вышедшей в 1915 году в США, он писал [2]: «„русские варвары“ на протяжении столетий беспощадно угнетали поляков и украинцев, чем совершили «преступление против природы и истории» [17. P. 29]. Эта несправедливость была тем больше, что, по мнению Стеффена, русские и украинцы (не говоря уже о поляках) — совершенно этнически чуждые друг другу народы: первые за годы монголо-татарского ига сильно перемешались с тюркскими народами, а украинцы за последние несколько столетий — напротив, с австрийцами, ведь они долгое время являлись подданными Австрийского королевства. Этот удивительный вывод служил доказательством справедливости войны всех немцев и восточноевропейских славян против угнетателей-русских и важности включения всей Украины в состав Австро-Венгрии, которая способна даровать подлинную свободу украинскому народу [3; 17. P. 36]. Соответственно, в начавшейся «Великой войне» вся Восточная Европа с помощью немецкого оружия должна была быть очищена от русского присутствия [17. P. 29].

Примечательно, что в той же книге Стеффен спорил с русским мыслителем П.А. Кропоткиным, упрекая его в субъективизме и наивной вере в то, что в случае победы над Германией Россия перейдет к демократическому правлению и дарует широкие права и свободы полякам и украинцам. Правда, собственного субъективного, пристрастного отношения к геополитическим вопросам шведский исследователь при этом не замечал. Позже Стеффен понял, что враждебные действия России по отношению к Центральной Европе не были самостоятельными — за спиной русских якобы стояли англичане. Теперь он утверждал, что война явилась следствием английской мировой экспансии, и идея завоевания мирового господства — главная цель Британской Империи [17. S. 5]. Соответственно, «грубой ошибкой» являлось в европейской публицистике военных лет применение

понятий «милитаризм» и «империализм» только по отношению к Германии. Скорее наоборот: немцы как «домашний народ Европы» были значительно менее склонны к военной экспансии, чем колониалисты-англичане [17. S. 14—15], которые, преследуя собственные цели, намеренно оклеветали Германию, столкнули ее с Россией и вызвали в Европе немотивированную «любовь к русским» [3; 17. S. 189].

Военные брошюры Стеффена, переведенные на немецкий язык и изданные большими тиражами в социал-демократическом издательстве в Йене, закономерно встретили сочувственные оценки в немецкой научной и политической среде. Однако эти работы, направленные на поддержку Германии, возмутили и пацифистски настроенных шведских социал-демократов, и англичан — в силу нападок автора на английскую политику. Так, разоблачению тезисов, изложенных Стеффеном в книге «Война и культура», посвящена работа шотландского журналиста Дж. Робертсона [14. P. 132], указавшего на крайний субъективизм и открытый «прогерманизм» автора [3]. В Швеции с резким осуждением взглядов Стеффена выступил его ученик, в будущем известный левый политик Эрнст Вигфорс [2]. Обстановка была настолько сложной, что на страницах своих брошюр Стеффен вынужден был отвечать на наиболее существенные доводы своих противников, например, на пассажи Эллен Кей о необходимости различать «Германию Гете» как страну высокой культуры и «Германию Бисмарка» как оплот «пруссачества» и источник войны [15. S. 245—247].

В конечном счете политические взгляды Стеффена оказалась слишком милитаристскими и прогерманскими для СДРПШ, и в октябре 1915 года он вместе с придерживавшимися сходных взглядов Ингве Ларссоном и Отто Ярте был исключен из партии, сохранив место депутата в первой палате шведского парламента.

Пока исключенные с ним политики безуспешно пытались протестовать [2], Стеффен открыто иронизировал над решением Я. Брантинга и бывших соратников и утверждал, что его убеждения относительно сущности продолжавшейся мировой войны не были поводом для исключения из СДРПШ [7]. В соответствии с этими убеждениями Стеффен, несмотря на утрату партийной поддержки, предпринял попытку повлиять на шведскую внешнюю политику. На протяжении весны 1916 года он несколько раз брал слово в первой палате риксдага и в своих выступлениях настойчиво предлагал начать совместную операцию шведского флота с немецким с целью захвата принадлежавших России Аландских островов и создания на них шведских укреплений в стратегически важной части Балтийского моря. Однако министр иностранных дел Кнут Валленберг категорически отклонил его предложение и выразил решительный протест против продолжения «активистской прогерманской пропаганды» как дестабилизирующего фактора внутри страны [2; 13. S. 3—8]. Таким образом, политическая карьера Стеффена стремительно приближалась к закату.

Еще более негативным следствием политической активности Стеффена в военные годы стало падение интереса к его научным трудам. Историк и политик

Херберт Тингстен напишет позднее, что шведские ученые-прогерманисты (Челлен, Стеффен, Хедин, Фальбек) из-за своей прогерманской политической деятельности не смогли сохранить научную объективность, увлекшись эмоциональной рефлексией происходящего и абстрактными построениями. Они не сумели создать в Швеции эффективную «систему общественных наук», достойную развитой европейской страны. По большому счету представители шведской (и немецкой) науки и культуры — известные по всей Европе ученые, журналисты, писатели, философы — оказались в годы войны заодно с «прусским лейтенантом» [2]. Факт снижения научного веса Стеффена в военное и межвоенное время сходным образом объясняют и современные шведские исследователи [8. S. 54; 23. S. 289].

В десятилетие, последовавшее за окончанием Первой мировой войны, Стеффен продолжил научную деятельность, однако прежней поддержки научного сообщества в Швеции, конечно, не имел. В научном плане наибольший интерес представляет его работа «Мировые эпохи» (*Världsåldarna, 1918—1920*), в которой он пытается проследить историю человечества с «механически эволюционных» позиций [8. S. 54]. Однако избранный умозрительный метод, вытекающий из его «социопсихологического» убеждения, что «социальное есть в основе своей психическое, а точнее — индивидуально-психическое», не смог привести к сколь-нибудь внятным и убедительным результатам, и работа осталась практически незамеченной современниками [10].

Вернулся Стеффен и к политической активности — в 1922 году он был восстановлен в СДРПШ, участвовал в правительственной «комиссии по социализации», установил личный контакт с новым лидером английских лейбористов Р. Макдональдом, на которого возлагал надежды на демократизацию и ограничение капитализма в Великобритании. Примечательно, что в своей последней публицистической работе «Демократия и международная политика» (*Demokrati och maktpolitik, 1927*) Стеффен одобрил сильное государственное вмешательство в экономику, что, по словам О. Лилльестама, подвело его взгляды «опасно близко» к одобрению авторитаризма, в скором времени воцарившегося во многих странах Европы [10; 11].

В 1929 году Густав Фредрик Стеффен скончался, и кафедра социологии и политэкономии в Гетеборге с его смертью прекратила свое существование. До возрождения шведской социологии оставалось еще почти двадцать лет...

***

Итак, период научной, публицистической и политической активности Густава Стеффена охватывает без малого четыре десятилетия: от его первых марксистских работ конца 1880-х годов до политических заметок середины 1920-х. Относительно политической деятельности Стеффена можно констатировать, что она была сравнительно неудачной: он был изгнан из набиравшей силу СДРПШ в разгар Первой мировой войны, позднее восстановлен, но лишен прежнего влияния; переизбраться в риксдаг самостоятельно в 1916 году Стеффену не удалось. Что каса-

ется его воззрений на международную политику в преддверии и в годы «Великой войны», то поражение Германии и Австро-Венгрии в 1918 году, а также последовавший крах этих империй с достаточностью убедительностью показали заблуждения ученого.

Намного сложнее дело обстоит с научным наследием Стеффена и его местом в истории шведской и, шире, европейской социологии. На первый взгляд, Стеффен представляется научным маргиналом — ему не удалось привлечь к сотрудничеству известных исследователей или воспитать выдающихся последователей, поэтому социологические исследования в Гетеборге закономерно прервались после его смерти [23. S. 288—289].

Стеффен не создал свою школу, поэтому его влияние на дальнейшее развитие скандинавской социологии представляется «сравнительно небольшим» [22. S. 74—75]. В современной литературе можно даже встретить мнение, что первая эпоха шведской социологии не состоялась, поскольку шведская социальная наука якобы шла по неверному пути и была иной, нежели прикладные исследования, развернувшиеся в стране после 1947 года. Эту «ошибочную» эпоху представляли Г. Стеффен и П. Фальбек, занимавшиеся анализом больших статистических данных и проблемами генезиса общественных явлений, а в области методологии излишне полагавшиеся на разработки абстрактной и умозрительной немецкой науки того времени [22. S. 75—76].

Свою лепту в искажение представления о подлинной роли Стеффена в становлении шведской социологии внес и глава послевоенной школы Т. Сегерштедт: в 1987 году он написал, что роль Стеффена заключается в выделении «исторических эпох» человечества, а также в журналистских и публицистических работах [8. S. 45]. Возможно, «отец» послевоенной шведской социологии намеренно затушевывал значение работ Стеффена, чтобы на их фоне выгодно представить собственные достижения.

В действительности значение научного наследия Стеффена для шведской и европейской социологии может быть представлено, как минимум, в трех аспектах: (1) социологическая трактовка «интуитивной философии» А. Бергсона, которая требовала внимания к проблемам реальных людей и учета социальных обстоятельств их жизни, оказалась достаточно плодотворной (а методологический потенциал «бергсонизма» в социологии не исчерпан и по сей день); (2) принципиальная «историоцентричность» социологии Стеффена, имеющая свои корни в научной традиции Швеции и Германии, также представляется одним из мощнейших ресурсов развития европейской социологии; (3) эклектичность построений Стеффена может трактоваться как необходимая сегодня междисциплинарность социологической науки, в которой многие исследователи видят выход из ряда логических тупиков современных социогуманитарных наук.

В свете сказанного выше можно утверждать, что никакого принципиального разрыва в шведской социологической традиции не существует. Густав Стеффен, подлинный пионер новой научной дисциплины в Швеции, стал связующим звеном

между попытками поставить социальные вопросы в середине XIX века, работами Нобелевских лауреатов супругов Мюрдаль в 1930-е годы и вдохновленной американскими исследованиями школой Сегерштедта [22. S. 112]. Таким образом, даже самые забытые фигуры в истории социальной науки сохраняют актуальность, что прекрасно доказывает «казус Стеффена» в истории шведской социологии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] *Гладышева Е.В.* Влияние нравственных ценностей на успешность экономической деятельности (на примере отечественных предпринимателей XIX—XX вв.) // Российский технологический журнал. 2017. Т. 5. № 4.

[2] *Гриценко С.А.* «Прогерманизм» в общественно-политической жизни Швеции (1905—1916). Дисс. ... к.и.н. М., 2017.

[3] *Гриценко С.А.* Россия и Германия в трудах Густава Стеффена // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени. М., 2015.

[4] *Кан А.С.* История Швеции. М., 1974.

[5] *Монсон П.* Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. М., 1994.

[6] *Новикова И.Н.* Между молотом и наковальней: Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны. СПб., 2006.

[7] De socialdemokratiska aktivisterna // Kalmar. 1915. October 29.

[8] *Eriksson I.* Den svenska sociologins dolda historia — fallet Gustaf Steffen // Sociologisk Forskning. 1994. Vol. 31. No. 3.

[9] *Gustafsson A.* Mellan „höger och vänster“. Branting och Palmstjerna // Bilder av Branting. Stockholm: Tiden, 1975.

[10] *Lilliestam Å.* Gustaf F. Steffen // https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/20049

[11] *Lilliestam Å.* Gustaf Steffen: samhällsteoretiker och idépolitiker. Stockholm: Akademiförlaget-Gumperts, 1960.

[12] *Magdaleni S.* Några iakttagelser om sociologins historia — och samtid // Sociologisk Forskning. 2007. Vol. 44. No. 2.

[13] Riksdagens protokoll. Första kammaren. Tredje bandet. 1916. No. 70.

[14] *Robertson J.M.* War and Civilization. An Open Letter to a Swedish Professor. L.: E.P. Dutton & Co., 1916.

[15] *Steffen G.* Demokratie und Weltkrieg. Jena: Eugen Diederichs, 1916.

[16] *Steffen G.* England als Weltmacht und Kulturstaat. Bd. 2. Stuttgart: Hobbing und Buechle, 1907.

[17] *Steffen G.* Krieg und Kultur. Jena: Eugen Diederichs, 1915.

[18] *Steffen G.* Russia, Poland and the Ukraine. Jersey: Ukrainian National Council, 1915.

[19] *Steffen G.* Weltkrieg und Imperialismus. Jena: Eugen Diederichs, 1915.

[20] Steffen, Gustaf Fredrik // Nordisk familjebok. 2:a upplagan. Stockholm: Nordisk Familjeboks Forlags Aktiebolag, 1917.

[21] *Tingsten H.* The Debate on the Foreign Policy of Sweden. 1918—1939. L.: Oxford University Press, 1949.

[22] *Wisselgren P.* Sociologin som inte blev av: Gustaf Steffen och tidig svensk socialvetenskap // Sociologisk Forskning. 1997. Vol. 34. No. 1—2.

[23] *Zetterberg H.L.* Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi // Sociologisk Forskning. 2013. Vol. 50. No. 3—4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-238-249

GUSTAF STEFFEN AS A SOCIOLOGIST AND POLITICIAN*

S.A. Gritsenko, N.I. Chernova

Moscow Technological University (MIREA)
Prosp. Vernadskogo, 78, Moscow, Russia, 119454
(e-mail: gricenko@mirea.ru, chernova@mirea.ru)

Abstract. The authors conduct analysis of the scientific and publicist legacy of the Swedish sociologist Gustaf Steffen in the framework of the Swedish and European history at the turn of XIX—XX centuries based on the scientific and political works of G. Steffen, his contemporaries' responses to these works, mass media reports and a number of official acts of the Riksdag while Steffen was a member of it. In different periods of his life, Steffen's methodology combined elements of Marxism, Nietzsche's "elitist ideas", both M. Weber's and G. Simmel's German school tradition, and "intuitive philosophy" of H. Bergson. In general, Steffen's sociology can be considered a theoretical macro-analysis of the society's historical development. Although Steffen was the first professor of sociology in the Swedish history (1902), he did not manage to create a scientific school, and after his death in 1929, the development of Swedish sociology was interrupted for almost twenty years. Only after the Second World War T. Segerstedt (Jr) established a school following the American scientific tradition of pragmatic analysis based on quantitative methods. The main reason for the scientific isolation of Steffen was his pro-German position in the First World War: as an 'activist' he aimed at drawing Sweden into the war on the German side, but failed and finished his political career in the early 1920s. There are some features the Swedish sociological tradition inherited from Steffen's theory — "Bergsonism" in the form of analysis of social circumstances of individual life, principal "historicism", and interdisciplinarity. Thus, Steffen is a true pioneer of the Swedish sociology whose ideas are still relevant.

Key words: Gustaf Steffen; Torgny Segerstedt (Jr.); history of sociology; Swedish sociology; history of Sweden; First World War; 'pro-Germanism'; Swedish domestic and foreign policy

REFERENCES

[1] Gladysheva E.V. Vlijanie nravstvennyh tsennostej na uspeshnost ekonomicheskoj dejatelnosti (na primere otechestvennyh predprinimatelej XIX—XX vv.) [Moral values' impact on the success of economic activities (on the example of Russian entrepreneurs in the XIX—XX centuries]. *Moskovskij Tekhnologicheskij Zhurnal.* 2017: 5 (4) (In Russ.).

[2] Gritsenko S.A. *Progermanizm v obshchestvenno-politicheskoi zhizni Shvetsii (1905—1916)* ['Pro-Germanism' in the Swedish Social-Political Life in 1905—1916]. PhD thesis. Moscow; 2017 (In Russ.).

[3] Gritsenko S.A. Rossija i Germanija v trudah Gustava Steffena [Russia and Germany in Gustaf Steffen's Writings]. *Istoricheskie dokumenty i aktualnye problemy arkheografii, istochnikovedeniya, otechestvennoj i vseobshhej istorii Novogo i Novejshego vremeni*. Moscow; 2015 (In Russ.).

[4] Kahn A.S. *Istoriya Shvetsii* [History of Sweden]. Moscow; 1974 (In Russ.).

[5] Månsson P. *Lodka na alleyakh parka. Vvedenie v sotsiologiyu* [A Boat on the Parkways. Introduction to Sociology]. Moscow; 1994 (In Russ.).

[6] Novikova I.N. *Mezhdu molotom i nakovalnei: Shvetsiya v germano-rossiiskom protivostoyanii na Baltike v gody Pervoi mirovoi voiny* [Between the Hammer and the Anvil: Sweden in the German-Russian struggle in the Baltic in the First World War]. Saint Petersburg; 2006 (In Russ.).

* © S.A. Gritsenko, N.I. Chernova., 2017.

[7] De socialdemokratiska aktivisterna. *Kalmar*. 1915; October 29.
[8] Eriksson I. Den svenska sociologins dolda historia — fallet Gustaf Steffen. *Sociologisk Forskning*. 1994; 31 (3).
[9] Gustafsson A. Mellan "höger och vänster". Branting och Palmstjerna. In: Lindhagen J. (Ed.). *Bilder av Branting*. Stockholm: Tiden; 1975.
[10] Lilliestam Å. Gustaf F Steffen. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/20049.
[11] Lilliestam Å. *Gustaf Steffen: samhällsteoretiker och idépolitiker*. Stockholm: Akademiförlaget-Gumperts; 1960.
[12] Magdaleni S. Några iakttagelser om sociologins historia — och samtid. *Sociologisk Forskning*. 2007; 44 (2).
[13] Riksdagens protokoll. Första kammaren. 1916; 3 (70).
[14] Robertson J.M. *War and Civilization. An Open Letter to a Swedish Professor*. London: E.P. Dutton & Co.; 1916.
[15] Steffen G. *Demokratie und Weltkrieg*. Jena: Eugen Diederichs; 1916.
[16] Steffen G. *England als Weltmacht und Kulturstaat*. Band 2. Stuttgart: Hobbing und Buechle; 1907.
[17] Steffen G. *Krieg und Kultur*. Jena: Eugen Diederichs; 1915.
[18] Steffen G. *Russia, Poland and the Ukraine*. Jersey: Ukrainian National Council; 1915.
[19] Steffen G. *Weltkrieg und Imperialismus*. Jena: Eugen Diederichs; 1915.
[20] Steffen, Gustaf Fredrik. *Nordisk familjebok.* 2:a upplagan. Stockholm: Nordisk Familjeboks Forlags Aktiebolag; 1917.
[21] Tingsten H. *The Debate on the Foreign Policy of Sweden. 1918—1939.* London: Oxford University Press; 1949.
[22] Wisselgren P. Sociologin som inte blev av: Gustaf Steffen och tidig svensk socialvetenskap. *Sociologisk Forskning.* 1997; 34 (1—2).
[23] Zetterberg H.L. Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi. *Sociologisk Forskning.* 2013; 50 (3—4).

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 250—261
http://journals.rudn.ru/sociology

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-250-261

ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМ: ПОСТМУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ*

Куропятник А.И., М.С. Куропятник

Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия
(e-mail: alkuropjatnik@mail.ru, kuropjatnik@bk.ru)

В современной постмультикультуральной дискуссии интеркультурализм выступает как модель интеграции в контекстах разнообразия, способ осмысления глобализованной реальности и интеркультурный диалог, или инструмент «позитивного взаимодействия». Совет Европы, Европейская Комиссия и ЮНЕСКО поддерживают интеркультурализм как основную концепцию социальной интеграции в контекстах разнообразия. Интеркультурализм принимает во внимание множественность идентичностей, различий, способов сосуществования, присущих эпохе суперразнообразия и диверсификации мобильностей в условиях глобализации. В постмультикультуральной перспективе интеркультурализм вовлечен в дискуссии о «конце мультикультурализма», во многом утратившего свой символический капитал. Интеркультурализм предлагает новый нарратив социальной интеграции, основанный на переосмыслении идей и социальных ситуаций, смещении акцентов, а также на символических инверсиях, и потому релевантный сложной социокультурной реальности XXI века. При этом интеркультурализм не заменяет мультикультурализм как «третий путь» интеграции — между мультикультурализмом и ассимиляцией. Интеркультурализм предполагает разные модели интеграции, такие как квебекский интеркультурализм и европейский интеркультурализм, подразумевающий возвращение к идее национального государства. Будучи ориентирован на создание «формулы сосуществования» в условиях суперразнообразия, интеркультурализм не ограничивается только иммиграционным контекстом, а артикулирует многомерность различий (профессиональных, образовательных, гендерных, этнических) в контекстах неравенства, в том числе и в границах национального государства. Теоретическая разнородность и тематическая всеохватность интеркультурализма, амбивалентность концептов в фокусе его внимания могут стать источником новых проблем для тех национальных и международных структур, которые сделали на него ставку. В контексте интеркультурализма управление культурным разнообразием и развитие интеркультурного диалога отнесены не только к сфере компетенции правительственных структур, но и других сегментов общества, в частности сферы образования, институтов гражданского общества, частного сектора и локальных общин.

Ключевые слова: интеграция в контекстах разнообразия; интеркультурализм; интеркультурный диалог; мультикультурализм; постмультикультуральная перспектива; суперразнообразие; социальная интеграция

* © Куропятник А.И., Куропятник М.С., 2017.

Интеркультурализм находится в центре современной постмультикультуральной дискуссии, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, его вовлеченностью в дебаты о «конце» мультикультурализма, направленные на поиски ответа на вопрос, каким будет мир и культурное разнообразие в эпоху «после мультикультурализма» [6. P. 1]. Во-вторых, значением интеркультурального теоретизирования в контексте постмультикультурального подхода, а также поиском нового языка или социальной теории, в рамках которой современное «суперразнообразие» может быть концептуализировано и объяснено [15. P. 65]. В-третьих, его коммуникативными, интерактивными и политическими возможностями, имеющими определенное значение для создания в условиях культурного, этнического и социального разнообразия современных обществ нового «контекста совместной жизни» [28. P. 3]. В-четвертых, пересмотром значения интеркультурного диалога как инструмента решения проблем [17. P. 5], а также вкладом интеркультурализма в формирование новой гражданской культуры в плюральных обществах, где интеграция сопровождается защитой от дискриминации, основанной на манифестируемых различиях [4. P. 440—441], и общественной дискуссией. И, наконец, его усилиями по репрезентации диверсификации мобильности, ее новых глобальных паттернов, делающих управление разнообразием важнейшей проблемой XXI века [15. P. 65], по созданию нарратива приверженности разнообразию и по преодолению эссенциалистских коннотаций интеграции, стереотипов мультикультурализма и крайностей ассимиляции [18. P. 14; 20. P. 2].

В контексте европейской интеграции мультикультурализм отнесен к «старым походам» управления культурным разнообразием, которые сегодня не релевантны ни новым реалиям, ни требованиям общеевропейской политики [26. P. 9]. Перспективным проектом социальной интеграции Советом Европы, Европейской Комиссией и ЮНЕСКО провозглашен интеркультурализм [2. P. 3—4; 7. P. 47], основанный на таких принципах, как уважение человеческого достоинства, фундаментальных ценностей европейцев, а также общего наследия и культурного разнообразия [26. P. 4]. Европейская Комиссия, Совет Европы и ЮНЕСКО поддерживают интеркультурализм как «инструмент позитивного взаимодействия» и основную концепцию интеграции, хотя он редуцирует интеркультуральность к интеркультурному диалогу [8. P. 35—36] и ориентирован на создание для граждан Европы условий для приобретения знаний и обучения навыкам взаимодействия в открытой и культурно разнообразной среде [19. P. 1]. Интеркультурализм способствует развитию паттернов поведения граждан, их культурной грамотности и компетентности, релевантных сложной социокультурной реальности XXI века.

ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМ: СОДЕРЖАНИЕ И ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ

Новая терминология открывает новые перспективы для формирования теоретического и символического пространства. Включение интеркультурализма в современный европейский дискурс наряду с такими концептами, как интеркультурный диалог, разнообразие, суперразнообразие, культурный плюрализм и ин-

теграция, стимулирует реконфигурацию еще недостаточно структурированного теоретического, социокультурного, политического и коммуникативного пространства Европы. Интеркультурализм, будучи «дискурсивно текучим» [6. P. 8], нередко отождествляется с другими терминами, например, с интеркультурным диалогом [10. P. 80—81]. Более того, в некоторых европейских языках интеркультурализм, мультикультурность и мультикультурализм используют как синонимы [24. P. 28]. Трудности в определении границ и содержания этих терминов обусловлены сложностью, «текучестью» социальных ситуаций, для описания которых они используются. Показателен, например, термин «гибридный интеркультурализм», занимающий промежуточное положение между мультикультурализмом и ассимиляцией, но семантически не соответствующий интеркультурализму [13. P. 15; 20. P. 3].

Несмотря на то, что интеркультурализм не имеет общепринятого определения, его важнейшие структурные компоненты, заключенный в нем потенциал социальной интеграции в целом уже определены. В ряде национальных и культурных контекстов интеркультурализм репрезентируется как совокупность теоретических и управленческих подходов, основанных на принципах открытости, интеркультурного диалога и «позитивного взаимодействия». Одна из наиболее важных задач интеркультурализма состоит в реконфигурации моделей интеграции и характера социальных отношений в обществах, вовлеченных в контексты глобализации, международной миграции, диаспорных констелляций, культурного и социального разнообразия.

Важно подчеркнуть, что в современных национальных контекстах (за исключением Квебека) интеркультурализм не является самостоятельной политикой. В этом его важное отличие от мультикультурализма, хотя вопрос о переосмыслении последнего как национальной политики уже ставится [27. P. 1]. Интеркультурализм не инициирует изменения «сверху вниз», в его рамках используется «дискурсивная практика изменений», рассчитанная не на сиюминутный результат, а на долговременный эффект. С этой целью в концепциях интеркультурализма в качестве инструментов проективного изменения реальности используются отказ от этничности и культуры как основных критериев социального группирования, признание в национальном контексте не только притязаний меньшинств, но и прав большинства [4. P. 445—448; 20. P. 2].

Признавая культурное разнообразие, ценность культурного наследия, интеркультурализм, тем не менее, отказывается от определения социального статуса на основе культуры, когда «право быть равным» обращается в «право быть другим», а взаимная сегрегация этнокультурных сообществ приводит к актуализации культурного, а не социального капитала [8. P. 19—20]. Интеркультурализм выступает как совокупность дискурсивных стратегий, подразумевающих «открытый диалог» и обсуждение как тенденций трансформации общества в целом, так и форм социальности и культуры, соотносимых с разнообразными акторами — этническими, культурными, религиозными. В центре внимания интеркультурализма — нарратив изменений, а не их конкретное содержание. В этой перспективе артикулируются его контекстуальные версии как инструменты дискурсив-

ного переопределения, реконцептуализации социального, научного и политического аспектов. Таким образом, интеркультурализм выступает как инструмент и поле дискуссии: с одной стороны, в его границах обсуждаются острые социальные вопросы, постановка которых желательна гораздо в большей степени, чем игнорирование или сглаживание; с другой стороны, интеркультурализм способствует формированию у акторов культуры и навыков ведения общественной дискуссии и достижения компромиссов.

Интеркультурализм часто концептуализируется в терминах дискурсивности и нарратива. Именно дискурсивность создает иллюзию широты и тематической всеохватности интеркультурализма как научного подхода и агента постмультикультуральной дискуссии. Так, в одном случае интеркультурализм понимается как стратегия или политика интеграции [5. P. 39—40]. В другом случае он выступает в качестве своеобразной формы социальной эмансипации, открывающей новые перспективы культурных обменов, распространения культурных значений, изменений [22. P. 1] и вовлеченности в разные социокультурные контексты. В третьем случае интеркультурализм — проект поддержки новых моделей национальной идентичности, что предполагает возвращение к национально-политической парадигме и даже к «мультикультурному национализму» [20. P. 2—3], имеющему решающее значение для его переосмысления в национальных границах. В постмультикультуральной дискуссии интеркультурализм выступает в качестве основной стратегии управления этническим и культурным разнообразием, которая предполагает изменение моделей социальной интеграции и характера социальных отношений в процессе смещения акцентов с групповых, институционально организованных структур, отражающих отношения группа-государство, на отношения между индивидами и между государством и индивидом. Более того, вопросы культурного разнообразия и развития интеркультурного диалога относятся к сфере компетенции не только правительств, но и других сегментов общества, таких как образовательные структуры, институты гражданского общества и частный сектор [2. P. 3].

В контексте мультикультурализма модели интеграции и управления разнообразием опирались на известную, часто декларируемую стабильность национального государства, его политических, социальных и культурных границ, что сопровождалось репрезентацией отношений в европейских обществах в парадигме национального большинства-меньшинства, а между группами — в логике этничности. При этом культурное разнообразие выступало как условие потенциального приумножения социального капитала и достижения общественного согласия, а культура — не как динамичный, а как статичный феномен, соотносимый с определенной группой. На смену мультикультуральной парадигме 1.0, или управляемому мультикультурализму, основанному на идее признания этничности и культуры разных сообществ [25. P. 156], артикулируемой преимущественно в контекстах иммиграции, пришел мультикультурализм 2.0, развивающийся в постмультикультуральной перспективе. Он не только «поощряет» культурное разнообразие, но и предоставляет более широкие рамки для реализации граждан-

ских инициатив, политического участия и демократических прав [15. P. 73—74]. Такое смещение акцентов имеет место и в контексте интеркультурализма как способа концептуализации культурного разнообразия и интеграции.

Наконец, интеркультурализм представляет различные социально-политические модели интеграции. Одна из них исторически сопряжена с канадским Квебеком и известна как квебекский интеркультурализм. Другая модель связана с современной Европой, где интеркультурализм означает нечто совершенно иное — возвращение к дискурсу национального государства.

СТРАТЕГИЯ «СРЕДНЕГО ПУТИ»: ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМ МЕЖДУ АССИМИЛЯЦИЕЙ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМОМ

Принято считать, что интеркультурализм — концепт, пришедший на смену мультикультурализму. Однако в современных ландшафтах культурного и этнического разнообразия, а также глобального движения населения интеркультурализм скорее выступает альтернативой («третий путь») для обществ, выбирающих между ассимиляцией и мультикультурализмом [3. P. 93; 13; 18. P. 13]. Речь идет не только о пересмотре эпистемологических и политических возможностей определенных версий мультикультурализма, но также и о «дискурсивном преодолении» последствий тех его политик, которые, будучи основаны на понятиях этнической принадлежности, культуры и группы, отличались тем, что Д. Кэмерон назвал «пассивной толерантностью» [18. P. 10]. В рамках интеркультурализма в процессе преодоления крайностей как мультикультурализма, во многом утратившего свой символический капитал, так и ассимиляции приобретает реальные очертания и институционально закрепляется «новый нарратив» социальной интеграции [18. P. 14].

Несмотря на то, что мультикультурализм определенного типа (государственный или управляемый мультикультурализм 1.0) уже находился «под подозрением», запущенные им процессы по-прежнему укрепляли этнокультурные границы в пределах нации. Сегодня эти усилия привели к созданию другой, параллельной модели общества как «сообщества сообществ» — эта «другая» социальная реальность стала апогеем административного творчества государственных чиновников и невольно обернулась поощрением сегрегации, этнических конфликтов, испытывая трудности в обеспечении сплоченности и доверия [29. P. 170].

В современных дискуссиях интеркультурализм выступает скорее как новая парадигма социальной интеграции, а не очередное «модное слово» [12. P. 2—4]. В отличие от мультикультурализма, провозгласившего защиту от культурной и религиозной дискриминации, а также право на сохранение и развитие культуры в пределах обособленных этнокультурных групп, инкапсулированных в национальное общество, социальная интеграция в контексте интеркультурализма понимается как открытый динамичный процесс преобразования социальных контуров и культуры общества путем диалога и комплементарного интеркультурного взаимодействия. Фокус политики смещается с присущей институциональному мультикультурализму центрированной точки зрения, продуцирующей статичность,

к подходам, подразумевающим «более динамичный и многонаправленный процесс в результате межличностного контакта» [28. P. 5].

Важно отметить, что концепция социальной сплоченности Т. Кэнтла, изначально не имевшая своей целью социальную интеграцию, была направлена на снижение напряженности и стабилизацию отношений между группами. И только в новых политических, экономических и социальных контекстах суперразнообразия концепция сплоченности стала обретать новое значение — как инструмент интеграции на локальном уровне [9. P. 10—14]. Тема межличностных отношений становится при этом основополагающей для европейской парадигмы интеграции.

Особое значение интеркультурализма состоит в реинтерпретации новых ситуаций суперразнообразия в национальных и транснациональных пространствах на фоне стремительно растущей миграции (следствие военных, политико-экономических глобальных изменений), а также быстро меняющихся требований международных рынков труда. В итоге воплощаемые в социальной реальности принципы и модели «раздельного сосуществования» групп, организованных на основе этничности и культуры, становятся одной из причин критических показателей социальной сегрегации. Так, паттерны локализации иммигрантов в крупных городах на основе этничности и культуры — причина их взаимной пространственной сегрегации. Разные возможности на рынках туда, занятости, обучения, вовлеченности в социальные и культурные сети только усиливали незнание друг о друге, которое легко перерастало в страх [9. P. 9]. В ходе этих процессов трансформируются не только традиционные представления о государственном суверенитете, территориальности, национальном единстве и прочности национальных границ — в нестабильных международных и национальных контекстах, смещающихся контекстах диаспор, «пересечений и связей, ограничений гражданства и милитаризации границ» [15. P. 65] подвергаются пересмотру модели национальной безопасности, а также паттерны принадлежности и идентичности.

Таким образом, в современных контекстах разнообразия интеркультурализм — «модель баланса и равенства» или «третьего пути» между мультикультурализмом и ассимиляцией [4. P. 468]. Но актуальным остается вопрос о том, снимает ли интеркультурализм проблемы, связанные с культурным разнообразием и иммиграцией в разных социокультурных и политических контекстах.

Интеркультурализм развивается в основном в границах Европейского Союза, а также в провинции Квебек в Канаде, являясь в некоторых отношениях референтным и для других регионов мира. Опыт интеркультурального переосмысления глобализирующейся современности, накопленный в контексте отношений национального государства со своими регионами, представляется чрезвычайно актуальным для всех мультикультурных иммиграционных обществ.

Однако интеркультурализм как «формула сосуществования в контекстах разнообразия» [4. P. 437] в Европе и Канаде существенно различается, что обусловлено рядом факторов.

Во-первых, дискурс интеркультурализма в Европе относительно аполитичен [19. P. 2]: ни в границах национального государства, ни в пространстве Европы

интеркультурализм не является единственной легитимной моделью интеграции. Как отмечает Б. Парех, в таких условиях сложно найти способы согласования законных требований единства и разнообразия, достижения политического единства без культурной однородности, оставаться инклюзивным, не будучи ассимиляционистским, культивировать у граждан общее чувство принадлежности, уважая при этом их культурные различия, лелеять множественные культурные идентичности, не ослабляя при этом общую гражданскую идентичность [21. P. 34].

Во-вторых, интеркультурализм основывается на идее многомерности различий вместо их репрезентации на основе концептов расы, культуры, языка или религии [6. P. 8].

В-третьих, символическая инверсия в контекстах интеркультурализма становится одним из инструментов переосмысления значений терминов, ситуаций и явлений. Так, понятие «большинство», ранее понимавшееся как национальное большинство, культура и идентичность которого определяли характер и направленность интеграции иммигрантов, поменял свое содержание. Теперь «большинство» утратило прежние коннотации со статусом доминирования и выступает в роли одного из агентов взаимодействия, заявляющего о своих социальных и культурных интересах. Парадоксальным образом меняется и дискурс меньшинства, соотносимый теперь не столько с ситуациями дискриминации группы, сколько с ее численностью [26. P. 12], т.е. термин «меньшинство» утрачивает социологическое содержание. Столь же неопределенным и амбивалентным в контексте интеркультуральной дискуссии оказывается термин «культура» — он соотносится и со сферой творчества (искусством), и с образованием, и с нормативной системой, определяющей правила социального поведения и отношений, и с культурой в антропологическом смысле, в том числе и со статичной культурой группы. При этом интеркультурный диалог означает «обмен мнениями», подразумевая процессуальный подход к культуре [17. P. 23—24].

Именно такое широкое поле культуры, вовлеченное в сферу интеркультурализма, было представлено, например, на Всемирной конференции, состоявшейся в Милане с 30 октября по 1 ноября 2003 года [22. P. 1].

В-четвертых, интеркультурализм стремится к созданию общесоциальных принципов интеграции, базирующихся на уважении прав человека и демократии. Их отличительной чертой является отказ от следования единому культурному стандарту, поскольку от культурного разнообразия выигрывает каждый, кто вовлечен в него [25. P. 154]. При этом формирование европейской модели интеркультурализма происходит, с одной стороны, в условиях известной «усталости» от расширения границ Евросоюза, с другой, — в ситуации роста популярности идеи национального государства [1. С. 7—9].

КАНАДА: КВЕБЕКСКИЙ ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМ

Случай интеркультурализма в Канаде не менее сложен. Здесь, как и в Европе, мультикультурное общество сформировалось в логике идеи культурной гомогенности национального государства. Социально-политическое единство националь-

ного общества соотносится, как правило, с требованием этнокультурной и социальной однородности, поэтому парадоксальность канадского, как и любого другого национального общества, «скрывается» в предпочтениях и идеях, во многом заимствованных из прошлого, но не предлагающих четкой траектории продвижения вперед [16. P. Y11].

В условиях осознания множественности способов сосуществования, принадлежности и идентичности [15. P. 67] требования этнических и расовых меньшинств Канады, которые хотят признания и уважения, не жертвуя при этом равенством, свидетельствуют, что они «остаются в прошлом» — в эпохе управляемого мультикультурализма 1.0.

Драматизм дискуссии между Квебеком и остальной Канадой о моделях общенациональной и региональной интеграции заключается в том, что канадский мультикульурализм, как и мультикультурализм в целом, несмотря на его признанные исторические успехи, оказался «заперт в контекстах 1960—1970-х годов». Он не примирился с эрой глобализации и разнообразия и концептуальными изменениями, которые стали ее результатом [11. P. 38]. Несмотря на это, квебекский интеркультурализм отрицает понимание социальной интеграции в терминах эссенциализированных этнокультурных реалий и реифицированных сообществ как путь, ведущий к сегрегации и ассимиляции. Наряду с требованиями сохранения французского языка и культуры, религии и традиций Квебека его граждане настаивают на своей современности, вовлеченности в процессы глобализации и принятии универсальных принципов общей с иммигрантами культуры национального общества, основанной на уважении личности и прав человека. «Аккуратная» национальная модель «единства в разнообразии» больше не может вместить в себя чрезвычайно сложное разнообразие мигрантов и меньшинств в смещающихся контекстах «различий внутри различий» [15. P. 79—80].

Для Квебека характерны три основные исторические модели интеграции, релевантные в контексте интеркультурализма. Национализм Квебека связан с почти 400-летней борьбой за независимость с англоязычной Канадой и создание самостоятельного государства и квебекской нации. Основу этого процесса составлял сценарий ассимиляции этнокультурных групп, вовлеченных в орбиту «нации» Квебека. Это тот же путь, следуя которому сформировалась и французская нация в Европе. Он по-прежнему актуален в Квебеке. Другим вариантом этой модели интеграции выступают отношения Квебека с аборигенным населением, основанные на номинальном равенстве статусов «нации в нации» [4. P. 439], но в действительности таковыми не являющимися.

Как более «мягкая» глобальная модель интеграции, интеркультурализм представлен в «парадигме дуальности». Ее особенность заключается в том, что все агенты социокультурного процесса осознают остроту отношений между большинством и меньшинством. В контексте интеркультурализма артикулируется «забота о будущем» как культуры большинства, так и культур меньшинств. При этом содержание и модальность дуальных отношений рассматриваются не как статичные, а как динамичные, вовлеченные в поток постоянных изменений и переопределений смыслов [4. P. 445—446].

Третья модель — плюралистической интеграции — формируется в Квебеке с 1990-х годов и включает в себя: сохранение и развитие французского языка как средства публичного общения для всего населения провинции; соблюдение демократических принципов включения и участия в общественной жизни всех членов общества, а также их интеграцию.

В контексте интеграции интеркультурализм поощряет разнообразие, что способствует интеркультурному взаимодействию, культурным обменам, связям и межобщинным инициативам. В целом это путь переговоров и уступок [4. P. 448—450], а также взаимного признания.

Таким образом, эта модель интеркультурализма основана на принципе взаимности и направлена на достижение баланса между открытостью, культурной непрерывностью и жизнеспособностью французской культуры и идентичности Квебека [23. P. 69].

Важно подчеркнуть, что Канада и Квебек имеют разные модели интеграции. Для Канады в целом характерна «планетарная модель», когда культуры меньшинств «вращаются подобно планетам» вокруг общеканадского центра. Квебекская модель интеграции сопряжена с метафорой дерева согласно которой франкоязычная культура выступает в качестве «ствола дерева» с «ветвями» культур меньшинств, создающих неповторимый облик квебекского интеркультурализма [14. P. 94—95].

Важное отличие квебекского интеркультурализма от интеркультурализма в Европе состоит в том, что для защиты французского языка и культуры, а также интеграции иммигрантов в квебекское общество на основе «культуры большинства» социокультурная ситуация в Квебеке была представлена как соотносимая со статусом меньшинств и теми паттернами, которые сопрягаются в социальном дискурсе с меньшинством. Как отмечают Г. Бушар и Ч. Тейлор, для такой маленькой нации, как Квебек, обеспокоенной своим будущим как культурного меньшинства, интеграция предоставляет условия для развития а, возможно, и выживания [5. P. 40]. Парадоксальность ситуации усугубляется тем, что аборигенное население не желает быть представлено в контексте Квебека как культурное меньшинство [4. P. 439].

Нарратив угрозы французскому языку и культуре в Квебеке формируется не на реалиях «наплыва иммигрантов» или ассимиляционного давления извне, а на предположении об «угрозе». В этом дискурсе положение франкоязычной культуры в Канаде (за исключением провинции Квебек), а также в Северной Америке, т.е. в англоязычном мире, репрезентируется в парадигме меньшинства, что понимается как ситуация потенциальной угрозы ассимиляции. Этот дискурс является относительно новым как в культурном, так и в социологическом смыслах, в нем постоянно переопределяются термины и явления — они обретают амбивалентный характер, могут означать «все и ничего», а неверно использованные старые теории могут служить немым упреком в «интеллектуальной инерции» [16. P. X].

На этом фоне в современных государствах, вовлеченных в глобальные процессы миграции и суперразнообразия, могут возникать ситуации и нарративы

«доминирования» новых меньшинств или использоваться апробированная в Квебеке символическая стратегия меньшинства для защиты своих интересов. Используя эту стратегию, Квебек обрел возможность «поиска баланса» между непрерывностью коллективной идентичности и открытостью взаимному обогащению на основе признания разнообразия и развития интеркультурного диалога [23. P. 69]. Переживая эти метаморфозы, Квебек завил о себе как об активном, «определяющем правила игры» участнике интеркультурного взаимодействия и политических процессов в контексте глобализации — обезличивающей, культурно стандартизирующей, псевдовыравнивающей и одновременно усложняющей культурное разнообразие, а также инициирующей новые иерархии. Создаваемый в Квебеке культурный нарратив — это способ переосмысления себя как в национальном, так и в глобальном контексте. В новом символическом статусе Квебек добился права приглашать только тех иммигрантов, в которых он заинтересован, на основе заключения с правительством провинции «морального договора», предусматривающего взаимные права, обязанности и обязательства иммигрантов и населения Квебека. Иммигранты должны признавать приоритет французского языка как языка и культуры Квебека, преобладающие культурные нормы и законы, активно участвовать в общественной жизни, вовлекаться в диалог и культурные обмены между общинами, соблюдать демократические принципы и практики [14. P. 94]. И действительно, как заметил О. Флерас, канадцы стали более искусными в разговорах о том, как жить вместе в контексте различий [16. P. X].

Итак, в качестве нового теоретического подхода интеркультурализм предлагает реконфигурацию концептов, социальных моделей и практик, которые уже состоялись в различных национальных и интеллектуальных контекстах. Однако в процессе их переосмысления, смещения акцентов и символических инверсий он становится релевантным для изучения сложной меняющейся реальности XXI века.

В настоящее время интеркультурализм выступает как совокупность моделей интеграции, управления культурным и социальным разнообразием, возникающим не только в иммиграционном контексте, но также и в контекстах социального неравенства, различий (профессиональных, образовательных, гендерных, этнических), в том числе в границах национального государства.

В отличие от мультикультурализма интеркультурализм подразумевает новую позитивную модель концептуализации и согласования изменений в контексте регионов и наций на основе признания многомерности разнообразия [10. P. 69—70]. Тем самым открывается более широкая перспектива осмысления культурного разнообразия, которое не сводится только к теме миграции, доминирующей в последние годы в социальной теории. Интеркультурализм — не только способ осмысления новой реальности, но и инструмент интеркультурного взаимодействия. В этой связи представляется важным процессуальный подход к пониманию интеркультурализма как результата взаимодействия, в ходе которого возникает новое чувство принадлежности, общее социокультурное пространство и общие культурные паттерны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК / REFERENCES

[1] *Громыко Ал.А.* Европейские исследования: дилеммы универсальности и уникальности (к 60-летию региональной интеграции) // Современная Европа. 2017. № 2. С. 6—17 [Gromyko Al.A. Evropeyskiye issledovaniya: dilemmy universalnosti i unikalnosti (k 60-letiyu regionalnoy integratsii) [European studies: Dilemmas of universality and uniqueness]. *Sovremennaya Evropa*. 2017: 2: 6—17 (In Russ)].

[2] Bokova I. Foreword. *Interculturalism at the Crossroads. Comparative Perspectives on Concepts, Policies and Practices*. Ed. by F. Mansouri. Paris: UNESCO Publishing; 2017. P. 3—4.

[3] Bouchard G. Interculturalism: what makes it distinctive? *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences.* Ed. by M. Barrett. Strasbourg: Council of Europe Publishing; 2013. P. 93—110.

[4] Bouchard G. What is Interculturalism? *McGill Law Journal*. 2011: 56 (2). P. 435—468.

[5] Bouchard G., Taylor C. *Building the Future: A Time for Reconciliation*. Québec: Government of Québec; 2008.

[6] Bradley W. Is there a post-multiculturalism? *Studies on Multicultural Societies*. No. 19. Shiga: Ryukoku University; 2013.

[7] Busch D., Möller-Kiero J. Rethinking interculturality will require moral confessions: Analysing the debate among convivialists, interculturalists, cosmopolitanists and intercultural communication scholars. *Interculture Journal*. 2016: 15: 43—57.

[8] Cantle T. Cohesion and integration: From 'multi' to 'inter' culturalism. *Actes du Symposium international sur I'inteculturalisme. Dialogue Quebec-Europe.* May 25—27. Montreal; 2011. P. 2—48 // www.symposium-interculturalisme.com.

[9] Cantle T. *Community Cohesion: A Report of the Independent Review Team Chaired by Ted Cantle*. London: Home Office; 2001.

[10] Cantle T. Interculturalism as a new narrative for the era of globalisation and super-diversity. *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences.* Ed. by M. Barrett. Strasbourg: Council of Europe Publishing; 2013. P. 69—91.

[11] Cantle T. Interculturalism: For the era of globalization, cohesion and diversity. *Political Insight*. 2012: December: 38—41.

[12] Caponio T., Donatiello D. Intercultural policy in times of crisis: Theory and practice in the case of Turin, Italy. *Comparative Migration Studies*. 2017: 5 (13): 1—16.

[13] Emerson M. Summary and conclusions. *Intercultutalism. Europe and its Muslims in Search of Sound Societal Models.* Ed. by M. Emerson. Brussels: Centre for European Policy Studies; 2011. P. 1—16.

[14] Fleras A. *Case Studies, Insights, & Debates. Unequal Relations. The Politics of Race, Ethnic and Aboriginal Relations in Canada*. Toronto: Pearson; 2012.

[15] Fleras A. Moving positively beyond multiculturalism: Toward a post-multicultural governance of complex diversities in a diversifying Canada. *Zeitschrift für Kanada-Studien*. 2015: 35: 63—89.

[16] Fleras A. *Unequal Relations: A Critical Introduction to Race, Ethnic, and Aboriginal Dynamics in Canada*. Toronto: Paerson; 2017.

[17] Grillo R. A year of living interculturally: The European Year of Intercultural Dialogue. https://www.academia.edu/28087132/A_Year_of_Living_Interculturally_The_European_Year_of_Intercultural_Dialogue_2008_._Draft.

[18] Grillo R. But what is interculrruralism? 2016. https://www.researchgate.net/publication/311650122_But_What_IS_Interculturalism, and https://www.academia.edu/30455789/But_What_IS_Interculturalism.

[19] Meer N., Modood T. *Interculturalism, Multiculturalism, or Both?* Robert Schuman Centre for Advanced Studies Policy Papers. Badia Fiesolana: European University Institute; 2013.

[20] Modood T. Must interculturalists misrepresent multiculturalism? *Comparative Migration Studies*. 2017: 5 (15): 1—17.

[21] Parekh B. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2000.

[22] Powell D., Sze F. Introduction. *Interculturalism: Exploring Critical Issues*. Ed. by D. Powell, F. Sze. Oxford: Inter-Disciplinary Press; 2004. P. 1—2.
[23] *Quebecers. Our Way of Being Canadian. Policy on Québec Affirmation and Canadian Relations.* Québec: Gouvernement du Québec; 2017.
[24] Triandafyllidou A. *Addressing Cultural, Ethnic and Religious Diversity in Europe: A Comparative Overview of 15 European Countries.* Robert Schuman Centre for Advanced Studies Policy Papers. European University Institute; 2012.
[25] Watt Ph. An intercultural approach to 'integration. *Translocations*. 2006: 1 (1): 154—163.
[26] *White Paper on Intercultural Dialogue "Living Together As Equals in Dignity".* Strasbourg: Council of Europe; 2008.
[27] Zapata-Barrero R. Interculturalism in the post-multicultural debate: a defense. *Comparative Migration Studies*. 2017: 5 (14): 1—23.
[28] Zapata-Barrero R. Interculturalism: Main hypothesis, theories and strands. *Interculturalism in Cities: Concept, Policy and Implementation.* Ed. by R. Zapata-Barrero. Cheltenham: Edward-Elgar Publishing; 2015. P. 3—19.
[29] Zapata-Barrero R. The intercultural turn in Europe: process of policy paradigm change and formation. *Interculturalism at the Crossroads. Comparative Perspectives on Concepts, Policies and Practices.* Ed. by F. Mansouri. Paris: UNESCO Publishing; 2017. P. 169—192.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-250-261

INTERCULTURALISM: POSTMULTICULTURAL DISCOURSE OF SOCIAL INTEGRATION*

A.I. Kuropjatnik, M.S. Kuropjatnik

Saint Petersburg State University
Universitetskaya Nab., 7/9, Saint Petersburg, 199034, Russia
(e-mail: alkuropjatnik@mail.ru, kuropjatnik@bk.ru)

Abstract. In the current postmulticultural debates, interculturalism is a model of integration in the contexts of diversity, a way to conceptualize global social-cultural reality, and an intercultural dialogue or an instrument of 'positive interaction'. The Council of Europe, European Commission and UNESCO consider interculturalism a main model of social integration in the contexts of diversity. Interculturalism takes into account the multiplicity of identities, differences and modes of coexistence inherent in the era of 'super-diversity', and mobility diversification under globalization. In the postmulticultural perspective, interculturalism is a part of the debates on 'the end of multiculturalism' that has lost its symbolic capital. Interculturalism develops a new narrative of social integration based on rethinking of ideas and social situations, shifting contexts and symbolic inversions, thus, becoming relevant to the social and cultural reality of the 21st century. However, interculturalism does not replace multiculturalism as the third strategy of integration beyond multiculturalism and assimilation for it implies various integration models such as Quebec interculturalism and European interculturalism with the revived idea of the nation state. Interculturalism focuses on creating 'a formula for coexistence' under super-diversity, and is not limited to the immigration context; it emphasizes the multidimensionality of differences (professional, gender, ethnic) in the context of inequality including the nation state. Theoretical heterogeneity and thematic diversity of interculturalism and the ambivalence of its concepts can determine new challenges for the national and international structures that rely on it. Interculturalism considers management of cultural diversity and development of intercultural dialogue as functions of not only government structures, but also of other segments of society such as educational and civil society institutions, private sector and local communities.

Kew words: integration in the contexts of diversity; interculturalism; intercultural dialogue; multiculturalism; postmulticultural perspective; super-diversity; social integration.

* © A.I. Kuropjatnik, M.S. Kuropjatnik, 2017.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 262—270
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-262-270

‘GREATER EUROPE’ OR ‘GREATER EURASIA’? IN SEARCH OF NEW IDEAS FOR THE EURASIAN INTEGRATION*

A.V. Tsvyk

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198
(e-mail: tsvyk_av@rudn.university)

Abstract. The article considers the genesis of the idea of ‘Greater Eurasia’ which refers to the common humanitarian, economic, political and security space from Lisbon to Shanghai. In the first part of the article, the author focuses on the development of the idea of ‘Greater Europe’ and its historical background. The author notes that the idea of ‘Greater Eurasia’ was preceded by the idea of ‘Greater Europe’ as a project of integration or convergence of the leading European countries and Russia. In the second part of the article, the author considers possible ways and prospects for cooperation of the EU and the EAEU in the framework of the idea of ‘Greater Europe’. The article emphasizes that under the implementation of the project of the Eurasian Economic Union, the idea of ‘Greater Europe’ was associated not only with the interaction of the EU and Russia, but also of the EU and the EAEU. However, from the author’s point of view, today the idea of ‘Greater Europe’ from Lisbon to Vladivostok is losing its relevance due to China’s ‘Belt and Road’ Initiative. The author considers the perceptions of the ‘Belt and Road’ Initiative by the EU and the EAEU and concludes that the idea of ‘Greater Eurasia’ with the participation of the EU, the EAEU and China is a new geo-political phenomenon which will represent a common space between Europe, the EAEU states and Asia and in which Russia and other members of the EAEU can become a centre for integration of Asia and Europe. According to the author, this idea has a number of advantages as well as risks that are presented in the article.

Key words: ‘Greater Eurasia’; ‘Greater Europe’; EAEU; EU; China; ‘Belt and Road’ Initiative; integration

The modern world is characterized by the intensive formation of a polycentric system of international relations, whose main actors are sovereign states and international organizations. The recent developments in the international relations prove that the changes in the system of international relations are not complete and lead to the future multipolar world order. It is the three integration projects implemented in Eurasia today that can become the most important actors in the multipolar world: the European Union (the largest economic bloc), the Eurasian Economic Union (the largest geographical bloc), and the ‘Belt and Road’ Initiative of by China (with the largest population). China, whose the ‘Belt and Road’ Initiative includes Central Asian states, Russia, and Eastern European states, can become a partner for both the European Union and the EAEU [5]. This would connect the EU and the EAEU with China in a new broader geopolitical framework ‘from Lisbon to Shanghai’ [1], create ‘Big Eurasia’ with an active role of the European Union, the EAEU and China, promote protectionist tendencies, stimulate interregional cooperation and lead to greater prosperity across the whole Eurasia [19].

* © A.V. Tsvyk, 2018.

The idea of 'Greater Eurasia' was preceded by the idea of 'Greater Europe' as the project of integration or convergence of the leading European countries and Russia. This concept has existed for quite a long time and has been discussed since the beginning of the twentieth century. Most scientists use the term 'Greater Europe' referring to the space from the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean including all states located in Europe and the member states of the current Eurasian Economic Union. It was H.J. Mackinder's geopolitical theory that first presented 'Greater Europe' as an entity or a common space [7]. In his fundamental work "Geographical Pivot of History", Mackinder introduced the concept 'heartland' as the hypothetical heart of Eurasia. From Mackinder's point of view, the 'heartland' had a fundamental influence on the events that took place in Europe throughout its history [14]. According to Mackinder, Europe was a birthplace of progress and modern civilization; however the 'heartland' controlled by Russia was the force directly affecting it. Mackinder noted that the union of the continental Europe and Russia as the 'heartland' could create a powerful and dominant world power centre.

The ideas of the German geopolitician Karl Haushofer can be considered as developing this concept. He called on the Soviet Union, Germany and Japan to unite into a geopolitical bloc to confront the dominant Anglo-Saxon marine civilization. In the 1950s, French President Charles de Gaulle introduced the expression 'Europe from the Atlantic to the Urals' as a designation of a political rapprochement of France, Germany, countries of the Council for Mutual Economic Assistance and the USSR. In the 1980s, the Soviet leader Mikhail Gorbachev spoke about a 'common European house'. In his opinion, the implementation of this idea would lead to the development of integration of the West and the East of Europe. This rapprochement was meant to result in the elimination of the military-political confrontation of the socialist and capitalist systems in Europe.

'GREATER EUROPE' FROM LISBON TO VLADIVOSTOK, AND COOPERATION OF THE EU AND THE EAEU

In 2001, the European Commission President Romano Prodi suggested that the EU and Russia should create a Common European economic space. The idea seemed utopian as the parties did not even have a free-trade agreement. However, the very fact of such a proposal indicated that the European partners took into consideration the concept of 'Greater Europe' and wanted to promote its implementation [15]. From their part, at the EU-Russia summits, the Russian leaders repeatedly declared their desire to accelerate the construction of 'Greater Europe' from Lisbon to Vladivostok. Thus, the President of Russia Vladimir Putin referred to the idea of 'Greater Europe' in his speech at the EU-Russia summit in 2005. According to him, this process has continued since the fall of the Berlin wall in 1989 [7].

However, under the implementation of the project of the Eurasian Economic Union, the idea of 'Greater Europe' was associated not only with the interaction of the EU and Russia, but also of the European Union and the Eurasian Economic Union [3]. In the article the Russian President Putin published in the newspaper 'Izvestia' in 2011,

the future Eurasian Economic Union was presented as a bridge between Europe and the dynamically developing Asia-Pacific region [10]. Some European leaders expressed support for the development of relations between the European Union and the Eurasian Economic Union [12]. Thus, the German Chancellor Angela Merkel called for the discussion of trade cooperation of two integration projects. During his visit to Kazakhstan, the former President of France Francois Hollande called for starting a dialogue between the EU and the EAEU.

According to experts, the natural foundation for cooperation of the European Union and the Eurasian Economic Union has already developed. These are impressive traffic flows, potential investment ties, economic security issues, the EAEU interest in the European export of technologies, and cross-border infrastructure issues [11]. However, the Ukrainian crisis caused a political conflict between Russia and the European Union. Nevertheless, being interested in infrastructure, energy, investment, scientific and technological cooperation with the European Union, Russia put forward the concept of 'integration of integrations' or 'pairing' of the EU and the EAEU [20]. Other Eurasian Economic Union member states willingly supported this initiative. Thus, a non-preferential agreement that would not increase trade liberalization beyond the level established in the World Trade Organization became possible though it would contribute to the development of cooperation in the above-mentioned priority areas of mutual interest.

In October 2015, the Eurasian Economic Commission submitted a proposal to the European Commission to establish official contacts and start a dialogue on a common economic space [9]. However, the response was intended not for the ECE (and, thus, the EAEC), but for Russia. In November 2015, the President of the European Commission Jean-Claude Juncker sent an official letter to the Russian government to advocate the development of relations between the European Union and the Eurasian Economic Union, noting that he had already instructed the European Commission to develop proposals on the potential areas of cooperation with the EAEU. However, he emphasized that the decision on the implementation of this idea should be made by the consensus of all EU members and synchronized with the implementation of the Minsk Agreements on Ukraine. Juncker's initiative drew sharp criticism, especially in Poland and the Baltic States. In turn, Russia expressed doubt about the necessity to connect the dialogue between the European Union and the Eurasian Economic Union with resolving the Ukrainian crisis, noting that the implementation of the Minsk Agreements largely depended on Kiev. Despite the failure of his first initiative, Jean-Claude Juncker made another symbolic step towards Moscow, when in June 2016 he visited the Saint Petersburg International Economic Forum though only to exchange views and express common commitment to the multilateral dialogue.

As a result, the EU-EAEU 'pairing' remains an elusive idea despite its importance for the development of the relations between the Eurasian Economic Union and the European Union. The EU prefers to promote the bilateral dialogue with the countries of the EAEU and sign the corresponding agreements, in particular with Armenia and Kazakhstan. According to the experts of the Eurasian Development Bank (EDB), by

2025 the European Union and the Eurasian Economic Union are not just to conclude the free trade agreement, but also to discuss a comprehensive bilateral agenda with issues of mutual interest such as the reduction of non-tariff barriers to trade, access to financial markets, regulation of intellectual property rights, visa liberalization, energy cooperation, development of international transport corridors, etc. However, the comprehensive approach entails a number of risks. First, the regimes such as free trade or visa-free zones require not only the resolution of the crisis in Ukraine, but also a certain political rapprochement and profound structural trust between the European Union and Russia. The EU approach towards Russia is based not only on the idea of a comprehensive arrangement ('big deal'), but also on the idea of a gradual restoration of mutual trust through bilateral pilot projects. Second, to develop the partnership with the European Union, the EAEU needs to have not only political, but also an attractive economic basis. Only with the restoration of the stable economic growth in Russia and Kazakhstan, and positive dynamics of structural reforms in these countries enhancing competitiveness and openness of their economies, the European business and officials taking political decisions will pay more attention to the Eurasian Economic Union.

Proceeding from the European approach of 'connectivity' within 'Greater Europe', the European Union and the Eurasian Economic Union could discuss such issues as: simplification of customs and visa procedures, removal of non-tariff barriers, gradual opening of financial markets, convergence of technical regulations and other standards, development of infrastructure projects. By 2025, the EU and Russia could start developing and then signing a renewed bilateral agreement, which in the long term could be projected to the level of the entire Eurasian Economic Union.

THE 'BELT AND ROAD' INITIATIVE AND THE PROSPECTS OF 'GREATER EURASIA': PERCEPTIONS FROM THE EAEU AND THE EU

The idea of 'Greater Europe' is losing its relevance due to the realization of the 'Belt and Road' Initiative (BRI) proposed by China's President XI Jinping in 2013. This project can seriously change the geopolitical situation in Eurasia. The concept of the 'Belt and Road' Initiative consists of two major logistic and economic projects: the Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk Road of the 21st century. Both projects are based on the transport and logistics network in Eurasia including railways and highways, air and sea routes, oil and gas pipelines, and communication lines. Along the transport routes appropriate infrastructure is to be created or modernized. It is assumed that the 'Belt and Road' Initiative will lead to the integrated economic corridor through the entire Eurasian space that will connect China with European countries. The implementation of the BRI hypothetically gives to all countries of Eurasia involved in the project such advantages as: development of transport and logistics networks connecting all countries of Eurasia; prospects for creating a common economic space in Eurasia; new possibilities to overcome political contradictions by intensifying economic cooperation, etc.

Both the Eurasian Economic Union and the European Union are particularly interested in the implementation of the Silk Road Economic Belt, as the EU and the

EAEU member states are involved in the project either as transit countries (the EAEU), or as the final destination of trade routes from China to Europe (the EU). At the same time, China proposed to create a regional free trade area in the framework of the Shanghai Cooperation Organization. The initiative of China was perceived by the Eurasian Economic Union and the European Union differently. All EAEU member states agreed that under the significant deficit in the trade balance with China the free trade zone between China and the Eurasian Economic Union would be a serious challenge for many domestic industries and agriculture of the EAEU countries. However, the EAEU member states have different approaches to the cooperation in investments and transport infrastructure development. Thus, Russia is traditionally wary of the expansion of economic cooperation with China fearing primarily the geo-economic consequences [16]. Nevertheless, today there are preconditions that would urge the Eurasian Economic Union countries to find a common approach to participation in the Silk Road Economic Belt.

First, Russia is also interested in China's investments in its major infrastructure and energy projects [8]. The problem is only in finding mutually acceptable conditions for investments. Second, Russia, Kazakhstan and other EAEU countries (except Armenia) are on the same transport routes that are to be developed in the framework of the 'Belt and Road' Initiative. Therefore, these countries need to coordinate the pairing of their transport systems, primarily in technological and regulatory terms [21]. Third, the Eurasian Economic Union countries, in particular Kazakhstan, take into consideration the fact that the protection of their national interests in the collective format under the dialogue with China could be more effective than at the bilateral level. Therefore, both in the framework of the Russian-Chinese bilateral dialogue and at the level of the EAEU-China cooperation, there already exist different institutional formats for the implementation of the idea of 'pairing' of the Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic Belt [17]. Thus, in June 2016, the joint statement on the transition to the negotiation phase of the Agreement on trade-economic cooperation between the Eurasian Economic Union and the People's Republic of China was signed. In October 2017, at the Asian-Pacific Economic Cooperation summit in Hangzhou, the parties announced the end of the negotiations. In early 2017, the Eurasian Economic Commission published a list of priority projects to be implemented by the Eurasian Economic Union in the framework of the Silk Road Economic Belt. Most of them involve construction of new routes and modernization of the existing roads, construction of transport-logistic centers, and development of key transport hubs [2].

In the European Union, the opinions on the prospects of its cooperation with China differ. The European states did not pay much attention to Xi Jinping's proposal on the launch of the 'Belt and Road' Initiative. Nor did any European government immediately give a positive response to China's call for the countries to become members of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the China-led multilateral financial institution which was officially created in October 2013 and became a key source of financial support for the BRI. However, from the moment most EU member states became the

co-founders of AIIB in March 2015, their interest in the 'Belt and Road' Initiative began to increase steadily. The issues of cooperation in the framework of the Silk Road Economic Belt were included in the agenda of meetings of the officials of China and the European Union states; the leaders of most European countries in a declarative manner supported the idea of the 'Belt and Road' Initiative [18]. As a result, all the EU countries are involved in the BRI (most EU countries are members of the Asian infrastructure investment Bank, and participate in the projects of European transport infrastructure development financed by Chinese investors). The amount of Chinese investments in the EU increase [13]. However, the Western European countries are wary of the investment policy of China in the framework of the 'Belt and Road' Initiative. Besides the European Union lacks a common foreign policy strategy regarding China especially in the context of the EU cooperation with China in implementing the 'Belt and Road' Initiative. China, in turn, changes its investment strategy in Europe which manifests in developing relations with EU countries at the bilateral level, primarily with the countries of Central, Eastern (in the format of 16+1) and Southern (primarily, with Greece) Europe. China not only increases investments in the countries of these regions, but also gets their political support.

***

One of the most popular perceptions of 'Greater Eurasia' is that it is a new geo-political phenomenon. 'Greater Eurasia' represents a common space between Europe, the Eurasian Economic Union states, and Asia, so Russia and other members of the EAEU could play the role of a centre of integration for Asia and Europe [6].

The idea of a 'Greater Europe' is losing its relevance due to a number of factors, such as: the deterioration of relations between Russia and the European Union; the Russia's 'pivot to Asia', changes in the Russian foreign policy strategy towards the development of the Eurasian Economic Union, and 'pairing' of its activities with other integration projects in Eurasia; implementation of the China's 'Belt and Road' Initiative, and so on. The idea of 'Greater Europe' was replaced by the concept of 'Greater Eurasia'. Therefore, in the long term the European Union would not stay on the periphery of the Eurasian integration processes.

The idea of 'Greater Eurasia' with the participation of the European Union, Eurasian Economic Union and China has a number of advantages. First, the idea of 'Greater Eurasia' from Lisbon to Shanghai with the prospects for strengthening political cooperation of the EU, EAEU and China and 'integration of integrations' would contribute to the transformations of the system of international relations, and to the construction of a multipolar world based on the principles of transparency, equality and mutual respect. Second, the European Union, Eurasian Economic Union and China could improve the mechanisms of coordination of actions on prevention and resolution of conflicts by addressing challenges and threats to the energy, environmental, information and food security. This idea would promote the international prestige of the EU, EAEU and China, and strengthen the UN role in international affairs for Russia (EAEU), France (EU) and

China are permanent members of the UN Security Council. Third, in the geo-economic sense, all the parties concerned need a common economic space from Lisbon to Shanghai, primarily as the alliance of the European capital and technology with the Eurasian resources and human capital. Only such an alliance would be a competitive pole in the new global architecture. Fourth, given the fact that all the countries of the European Union and the Eurasian Economic Union participate in the Silk Road Economic Belt, the trade and economic cooperation between them could be complementary rather than competitive [22]. The construction of the transport and logistics network within the Silk Road Economic Belt would lead to the increase of goods turnover between the Eurasian Economic Union, China and the European Union, and would help all the member states to oppose discrimination in the world markets.

However, there are some risks in implementing the idea of 'Greater Eurasia'. First, historically, if the great powers had overlapping spheres of influence, there would almost certainly be a conflict. There is a great risk of 'rivalry of integrations' rather than of 'integration of integrations'. There is a high probability of a clash of interests of Russia and China in Central Asia, interests of Russia and the European Union in the countries of the Eastern partnership, interests of China and the EU in the countries of Central and Eastern Europe. Second, in the trade and economic cooperation in the EU-EAEU-China triangle, there is a large asymmetry towards the Sino-European trade relations (in 2016, the EU-China trade turnover reached $547 billion, the EAEU-China trade turnover — $78.6 billion, and the EU-the EAEU trade turnover — $237.6 billion). Third, the political crisis between the European Union and Russia, as well as the EU sanctions against Russia have a negative impact on the 'political climate' of cooperation in 'Greater Eurasia'. Besides, the European Union considers the idea of a common economic space with Russia rather than with the EAEU considering the Eurasian Economic Union as a 'Russia's political project'. Thus, the EU demonstrates that it is not yet ready to recognize the Eurasian Economic Union as a subject of the international law. Fourth, in the relations of the European Union and China, there are also issues that should be resolved (lack of an investment agreement between the EU and China, non-recognition of China's market economy status in the WTO, human rights issues in the China-Europe relations, etc.). Fifth, the European Union, the Eurasian Economic Union and China have a number of internal problems to be solved (the situation in the EU after the Brexit, the migration crisis, political instability in some countries of the Silk Road Economic Belt, etc.). Finally, the rapprochement of the European Union, the Eurasian Economic Union and China in Eurasia may face opposition of the United States for its foreign policy under the Trump's administration is becoming increasingly unpredictable.

REFERENCES

[1] Bond I. The EU, the Eurasian Economic Union and One Belt, One Road: can they work together? *Centre for European Reform.* 2017. http://www.cer.eu/sites/default/files/pb_eurasian_IB_16.3.17_0.pdf.

[2] Degterev D.A., Yan Li, Trusova A.A. Rossijskaja i kitajskaja sistemy okazanija mezhdunarodnoj pomoshhi: sravnitelnyj analiz [Russian and Chinese systems of development cooperation: A comparative analysis]. *RUDN Journal of International Relations.* 2017: 17 (4): 824—838 (In Russ.).
[3] Diesen G. *Russia's Geoeconomic Strategy for a Greater Eurasia.* London: Routledge; 2018.
[4] Entin M., Entina A. The new role of Russia in the Greater Eurasia. *Strategic Analysis*. 2016: 40 (6): 590—604.
[5] Graceffo A. China's push for the One Belt One Road (OBOR) Initiative. *Foreign Policy Journal*. https://www.foreignpolicyjournal.com/2017/05/15/chinas-push-for-the-one-belt-one-road-obor-initiative.
[6] Havlik P. The Silk Road: Challenges for the European Union and Eurasia. *The Vienna Institute for International Economic Studies. WKO Forum "Silk Road Reloaded".* 2015. https://wiiw.ac.at/the-silk-road-challenges-for-the-european-union-and-eurasia-dlp-3763.pdf.
[7] Il'in E. Kontseptsija Bolshoj Evropy ot Lissabona do Vladivostoka: problemy i perspektivy [The concept of Greater Europe from Lisbon to Vladivostok: Challenges and prospects]. *MGIMO Review of International Relations.* 2015: 2 (41): 77—85 (In Russ.).
[8] Kaneshko S. Russia and China in the age of grand Eurasian projects: Prospects for integration between the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union. *Cambridge Journal of Eurasian Studies.* 2017: 1: 1—15.
[9] Karaganov S. From East to West, or Greater Eurasia. *Russia in Global Affairs.* 2016. http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/From-East-to-West-or-Greater-Eurasia-18440.
[10] Kurylev K., Naryshkin V., Ozinkowskaya E., Rakhimov K. Evraziiskii ekonomicheskii soyuz vo vneshnepoliticheskoi strategii Rossii [The EAEU in the Russian foreign policy strategy]. *RUDN Journal of International Relations.* 2016: 16 (1):75—86 (In Russ.).
[11] Kuznetsova A. Greater Eurasia: Perceptions from Russia, the European Union and China. *Russian International Affairs Council.* 2017. http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/greater-eurasia-perceptions-from-russia-the-european-union-and-china.
[12] Li Ziguo. Eurasian Economic Union: Achievements, problems and prospects. *China International Studies.* http://www.ciis.org.cn/gyzz/2016-06/28/content_8865773.htm.
[13] Lungu A. A new G2: China and the EU? *The Diplomat.* https://thediplomat.com/2017/08/a-new-g2-china-and-the-eu.
[14] Mackinder H.J. *The Geographical Pivot of History.* http://www.polisportal.ru/?page_id=51&id=25.
[15] Menkiszak M. Greater Europe. Putin's vision of European (dis)integration. *Centre for Eastern studies.* 2013. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/greater_europe_net.pdf.
[16] Putz C. China's Silk Road Belt outpaces Russia's economic union. *The Diplomat.* https://thediplomat.com/2016/03/chinas-silk-road-belt-outpaces-russias-economic-union.
[17] Trenin D. From Greater Europe to Greater Asia? The Sino-Russian Entente. http://carnegie.ru/2015/04/09/from-greater-europe-to-greater-asia-sino-russian-entente-pub-59728.
[18] Tsvyk A. Strategicheskoe partnerstvo KNR i FRG v 2004—2015 gg.: politicheskie aspekty [Strategic partnership of China and Germany in 2004—2015: Political aspects]. *Problemy Dalnego Vostoka.* 2016: 2: 42—49 (In Russ.).
[19] Van der Togt T. Bridging the dividing lines in Greater Eurasia. *Russia in Global Affairs.* 2017. http://eng.globalaffairs.ru/number/Bridging-the-Dividing-Lines-in-Greater-Eurasia-18764.
[20] Wagnsson C. *Security in a Greater Europe: The Possibility of a Pan-European Approach.* Manchester: Manchester University Press; 2013.
[21] Yefremenko D. The birth of a Greater Eurasia. *Russia in Global Affairs.* 2017. http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Birth-of-a-Greater-Eurasia-18591.
[22] Zhao Huasheng. China and Greater Eurasian partnership. *China International Studies.* http://www.ciis.org.cn/gyzz/2017-11/24/content_40079881.htm.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-262-270

«БОЛЬШАЯ ЕВРОПА» ИЛИ «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ»? В ПОИСКЕ НОВЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ*

А.В. Цвык

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198
(e-mail: tsvyk_av@rudn.university)

Статья посвящена идее построения «Большой Евразии» как общего гуманитарного, экономического и политического пространства от Лиссабона до Шанхая. В первой части статьи автор рассматривает популярную в 1990-е годы концепцию «Большой Европы», которая предшествовала идее «Большой Евразии». Идея «Большой Европы» затрагивалась в выступлениях таких политиков, как Ш. де Голль, М. Горбачев и др. и предполагала постепенное сближение и последующую интеграцию России и европейских государств. Во второй части статьи автор оценивает перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза и Европейского союза в контексте реализации идеи «Большой Европы». Несмотря на множество преимуществ идеи «Большой Европы», автор обозначает ряд факторов, оказывающих на нее негативное влияние: ухудшение российско-европейских отношений, вызванное украинским кризисом и нелегитимной антироссийской санкционной политикой Евросоюза; стремление Евросоюза развивать отношения со странами Евразийского экономического союза на двустороннем, а не на наднациональном уровне и др. В третьей части статьи автор отмечает, что концепция «Большой Европы» постепенно утрачивает актуальность как в связи с ухудшением отношений России и Евросоюза, так и вследствие реализации Китаем инициативы «Один пояс, один путь» — создания сети экономических коридоров и транспортных маршрутов, которая связывает Европу, Россию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению автора, в настоящее время актуализируется идея построения «Большой Евразии» с географическими границами от Лиссабона до Шанхая, в которой Россия и страны ЕАЭС могли бы стать центром евразийской интеграции. Эта идея имеет ряд рисков и преимуществ, которые и обозначены в статье.

Ключевые слова: Евразия; ЕАЭС; Китай; «Большая Европа»; «Большая Евразия»; интеграция

* © Цвык А.В., 2018.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 271—283
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-271-283

SOME IMPLICATIONS OF THE CHANGES IN THE WORLD POPULATION DISTRIBUTION: HOW GLOBALIZED WILL THE WORLD REMAIN?*

Yu.V. Zinkina[1,2], S.G. Shulgin[1], I.A. Aleshkovski[2], A.I. Andreev[2]

[1]Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Prosp. Vernadskogo, 84, Moscow, Russia, 119571
[2]Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, 1-51, Moscow, 119991, Russia
(e-mail: juliazin@list.ru; sergey@shulgin.ru;
andreev@fgp.msu.ru; aleshkovski@fgp.msu.ru)

Abstract. For the first-world citizens, globalization seems to be an all-pervasive phenomenon; however, the global connectivity rates differ dramatically for various countries. What will the situation be in, let say, fifty years? The article aims to show how the future demographic changes can influence absolute numbers and relative proportions of societies with different levels of global connectivity. To estimate the national rates of global connectivity the authors rely on the countries' participation in global networks, such as trade in goods, trade in services, foreign direct investment (FDI), and international migration. As the scenario of the demographic future, the authors use medium population projections of 2017 calculated by the United Nations Population Division. The authors applied a two-stage method: first, they constructed network models and analyzed the structure of networks to reveal the positions of countries in order to estimate their rates of global connectivity and identify six groups of countries according to their global connectivity rates. Second, the authors combined the results of network analysis with demographic projections to find out how many people are expected to live in the countries with different connectivity rates in the nearest decades (let say, up to 2050) and in the more distant future (2100). The results show that nearly a half of the world population (3.46 billion) lives in highly-connected countries but the situation will dramatically change in the coming decades. The proportion of population in the highly- and highly-medium-connected countries will decline by 2050 and further by 2100, while the proportion of residents of medium- and low-connected (and to some extent of lowest-low-connected) countries will significantly grow.

Key words: globalization; global connectivity; measurements of globalization; demographic forecasts; world population; population forecasts

The article considers the relationship between globalization and the global demographic landscape to show how the demographic changes can affect globalization (and vice versa) in the nearest and more distant future (until 2100). However, our interpretation of globalization depends on its definition, and we believe that a comprehensive definition providing a multi-dimensional systemic vision of globalization was suggested by the prominent scholar George Modelski who combined two approaches:

* © Yu.V. Zinkina, S.G. Shulgin, I.A. Aleshkovski, A.I. Andreev, 2017.
This research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 17-78-20096.

(a) 'connectivist' approach defining globalization as the increase of transborder interactions, relations, and flows, and (b) institutional approach defining globalization as the emergence and evolution of global institutions (the term 'institutions' is very wide and includes global free trade, multinational enterprises, global governance, global social movements, ideologies, etc.) [19]. Thus, we select a number of global institutions with network structure determined by transborder interactions and flows, apply network analysis methods to identify the structural position of every country within the networks (define the maximal degree of k-core to which the country belongs and the maximal k-core degree in the whole network (see: [21]), divide the first by the second, and get a figure defining the country's structural position within the global network and reflecting its degree of involvement (i.e. this figure is the country's global connectivity rate). We also describe the global demographic landscape through the prism of globalization — the current distribution of the world population among the countries with the highest, medium, low and lowest-low rates of global connectivity. There are forecasts that the future global demographic changes are to be profound and can lead to global turbulence [see: 1; 8; 10; 11; 14; 16; 20; 23; 27; 29].

The article aims as estimating future demographic changes that can influence absolute numbers and relative proportions of population in societies with various levels of global connectivity. We use the medium demographic scenario calculated by the United Nations Population Division [24]. Certainly, demographic changes are not the only factor affecting the distribution of people between countries with varying degrees of global connectivity. Numerous other factors can be named, such as migration policies, economic growth or stagnation, social-political destabilization, natural disasters etc. However, we focus on possible effects of demographic factors as the most reliable forecasts in the long-term (decades) perspective.

In the mid-1990s Manuel Castells presented his research on social structures and suggested that in the information era the most important social functions and processes are increasingly organized in the form of networks: elements of certain networks and relations between networks become one of the most important sources of power in the contemporary 'network society' [3—5]. Castells believes that inclusion in the network or exclusion from it defines the configuration of the most important ongoing social processes, that is why it is important to study the network structure of social processes to understand them. Globalization is one of such processes and a new historical reality. Castells defines globalization as a dominant process of the global scale and a factor affecting numerous dimensions of the society's existence and evolution [4]. Thus, a thorough investigation of the network structure of globalization allows to understand the nature of many other major processes in the spheres of information, culture, governance, etc.

Castell stressed that the network society is built around global network structures of capital, governance, and information, so it is reasonable to start the study of the network structure of globalization with one of them. We chose the economic aspect (capital) for Castells claimed that although globalization is a multidimensional process it can be better understood from the economic perspective [4; 13]. The choice of networks was

determined by the new economic geography which finds strong interrelations between three global networks — trade, FDI, and migration [see: 6].

To measure national rates of global connectivity we consider the countries' participation in several global networks such as trade in goods, trade in services, FDI and international migration. The data on country-to-country trade in goods were taken from the UN COMTRADE database according to the Harmonized Commodity Description and Coding Systems classification [25]. We mainly use the data on the total value of import from country A to B and from B to A (in the current dollar prices) or (if the data is missing) of export from B to A (the so-called 'mirroring' accepts export statistics when there is no import statistics; this approach can increase errors as export statistics can differ from import statistics, but such data is still better for network models than no data at all). We use a symmetric approach that allows to apply the model of undirected graph, which simplifies the reality of the global world (conceals all asymmetries between countries, for instance, when trade flow from A to B significantly exceeds the one from B to A). However, even the extremely asymmetrical relations imply the economic connection between A and B even if in the form of economic dependency of B on A (or vice versa), and that is the most important point for the analysis of global connectivity rates. Certainly, another approach (directed graphs) is also possible, and we use it elsewhere for similar goals [21].

The data on bilateral trade in services are taken from The Trade in Services database that accumulates data of the OECD, Eurostat, United Nations, and IMF [28]. The data on the accumulated stock of bilateral FDI are obtained from the United Nations COMTRADE database [25]. The data on the accumulated stock of migrants are obtained from the United Nations that publishes data on the migrant stocks by the country of origin for 197 countries every five years from 1990 [26]. We study the structure of these networks during three periods — 2000—2004, 2005—2009, and 2010—2017, and rely on the medium demographic scenario calculated by the United Nations Population Division [26].

There are many network metrics that could be used for various research tasks especially in the graph analysis. The key elements of network analysis are actors and relations between them, i.e. nodes and edges of a graph. In the study of global networks one can use such network metrics as a node activity (the number of relations a country has), node strength (the number and weight of relations), centrality (closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, etc.) which characterize the structural position of a country within the network, clusterization coefficient and assortativity coefficient (the structure of relations in the whole network) and so on [see: 2]. For our study we use a two-stage method: first, we construct network models and analyze the structure of networks to identify the positions of countries and the rates of global connectivity; second, we combine the results of the network analysis with demographic data to find out the size of population in countries with different connectivity rates in the nearest decades (until 2050) and more distant future (until 2100).

First stage: network models. For each of four networks we make three matrices N*N (one matrix per each of the three periods), in which N is the total number of

countries, and column *i* presents the relations of the country *i* with other countries in the given network. A symmetrical matrix of relations is an undirected graph, so we use the network analysis of graphs. Our task is to select not a completely interconnected group, but rather a group of the largest possible size with the largest possible level of interconnectedness. We apply the concept of a k-core — a subset of vertices each of which has not less than *k* relations with other vertices in this subset. In addition the *k*-core has another noteworthy feature — it allows not only to find vertices (countries) with the highest number of connections, but also identifies countries with the greatest number of connections to other highly-connected countries (sort of a "high connectivity club") [see: 22].

For each country, we find the maximal degree of the k-core to which it belongs (K_i), the maximal k-core in the network (K_{max}), and divide K_i by K_{max}. The value of K_i/K_{max} for the country *i* equals to 1 if this country belongs to the k-core of maximal density. Otherwise, for example, $K_i/K_{max} = 0.5$ if the country *i* belongs to the k-core twice smaller than the maximal k-core in the graph. To set another example, $K_i/K_{max} = 0$ if the country *i* is represented by a fully isolated vertex and has no relations with any other country in the network. Thus, for each country we find a value that reflects its position in all four networks (goods, services, FDI, migration). These four rates are then summarized without any extra weights for in every network we find values representing the same structural characteristics of the country that reflect the position of the corresponding vertex within the network. The maximal value of global connectivity for the country is 4 (in all four networks it rates at 1 — this is the highest value possible).

Second stage: demographic data. We rely on the medium demographic scenario of the United Nations Population Division that estimates the size of the population in different countries of the world until 2100. We sum up the forecasts for groups of countries with different global connectivity rates (Table 1).

Table 1

Global connectivity rates (sorted in the descending order for 2010—2017) [22]

Country	2000—2004	2005—2009	2010—2017
United Kingdom	4	4	4
United States	4	4	4
Germany	3.999	4	4
Italy	3.996	4	4
France	3.999	4	4
Spain	3.994	3.994	3.995
Netherlands	3.992	3.987	3.982
Switzerland	3.991	3.986	3.98
Belgium	3.978	3.972	3.973
China	3.917	3.952	3.959
Japan	3.952	3.947	3.944
Canada	3.951	3.96	3.943
Russian Federation	3.628	3.913	3.919
Ireland	3.867	3.908	3.907
Sweden	3.928	3.915	3.895
Australia	3.89	3.926	3.89
Poland	3.8	3.865	3.872
Korea, Republic of	3.821	3.861	3.852

Continuation of the table 1

Country	2000—2004	2005—2009	2010—2017
Austria	3.847	3.887	3.848
Denmark	3.879	3.86	3.823
India	3.382	3.711	3.796
Brazil	3.698	3.899	3.79
Singapore	3.727	3.747	3.78
Norway	3.821	3.819	3.757
Hong Kong	3.754	3.752	3.751
Turkey	3.687	3.8	3.742
Hungary	3.674	3.728	3.692
Finland	3.742	3.725	3.687
Portugal	3.794	3.731	3.663
Czech Republic	3.546	3.648	3.646
Luxembourg	3.547	3.581	3.588
Greece	3.621	3.637	3.56
South Africa	3.529	3.647	3.542
Thailand	3,488	3,686	3,493
Malaysia	3,343	3,662	3,471
Romania	2,995	3,522	3,456
Chile	2,748	3,447	3,43
Israel	3,454	3,609	3,402
Mexico	3,104	3,547	3,398
Bulgaria	3.103	3.341	3.281
New Zealand	3.272	3.31	3.232
Slovakia	3.096	3.252	3.229
Indonesia	3.128	3.392	3.222
Cyprus	3.096	3.23	3.185
Ukraine	3.061	3.167	3.129
Philippines	3.062	3.347	3.073
Argentina	3.013	3.259	3.066
Croatia	3.071	3.074	3.026
Pakistan	2.600	3,055	2.925
Egypt	2.91	2.799	2.922
Lithuania	2.835	2.962	2.888
Slovenia	2.888	2.883	2.834
Latvia	2.756	2.908	2.801
Estonia	2,734	2,833	2,793
Morocco	2,838	2,862	2,747
United Arab Emirates	2,88	3,169	2,715
Malta	2,349	2,657	2,703
Venezuela	2,694	2,659	2,687
Nigeria	2,307	2,389	2,634
Iran	2.645	2.589	2.568
Saudi Arabia	2.834	3.405	2.557
Kazakhstan	2.669	2.779	2.55
Colombia	2.309	2.451	2.547
Belarus	2.342	2.529	2.433
Iceland	2.306	2.587	2.409
Viet Nam	2.654	3.015	2.305
Peru	2.29	2.539	2.297
Uruguay	2.061	2.152	2.227
Kuwait	2.308	2.517	2.218
Panama	2.437	2.576	2.198
Serbia	1.135	2.17	2.19
Bangladesh	2.225	2.357	2.158
Qatar	2.008	2.397	2.128
Mauritius	1.691	2.051	2.114

Continuation of the table 1

Country	2000—2004	2005—2009	2010—2017
Azerbaijan	2.073	2.38	2.079
Algeria	2.299	2.373	2.051
Lebanon	2.261	2.267	2.015
Jordan	2.254	2.356	2.001
Libya	2.088	2.368	1.984
Sri Lanka	2.128	2.083	1.95
Bahrain	1.952	2.143	1.929
Ecuador	1.991	2.078	1.906
Costa Rica	1.873	1.968	1.861
Georgia	1.761	2.006	1.86
Syrian Arab Republic	2.15	2.145	1.837
Bosnia and Herzegovina	1.959	2.074	1.814
Tunisia	2.158	2.151	1.805
Oman	1.762	1.991	1.795
Macedonia	1.775	1.791	1.757
Albania	1.691	1.712	1.754
Ghana	1.79	1.845	1.737
Moldova	1.81	1.913	1.693
Bermuda	1.561	1.722	1.69
Cayman Islands	1.831	1.851	1.68
Ethiopia	1.71	1.778	1.677
Kenya	1,865	1,895	1,669
Yemen	1,745	1,818	1,665
Dominican Republic	1,876	1,904	1,661
Iraq	1,761	1,764	1,655
Armenia	1,625	1,816	1,655
Bolivia	1,615	1,649	1,63
Kyrgyzstan	1.647	1.7	1.627
Guatemala	1.675	1.717	1.609
Bahamas	1.791	1.889	1.589
Sudan	1.569	1.595	1.585
Cote d'Ivoire	1.697	1.704	1.575
Tanzania	1.735	1.765	1.568
Paraguay	1.553	1.575	1.558
Uzbekistan	1.703	1.74	1.558
Zambia	1.453	1.656	1.556
Angola	1.582	1.756	1.544
Afghanistan	1.45	1.67	1.543
Senegal	1.621	1.662	1.542
Uganda	1.565	1.626	1.525
Nepal	1.452	1.49	1.516
Cambodia	1.567	1.89	1.509
Congo	1.455	1.63	1.508
Cameroon	1.579	1.626	1.505
El Salvador	1.631	1.636	1.501
Montenegro	0.42	1.279	1.499
Mozambique	1.49	1.529	1.476
Myanmar	1.519	1.477	1.454
Honduras	1.56	1.571	1.454
Cuba	1.842	1.736	1.443
Palestine	0.991	1.39	1.412
Nicaragua	1.538	1.501	1.404
Namibia	1.504	1.492	1.372
Zimbabwe	1.496	1.419	1.352
Mali	1.412	1.407	1.344
Togo	1.317	1.303	1.34

Continuation of the table 1

Country	2000—2004	2005—2009	2010—2017
Trinidad and Tobago	1.509	1.531	1.32
Benin	1.301	1.315	1.302
Liberia	1.637	1.599	1.296
Congo	1.307	1.367	1.277
Barbados	1.501	1.374	1.276
Gabon	1.472	1.48	1.255
Jamaica	1.56	1.43	1.237
Botswana	1.201	1.239	1.219
Burkina Faso	1.255	1.272	1.219
Rwanda	1.2	1.241	1.219
Mauritania	1.27	1.282	1.219
Malawi	1.321	1.325	1.216
Guinea	1.398	1.428	1.205
Niger	1.231	1.24	1.199
Korea	1.271	1.259	1.171
Mongolia	1.079	1.111	1.113
Somalia	1.13	1.106	1.103
Tajikistan	1.267	1.273	1.099
Turkmenistan	1.269	1.194	1.086
Madagascar	1.17	1.21	1.075
Sierra Leone	1.221	1.158	1.07
Burundi	1.041	1.089	1.045
Belize	1.151	1.19	1.021
Brunei	1.224	1.325	1.007
Swaziland	1.047	1.047	0.991
Guyana	1.133	1.114	0.989
Lao	1.058	1.053	0.975
Gambia	1.058	1.012	0.962
Cabo Verde	1.076	1.081	0.959
Seychelles	1.095	1.225	0.949
Haiti	0.955	0.986	0.94
Suriname	1.062	1.075	0.93
Eritrea	1.106	0.943	0.919
Papua New Guinea	1.042	0.832	0.886
Central African Republic	0.87	0.911	0.86
Chad	0.954	0.942	0.851
Antigua and Barbuda	0.949	1.059	0.847
Fiji	1.02	0.969	0.841
Andorra	0.996	1.001	0.803
Maldives	0.857	0.855	0.783
Dominica	0.88	0.863	0.757
Saint Vincent and the Grenadines	0.817	0.825	0.754
Gibraltar	0,972	1,038	0,731
Equatorial Guinea	0,677	0,827	0,726
Saint Kitts and Nevis	0,654	0,706	0,682
Lesotho	0,719	0,604	0,64
Guinea-Bissau	0,736	0,69	0,632
Marshall Islands	0,447	0,632	0,631
Samoa	0.614	0.63	0.625
Bhutan	0.491	0.644	0.584
South Sudan	0.263	0.247	0.564
Greenland	0.607	0.631	0.548
Djibouti	0.585	0.704	0.54
Vanuatu	0.529	0.579	0.536
Saint Lucia	0.819	0.798	0.531
Timor-Leste	0.522	0.511	0.515

End of the table 1

Country	2000—2004	2005—2009	2010—2017
Grenada	0.857	0.831	0.509
Sao Tome and Principe	0.524	0.521	0.503
Solomon Islands	0.478	0.506	0.488
Tonga	0.454	0.476	0.456
Comoros	0.547	0.611	0.431
San Marino	0.351	0.495	0.425
Micronesia	0.382	0.395	0.349
Kiribati	0.334	0.35	0.349
Palau	0.231	0.327	0.31
Tuvalu	0.257	0.251	0.203
Holy See (Vatican City State)	0.103	0.165	0.156

We classify all countries into six groups according to their global connectivity rates:

1) "the leaders" (top 6 countries with connectivity rates from 3.99 to 4.00 in 2010—2017);
2) 19 highly connected countries (7^{th} to 25^{th} with connectivity rates from 3.75 to 3.99);
3) 23 highly-medium connected countries (26^{th} to 48^{th} with connectivity rates from 3 to 3.75);
4) 30 medium-connected countries (49^{th} to 78^{th} with connectivity rates from 2 to 3);
5) 76 low-connected countries (79^{th} to 154^{th} with connectivity rates from 1 to 2);
6) 43 lowest-low-connected countries (155^{th} to 197^{th} with connectivity rates from 0 to 1).

For each group, we calculated the total annual population for the period from 1970 to 2017, and the future annual population according to the United Nations Population Division medium scenario until 2100. The real and future population dynamics for all six groups is presented in Figure 1. We assume that countries will stay in the same groups though this is a simplification for countries can experience an increase or decrease in global connectivity rates and move to another group. However, although the values of the countries' global connectivity rates can fluctuate, countries quite rarely move from one group to another especially the low-connected countries. Thus, taking into account that the real situation will be less static, we can study real and possible population dynamics for six groups (identified according to the 2010 global connectivity rates).

The group of highly-connected countries is the most populous one though it is not the most numerous one in terms of the number of countries. This is mainly due to the fact that two world giants, China and India, are in the group. About a half of the global population (3.46 billion people) lives in the highly-connected countries. The low-connected group comes second in terms of the size of population (1.15 billion), it is followed by the medium-connected countries (with the total number of population close to 1.15 billion). In the highly-medium group of countries, there are about of 0.94 billion people, approximately 0.64 billion live in the highest connected countries, and 0.085 — in the lowest-low connected countries.

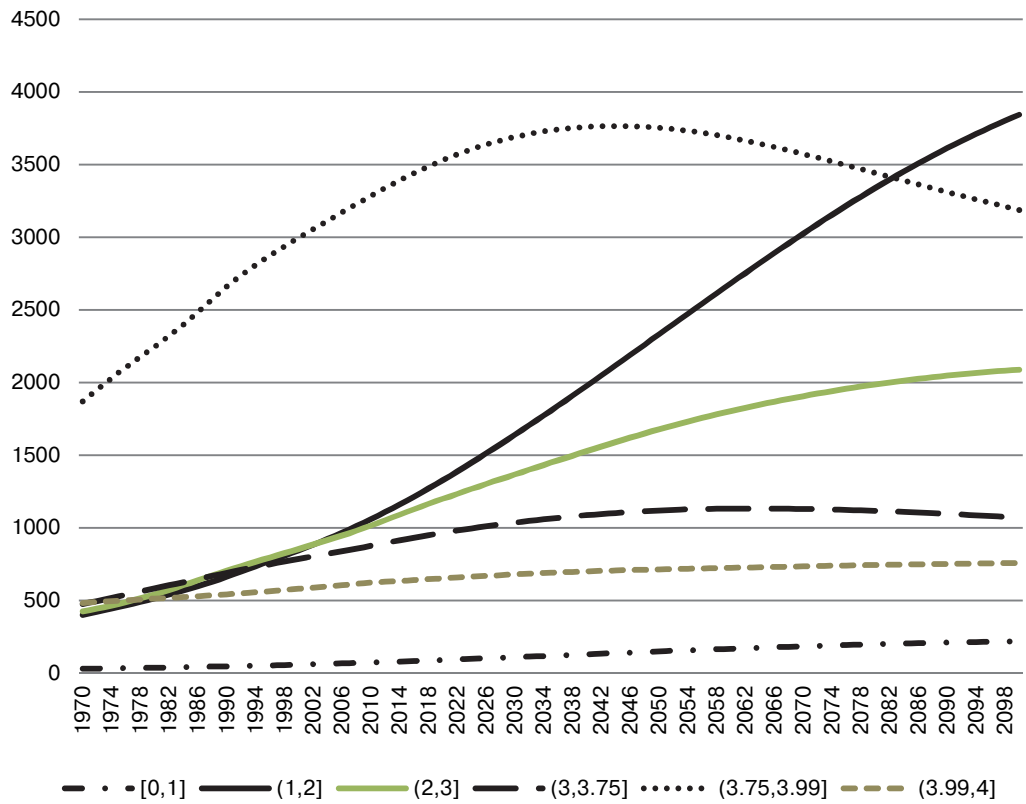

Figure 1. Real and possible population dynamics for six groups (according to the 2010 global connectivity rates), thousands

Source: authors' calculations based on the UN Population Division medium scenario [24]

Table 2

Absolute numbers and shares of world population in six groups of countries with different global connectivity rates in 2017, 2050, and 2100

Country group	Population in 2017, mln	Population in 2050, mln	Population in 2100, mln	Population in 2017, % of world total	Population in 2050, % of world total	Population in 2100, % of world total
Highest connected	643.4	714.3	757.9	8.7	7.3	6.8
Highly-connected	3 464.1	3 752.8	3 186.3	46.6	38.5	28.5
Highly-medium-connected	941.3	1 118.9	1 070.2	12.7	11.5	9.6
Medium-connected	1 146.1	1 677.9	2 088.0	15.4	17.2	18.7
Low-connected	1 146.1	2 331.5	3 843.2	15.4	23.9	34.4
Lowest-low-connected	85.3	149.1	218.6	1.1	1.5	2.0

The situation is to dramatically change in the coming decades due to the following key trends: the proportion of population in the highest-, highly- and highly-medium-connected countries will decline by 2050 and further by 2100, while the proportions of population in the medium- and low-connected (and to some extent in the lowest-low connected) countries will significantly grow (Table 2). The highest growth of the proportion of world population is expected in the low-connected countries: now there are 15.4% of the world population, this figure is expected to increase by 1.5 times by 2050 and will double by the end of the century. The absolute number of the population of this group is likely to double by 2050 and triple by 2100. On the contrary, the share of people living in the highly-connected countries is expected to significantly drop (by 1.5 times by 2100): their absolute number will continue to slightly grow until the late 2040s, but will slightly drop in the second half of the century.

***

Thus, most of the likely re-distribution of the world population is to take place not due to huge migration flows but as a result of the global demographic transition taking different rates in various countries, which determines different demographic situations. Most countries in the highest- and highly-connected groups have already (or almost) completed their demographic transitions either through a long 'natural' process (like most European countries) or due to specific state policies aimed at reducing fertility (like in China and India). This means that their fertility rates are close or below the simple reproduction level, so according to the United Nations' medium demographic scenario most of these countries will face a certain population decline by 2050 and further in 2050—2100. On the other hand, the low-connected group mainly consists of countries delayed in their demographic transition due to the still high fertility rates, and this is particularly the case for the Tropical African countries [15; 16; 18; 30; 31]. In these countries, there are large cohorts of youths and children, i.e. huge demographic inertia: even if the demographic transition accelerates immediately, their population will still double in the next decades [15; 30].

This assumption raises another question — how accurate are these estimates? In fact, we have a scenario forecast, not a probability forecast, i.e. even UN Population Division does not insist that this scenario is the most probable one. However, its probability is high especially for the nearest decades (as most of the people living during these decades have already been born). Moreover, our forecasts are based on the assumptions regarding globalization such as that the changes in the global connectivity rates will not make countries change their groups. How valid is this assumption under the national globalization rates being rather volatile? For example, according to the Ernst&Young/Economist Intelligence Unit index, France got +6 positions in the globalization ranking between 2011 and 2012, while Taiwan and Israel showed a decline [9]. We think this volatility is largely determined by the approach chosen to 'measure' globalization (i.e. by the indices themselves). These changes can mean not that a country is becoming more or less globalized, but that one or two indicators in the index have changed (i.e. there are some change in trade volumes due to the changed tariffs, etc.) [32].

According to the network analysis the global connectivity changes more slowly than the globalization indices imply. Certainly, there were changes in the countries' global connectivity rates; however, our research shows that in 2005—2010 only 2 out of 237 countries (India and Singapore) moved to a higher-value group (from the highly-medium- to the highly-connected). For comparison: in 2000—2010 10 out of 237 countries moved to a higher-value group: Brazil, Russia, India, Singapore (from the highly-medium- to the highly-connected); Romania, Chile (from the medium- to the highly-medium-connected); Mauritius, Serbia (from the low- to the medium-connected); Palestine, Montenegro (from the lowest-low to the low-connected).

Let us consider changes in the global connectivity rates in absolute values. Only four countries showed a significant growth (by more than 0.5 points) in the rates from 2000—2004 to 2010—2017; ten more countries showed a considerably large (by 0.25—0.5 points) growth. However, if we do not take into account small island states (high volatility of global connectivity rates is due to the very size of the states), there are three (Montenegro, Serbia, Chile) and nine (Romania, Mauritius, Palestine, India, Malta, Nigeria, Pakistan, Mexico, Russia) countries cases left. Eight out of these twelve countries already belonged to the high-medium- or medium-connected groups in 2000. As for the low- and lowest-low-connected countries, only four of them achieved a considerable increase in the global connectivity rates. Two out of these four (Serbia and Montenegro) showed the highest growth in our sample, but this is due to the restoration after serious conflicts, which was certainly not the only factor of their failures but had a considerable impact (trade and FDI flows revived with peace). In general, it is a hard task for the low- or lowest-low-connected country to increase the global connectivity or to move to a higher group.

What are the conclusions of our research: first, though the countries' global connectivity rates change from year to year, only a limited number of countries manage to move to a higher group, and no country managed to move by two or three groups higher. Second, we usually witness changes in the positions of the countries with high connectivity rates. Among the lower-connected countries, only four moved to higher connectivity groups in 2000—2010: three of them (Serbia, Montenegro, and Palestine) restored their economies after serious conflicts, which certainly contributed to this growth (along with other factors), and the forth is a very small country Mauritius (both globalization indices and network connectivity measures are more volatile for small countries than for larger economies due to the higher relative volatility of national economic indicators). Thus, it is a challenging task for a low-connected country to significantly increase its global connectivity rates; so most low- and lowest-low-connected countries (especially the larger ones) will likely to retain comparatively low levels of global connectivity. Under the expected population doubling in this group by 2050, we can expect a certain de-globalization with significantly more people living in the low-globalized parts of the world [on the previous waves of globalization and de-globalization see: 7; 12; 17].

REFERENCES

[1] Apt W. *Germany's New Security Demographics: Military Recruitment in the Era of Population Aging.* Springer Science & Business Media; 2013.

[2] Borgatti SP., Everett MG., Johnson JC. *Analyzing Social Networks.* Sage Publications; 2013.

[3] Castells M. *The Information Age: Economy, Society, and Culture.* Vol. I: *The Rise of the Network Society*, Wiley-Blackwell; 1996.
[4] Castells M. *Information Technology, Globalization, and Social Development.* Geneva: United Nations Research Institute for Social Development; 1999.
[5] Castells M. *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture* (Vol. 1). John Wiley & Sons; 2011.
[6] Candau F. Trade, FDI and Migration. *International Economic Journal*. 2013: 27(3): 441—461.
[7] Chase-Dunn C., Kawano Y., Brewer B. Trade globalization since 1795: Waves of integration in the world-system. *American Sociological Review*. 2000: 65 (1): 77—95.
[8] Coleman D., Rowthorn R. Who's afraid of population decline? A critical examination of its consequences. *Population and Development Review*. 2011: 37 (1): 217—248.
[9] Ernst & Young. *Looking beyond the Obvious. Globalization and New Opportunities for Growth. About the 2012 Globalization Index.* 2012. http://www.ey.com/GL/en/Issues/Driving-growth/Globalization---Looking-beyond-the-obvious---2012-Index.
[10] Goldstone J.A., Kaufmann E.P., Toft M.D. (Eds.). *Political Demography: How Population Changes are Reshaping International Security and National Politics.* Oxford University Press; 2012.
[11] Goldstone J.A., Marshall M.G., Root H. Demographic growth in dangerous places: Concentrating conflict risks. *International Area Studies Review.* 2014: 17 (2): 120—133.
[12] Grinin L.E., Korotayev A.V. Social macroevolution: Growth of the world system integrity and a system of phase transitions. *World Futures.* 2009: 65 (7): 477—506.
[13] Grinin L.E., Korotayev A.V. Will the global crisis lead to global transformations? 1. The global financial system: Pros and cons. *Journal of Globalization Studies.* 2010: 1 (1): 70—89.
[14] Kim T., Sciubba J.D. The effect of age structure on the abrogation of military alliances. *International Interactions.* 2015: 41 (2): 279—308.
[15] Korotayev A., Zinkina Yu. How to optimize fertility and prevent humanitarian catastrophes in Tropical Africa. *African Studies in Russia.* 2014: 6: 94—107.
[16] Korotayev A., Zinkina Yu. East Africa in the Malthusian trap? *Journal of Developing Societies.* 2015: 31 (3): 385—420.
[17] Korotayev A., Zinkina Yu., Andreev A. Secular cycles and millennial trends. *Cliodynamics*. 2016: 7 (2): 204—216.
[18] Korotayev A., Zinkina Yu., Goldstone J., Shulgin S. Explaining current fertility dynamics in Tropical Africa from an anthropological perspective: A cross-cultural investigation. *Cross-Cultural Research.* 2016: 50 (3): 251—280.
[19] Modelski G. Globalization as evolutionary process. In: Modelski G., Devezas T., Thompson W.R. (Eds.). *Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change.* London—New York: Routledge; 2008. P. 11—29.
[20] Sciubba J.D. *The Future Faces of War. Population and National Security*; Santa Barbara: Praeger; 2011.
[21] Shulgin S., Zinkina Yu., Andreev A. Method of analysis of the global trade network structure. *Ekonomika i Upravlenie: Provlemy, Resheniya.* 2016: 12: 48—56 (In Russ.).
[22] Shulgin S., Zinkina Yu., Andreev A. Measuring globalization: Network approach to countries' global connectivity rates and their evolution in time. *Social Evolution and History*. 2018 (forthcoming).
[23] Teitelbaum M.S. Political demography: Powerful trends under-attended by demographic science. *Population Studies*. 2015: 69: 87—95.
[24] United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), Population Division. *World Population Prospects: The 2017 Revision*. https://esa.un.org/unpd/wpp.
[25] United Nations. *UN Comtrade Database*. 2017. https://comtrade.un.org.
[26] United Nations. *International Migrant Stock by Destination and Origin*. 2015.
[27] Weiner M., Russell S.S. (Eds.). *Demography and National Security*. Berghahn Books; 2001.
[28] World Bank. *Trade in Services Database*. 2017 https://data.worldbank.org/data-catalog/trade-in-services.

[29] Yoshihara S., Sylva D.A. (Eds). *Population Decline and the Remaking of Great Power Politics*. Potomac Books; 2012.
[30] Zinkina Yu., Korotayev A. Explosive population growth in tropical Africa: Crucial omission in development forecasts — emerging risks and way out. *World Futures*. 2014: 70 (2): 120—139.
[31] Zinkina Yu., Korotayev A. Projecting Mozambique's demographic futures. *Journal of Futures Studies.* 2014: 19 (2): 21—40.
[32] Zinkina Yu., Korotayev A., Andreev A. Measuring globalization: Existing methods and their implications for teaching global studies and forecasting. *Campus-Wide Information Systems*. 2013: 30 (5): 321—339.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-271-283

НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА: НАСКОЛЬКО ГЛОБАЛИЗИРОВАННЫМ ОСТАНЕТСЯ МИР?*

Ю.В. Зинькина[1,2], С.Г. Шульгин[1], И.А. Алешковский[2], А.И. Андреев[2]

[1]Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Просп. Вернадского, 84, Москва, 119571, Россия
[2]Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ленинские горы, 1—51, Москва, 119991, Россия
(e-mail: juliazin@list.ru; sergey@shulgin.ru; andreev@fgp.msu.ru; aleshkovski@fgp.msu.ru)

Жителям стран Первого мира глобализация кажется всеобъемлющим феноменом, однако на самом деле уровни включенности стран в глобализационные процессы серьезно различаются. А как ситуация изменится, скажем, через пятьдесят лет? Цель статьи — показать, как прогнозируемые демографические изменения могут повлиять на относительную и абсолютную численность населения стран, различающихся по уровню глобализированности. Исследование авторов основано на данных об участии стран в глобальных сетях торговли товарами и услугами, прямых иностранных инвестициях и международной миграции, а также на среднем сценарном прогнозе численности населения, опубликованном отделом народонаселения ООН в 2017 году. В исследовании применялся двухступенчатый подход: сначала были сконструированы сетевые модели и проанализированы структуры сетей для определения положения в них отдельных стран, что позволило оценить степень их глобализированности, а затем объединить в шесть групп в зависимости от уровней глобализированности. На втором этапе исследования результаты сетевого анализа были сопоставлены с демографическими данными, чтобы оценить, сколько людей, согласно прогнозам, будет проживать в странах разного уровня глобализированности в ближайшие десятилетия (до 2050 года) и в более отдаленной перспективе (2100). Результаты исследования показали, что примерно половина населения мира (3,46 млрд) в настоящее время проживает в странах с высоким уровнем глобализированности, однако эта ситуация, по всей вероятности, серьезно изменится в ближайшие десятилетия. Авторы делают вывод, что доля мирового населения, проживающего в странах с самыми высокими и относительно высокими уровнями глобализированности, сократится к 2050 году и продолжит снижение к 2100 году. В то же время доля населения, проживающего в странах с относительно и самыми низкими уровнями глобализированности, существенно возрастет.

Ключевые слова: глобализация; глобальная связанность; измерения глобализации; демографические прогнозы; население мира; прогноз численности населения

* © Зинькина Ю.В., Шульгин С.Г., Алешковский И.А., Андреев А.И.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Проект № 17-78-20096.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 284—302
http://journals.rudn.ru/sociology

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-284-302

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, КАЗАХСТАНА И ЧЕХИИ): СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАХОВ, НАДЕЖД И ОПАСЕНИЙ

(Часть 2) *

Н.П. Нарбут, И.В. Троцук

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, Москва, Россия
(e-mail: narbut_np@rudn.university; trotsuk_iv@rudn.university)

Статья представляет собой вторую часть заключительной публикации по результатам трехлетнего исследовательского проекта, который реализовывался сотрудниками кафедры социологии Российского университета дружбы народов совместно с зарубежными коллегами в целях сопоставительного анализа мировоззренческих приоритетов современной студенческой молодежи. В первой части авторы сосредоточились на обозначении акцентов в ценностях студентов трех стран в сопоставительном контексте. Во второй части авторы продолжают характеризовать ценностную сферу молодых поколений постсоциалистических стран, однако опираясь на эмпирические данные, собранные посредством другого опросного инструментария — посвященного страхам, надеждам и опасениям. Несмотря на активную проработку проблематики катастрофического/кризисного сознания в последние десятилетия и институционализацию социальных страхов как предмета социологического анализа, тематики ценностей и массовых страхов редко взаимоувязываются в эмпирических исследованиях, хотя реальные и «нормальные» страхи (тотальные и рутинизированные в «обществе риска» в терминологии У. Бека) выступают ключевым индикатором ценностных ориентаций, даже если не актуализированы, но презентуются в качестве таковых средствами массовой информации. Серьезные модификации исходного инструментария в чешском и казахстанском опросах ограничили масштаб обобщений данных, но позволили выявить и сопоставить смысложизненные приоритеты и ключевые страхи студентов (в сфере трудоустройства, доходов, личной жизни, здоровья, учебы), общий уровень тревожности молодежи, предпочитаемые стратегии преодоления дискомфортных ситуаций и факторы, обусловливающие состояние тревоги. Полученные данные свидетельствуют, что (а) социальное самочувствие студенческой молодежи весьма амбивалентно во всех трех странах; (б) опасения и надежды российской молодежи схожи скорее с казахстанскими, чем с чешскими сверстниками; (в) оценки чешского студенчества демонстрируют бо́льшую определенность и консолидированность молодежного самосознания, а также, по ряду вопросов, тот стереотипный индивидуализм, о котором часто говорят, сравнивая российское «традиционное» общество с западным.

Ключевые слова: студенчество; молодежь; страхи; надежды; опасения; сравнительный анализ; опросный инструментарий

---

* © Нарбут Н.П., Троцук И.В., 2017.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (РФФИ). Проект №15-03-00573 «Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран: сравнительный анализ (на примере России, Казахстана, Китая, Сербии и Чехии)».

Социальное самочувствие студенческой молодежи постсоциалистических стран — важный и даже обязательный контекст выявления ценностных ориентаций, который позволяет корректно интерпретировать их особенности. Поэтому в рамках нашего проекта мы использовали одновременно два опросных инструментария, обращаясь к респондентам с просьбой заполнить оба, и практически не сталкивались с отказами (как правило, студенты признавались, что обе темы показались им интересными): анкету, посвященную ценностным ориентациям, и анкету, оценивающую страхи, надежды и опасения студенчества. Результаты первого опроса были представлены в первой части публикации по итогам исследования, в данной статье приведены данные второго опроса. Однако прежде напомним читателям три важных обстоятельства. Во-первых, речь идет лишь о презентации и описании данных, проводить более сложную аналитическую работу мы не могли, потому что разработанный российской командой вариант второй анкеты, который наши чешские и казахстанские коллеги могли изменять только с позиций лингвистической эквивалентности и социальной релевантности, был сокращен и модифицирован ими в существенно большей степени, чем первый вопросник, посвященный ценностным ориентациям, поэтому мы проводим сопоставительный анализ не по всем тематическим блокам и вопросам анкеты. Кроме того, объективные организационные возможности проектов, подобных нашему, определяют пределы обобщения данных: мы говорим про условное столичное студенчество трех стран (для краткости — российские студенты, чешские и казахстанские), но в Москве было опрошено 1000 студентов старших курсов разных вузов (выборка квотировалась по профилям обучения — социально-гуманитарные специальности, технические и естественнонаучные), а в Праге и Астане были опрошены студенты только одного крупнейшего университета (800 студентов Карлова университета в Праге и 500 студентов Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева в Астане). Во-вторых, как было показано в первой части публикации, ценностная сфера студенчества трех стран по многим основаниям столь же поразительно схожа, сколь неожиданно различается по другим, и аналогичной амбивалентности молодежного самосознания следует ожидать, рассматривая его сквозь призму страхов, надежд и опасений.

В-третьих, мы не будем подробно останавливаться на особенностях социологического анализа катастрофического/кризисного сознания в условиях междисциплинарной институционализации проблематики социальных страхов в «обществе риска», поскольку варианты социологической концептуализации и эмпирического «измерения» страхов в заданном контексте были нами подробно рассмотрены ранее (1). Отметим лишь, что многолетняя теоретическая проработка и апробация методических приемов изучения страха не лишили данное понятие избыточной дискуссионности и коннотированности, что объясняется тотальностью и рутинизированностью реальных и «нормальных» страхов, а также маловероятных рисков в доминантном модусе их функционирования — как характеристик массового сознания. Неоднозначность и неустойчивость социологической трактовки страхов подкрепляется наличием множества иных дисциплинарных определений, которые оформились раньше, оказались популярны и прошли эмпирическую апробацию.

Речь не идет о философском осмыслении страха в его онтологическом и аксиологическом значениях, которые стали формироваться еще в Античности, а затем обогатились гносеологическими акцентами. Однако нельзя не принимать во внимание длительную психологическую традицию изучения тревожности, значительный вклад в которую внес, например, З. Фрейд, предложивший разводить реальные страхи — как реакцию на внешнюю угрозу, и невротические страхи, повторяющие определенное переживание прошлого под воздействием или без конкретной угрозы (яркий пример — фобии) [8].

До сих пор не существует универсальной классификации страхов, в том числе наиболее интересных для социологии социальных страхов. Это нередко объясняется тем, что в современном «обществе риска» многообразие и тотальность страхов исключают возможность их унифицированного определения, поэтому приходится учитывать все возможные типы угроз — реальные, потенциальные и даже мифологемные: практически как равноактуальные они представлены в массовом сознании вследствие навязчивого позиционирования их в подобном статусе всепроникающими средствами массовой информации [1]. Настойчивая медийная презентация рисков как неотъемлемого элемента современной жизни приводит к тому, что они перестают восприниматься лишь как детерминанта разнообразных форм деструктивного поведения, поэтому диагностика страхов и опасений позволяет лучше понимать ценностные приоритеты молодежи и ее социальное самочувствие.

Социологи стремятся охарактеризовать репертуар страхов, доминирующих в обществе в целом или в конкретной социально-демографической группе, как показатель определенного социального настроя/самочувствия [см., напр.: 2; 5; 6; 7]; а также оценить силу и распространенность отдельных страхов (скажем, смерти, безработицы или внешней угрозы) [см., напр.: 3; 4]. Важен не только уровень общей тревожности или масштабы и интенсивность определенного страха, но и диагностируемая через них картина социальной действительности в представлениях респондентов. В частности, высокие опасения экономической дезадаптации (падения уровня жизни, безработицы, неспособности обеспечить себя и семью и т.д.) и страх определенных социальных субъектов (агрессивных националистических движений, террористов, хулиганов и т.д.) свидетельствуют о негативной оценке социально-экономической ситуации и недоверии к государственным структурам и социальным институтам, призванным защищать граждан от экономических и криминальных угроз. Поэтому, конструируя опросный инструментарий, мы фокусировались на выявлении главных страхов молодежи, но контекстуализировали основную часть анкеты вопросами о смысложизненных приоритетах студентов (оценка роли высшего образования, трактовки личного успеха и необходимых для его достижения качеств и т.д.), об общем уровне тревожности и предпочитаемых стратегиях преодоления дискомфортных ситуаций. Ниже представлены результаты опросов в Москве, Праге и Астане (их последовательность отражает тематическую структуру анкеты), которые вынужденно носят не только описательный, но и фрагментарный характер: мы проводим сопоставления только по тем вопросам, по которым были получены данные хотя бы на двух выборках,

а также по мере возможности сравниваем самочувствие московского студенчества в 2013 и 2016 годах (что имеет смысл, учитывая изменение внутри- и геополитической ситуации за несколько лет).

Итак, оценки московскими студентами своего эмоционального состояния за последний месяц (рис. 1) оказались устойчивыми и не изменились за несколько лет: если сложить доли постоянно испытывающих беспокойство и напряжение (15% в 2013 году и 16% в 2016 году) и иногда ощущавших озабоченность и опасения (34% и 33%), то получим половину московской выборки; тогда как практически не ощущавших тревогу — 40%. Структура ответов в казахстанской выборке почти идентична, за исключением двух показателей — каждый десятый постоянно испытывает чувство беспокойства (против примерно каждого седьмого в российской выборке), и эта доля ниже за счет незначительно большей доли не испытывающих беспокойство (46% против 40%).

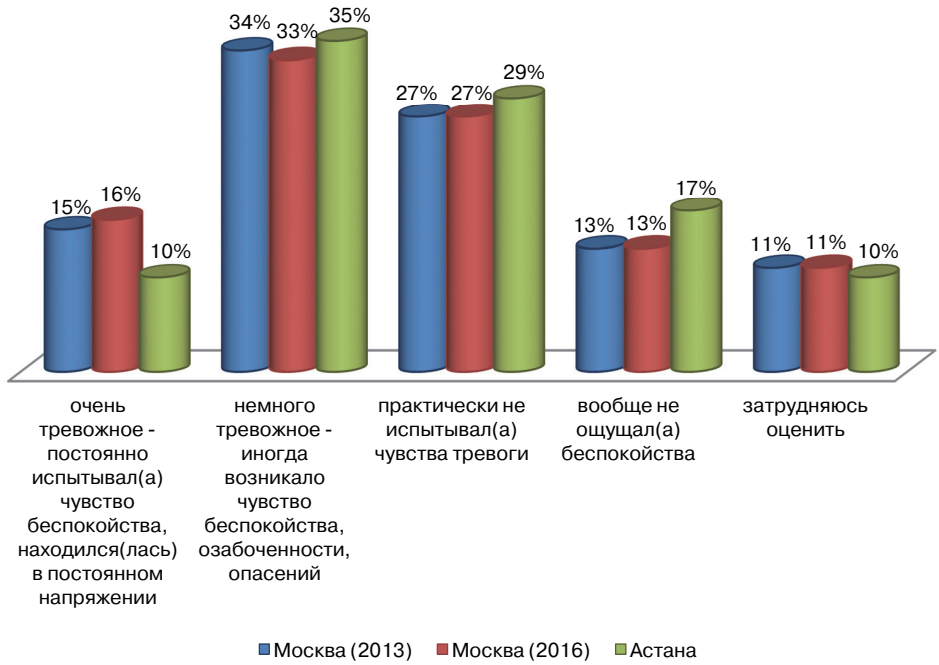

Рис. 1. «Оцени свое основное эмоциональное состояние за последний месяц»

Если российские студенты испытывают сильный страх или тревогу, то обращаются за советом/поддержкой/утешением к родным и близким (46% в 2013 году и 39% в 2016) или делятся переживания с друзьями (44% и 42%). В 2016 году мы добавили вариант ответа «общаюсь с друзьями/знакомыми в Интернете», и его выбрал каждый четвертый, что, видимо, отчасти объясняет снижение доли тех, кто «ждет, когда само пройдет» (22% против 13%). Распределение предпочитаемых вариантов преодоления сильного страха/тревоги в казахстанской выборке оказа-

лось схожим с прошлым опросом российской молодежи: каждый второй (47%) обратится к родным и близким, 38% поделятся переживания с друзьями, но только 13% сделают это посредством социальных сетей, каждый пятый «подождет, когда само пройдет». Варианты ответов, которые в российской выборке набрали от 11% до 16% (обращение к специалисту, поиск утешения в вере, успокоительные препараты и алкоголь), в казахстанской выборке встречаются в два—три раза реже (от 4% до 8%), что, видимо, говорит о «традиционности» казахстанской молодежи в преодолении жизненных сложностей — об опоре на ближний круг вместо самостоятельного выхода из ситуации или обращения к чужим людям.

«Нормальная» амбивалентность молодежного самосознания трех стран проявилась в том, что в ответах на вопрос «Случалось ли тебе за последние несколько месяцев...» (табл. 1) лидерами по частоте упоминаний оказались одновременно позитивные и негативные эмоции. Мы используем определение «нормальная», потому что это действительно нормально — испытывать весь спектр эмоций, от положительных до отрицательных, и тем более нормально в этом признаваться. Анализировать полученные данные сложно, хотя этот вопрос практически идентичен во всех трех анкетах (но чешские коллеги убрали вариант «чувствовать отчаяние» как, видимо, слишком пессимистичный для использования в опросе молодых поколений), поэтому отметим лишь несколько моментов. Во-первых, распределение эмоциональных состояний в московской выборке за несколько почти не изменилось: каждый второй признается, что ему приходилось и радоваться своим успехам, и ощущать усталость и безразличие; а небольшие колебания нескольких показателей укладываются в пределы статистической погрешности. Указанные два эмоциональных состояния превалируют во всех выборках, но, как и в опросе, посвященном ценностным ориентациям, чешская молодежь выражает их более консолидированно — в том, что их испытывали за последние несколько месяцев, признается не каждый второй, а 80% и 90% соответственно.

Таблица 1

«Случалось ли тебе за последние несколько месяцев…» (в %)

Варианты ответов	Москва (2013)	Москва (2016)	Астана	Прага
радоваться своим успехам	49,5	55,4	54,6	80,2
испытывать абсолютное счастье	28,3	30,6	26,7	26,9
чувствовать, что тебе все удается	32,2	29,5	37,1	29,6
ощущать усталость, безразличие	46,6	44,1	41	89,5
чувствовать одиночество	24,6	25	24	34,9
испытывать страх	17,5	22,1	10,6	50,4
чувствовать обиду	29,5	29,5	25,3	21,6
ощущать растерянность	22,6	19,1	11,1	58,6
испытывать зависть	7,9	11,9	4,4	18,9
чувствовать отчаяние	14,5	20	6,2	—*
ощущать уверенность в завтрашнем дне	20,8	23,9	13,1	9,1
чувствовать себя свободным	29,5	30,6	18,9	32
ощущать озлобленность, агрессивность	26,7	23,4	12,7	33,5

* Вариант ответа не был включен в вопрос.

В целом блок позитивных эмоций представлен в опросе российского и казахстанского студенчества более консолидированно, чем блок негативных, причем в Астане доли испытывающих ряд негативных эмоций в два-три ниже, чем аналогичные показатели в Москве (ощущающие растерянность, страх, отчаяние, зависть, агрессию и пр.), но хотя среди казахстанских респондентов несколько больше тех, кто чувствует, что им все удается (37% против 30%), доля уверенных в завтрашнем дне среди них существенно меньше (13% против 24%). «Градус» эмоциональности чешских студентов выше, особенно в выражении негативных эмоций, хотя подобная «эмоциональность» может объясняться тем, что многие негативные эмоции в «традиционных» российском и казахстанском обществах принято скрывать как социально неодобряемые для открытого выражения, тогда как для чешского общества социальная «стигматизация» чувства страха, растерянности и агрессивности, видимо, не характерна (конечно, у нас нет достаточных оснований делать подобные обобщения, но в России и Казахстане первые две эмоции даже гендерно табуированы — считаются неприемлемыми для мужчин).

Нас интересовали не только страхи молодежи как таковые, но и наиболее типичные ситуации, в которых молодежь испытывает неприятные эмоции. Чтобы понять, насколько доминирующие страхи студентов носят социальный характер, мы привели список жизненных ситуаций, которые могут вызывать у человека панические реакции. Оказалось, что у московских студентов неприятные эмоции вызывают некоторые насекомые (38%; вполне предсказуемый результат для большого города, значительная часть рекламы в котором посвящена борьбе с невидимыми паразитами); на втором месте — некоторые животные и большая высота (27%), темные помещения (23%) и публичные выступления (данный социальный страх испытывает каждый четвертый); на третьем месте (около 18%) — боязнь замкнутого пространства и авиаперелетов; на четвертом (каждый десятый) — непереносимость вида крови, боязнь толпы, в том числе в метро, и поездок на автомобиле. Распределение ответов на этот вопрос в казахстанской выборке оказалось схожим с точки зрения доминирующих страхов, но доли испытывающих неприятные эмоции различаются и отсутствует ярко выраженный лидер: на первом месте по частоте упоминаний — боязнь темных помещений (25%), некоторых насекомых (30%), большой высоты и публичных выступлений (по 27%); на втором месте — замкнутое пространство (19%) и некоторые животные (15%); остальные страхи набрали менее 10%. Оказавшись в крайне дискомфортной ситуации, российские студенты пытаются сохранить самообладание и перебороть страх/негатив (по 34%), 27% молча терпят, пока все закончится, каждый четвертый учитывает конкретные обстоятельства, каждый десятый «скисает» и опускает руки (мы не ограничивали респондентов выбором одного варианта ответа, понимая, что даже в рамках одной и той же ситуации человек может сменить несколько поведенческих реакций). Предпочтения казахстанских студентов в неприятной жизненной ситуации оказались иными: треть (36%) стремится сохранить самообладание, треть (38%) учитывает конкретные обстоятельства для выбора поведенческой стратегии, каждый четвертый пытается перебороть свой страх или пассивно ждет, когда все закончится; в том, что он сразу опускает руки, призналось в два раза меньше респондентов, чем в московском опросе (5%).

Чтобы завершить блок страхов, напоминающих фобии и стереотипизированные медийные риски, и перейти к более социальным опасениям, мы использовали вопрос о том, какие заболевания (в широком смысле слова) респонденты считают самыми страшными. Московские студенты считают такими «заболеваниями» (поскольку в российском медийном дискурсе и общественном мнение доминирует трактовка ряда девиантных практик как заболеваний, мы включили их в список закрытий) ВИЧ/СПИД (63%), онкологические заболевания и наркотическую зависимость (каждый второй), реже называют алкоголизм, венерические и сердечно-сосудистые заболевания (каждый третий), нарушение репродуктивных способностей (невозможность иметь детей — 27%), табачную зависимость (каждый четвертый) и массовые эпидемии (каждый пятый). Лидером среди наиболее опасных заболеваний у казахстанских респондентов также стал ВИЧ/СПИД (71%), на втором месте — наркотическая зависимость (44%) и онкологические заболевания (39%), на третьем — табачная зависимость, алкоголизм, сердечнососудистые заболевания и нарушения репродуктивных способностей (от 23% до 27%), меньше всего опасений вызывают венерические заболевания (18%) и пандемии (15%).

Можно было бы попробовать объяснить полученные данные, ссылаясь на реальные масштабы распространения перечисленных угроз в российском и казахстанском обществах, однако вряд ли это было бы оправдано: статистический учет по данным группам заболеваний и девиантных практик неточен и неполон, далеко не всегда в них представлена разбивка по возрастным группам, сомнительно, что молодежь отслеживает подобную информацию и формирует суждения об опасности заболеваний и аддикций на основе объективной статистики. Вероятнее всего, представленные выше опасения — реакция на устойчивый медийный шум и форматы презентации тех или иных проблем, которые не всегда дают полную и достоверную информацию о том, насколько человек способен с ними справиться. Видимо, доминирующие в обоих списках угрозы — это те заболевания и аддикции, которые ухудшают качество жизни человека и сокращают ее, особенно учитывая их стигматизацию (как результат дурного поведения) и отсутствие эффективной государственной системы медицинской и социальной поддержки людей, от подобных недугов страдающих.

Для перехода к более социальным страхам мы использовали вопрос о том, с кем или с чем были связаны негативные переживания респондентов за последние несколько месяцев. Безусловно, «контекст» опроса (анкеты раздавались в вузах), как и приоритетная сфера занятости респондентов (обучение в университете), оказали влияние на выбор сфер негативных переживаний: каждый второй московский респондент утверждает, что таковые в основном связаны с учебой; каждый третий называет родственников, друзей, здоровье и трудоустройство. Данное распределение ответов мы получили, используя набор дихотомических шкал, но не можем сопоставлять его с другими опросами: чешские коллеги не включили вопрос в анкету, а казахстанские коллеги сократили его до вопроса-меню, в результате чего приоритетной сферой негативных эмоций оказались отношения с родственниками (41%), а остальные варианты ответов (друзья, учеба и работа) набрали от 1,4% до 6%.

Для снижения «негативности» восприятия инструментария и понимания, как складывается учеба и трудоустройство студентов, в анкету были включены соответствующие нейтральные вопросы. Так, абсолютные лидеры среди продолжений фразы «Обучение в университете для тебя, в первую очередь...» у российских студентов — возможность получить знания и стать квалифицированным специалистом (их назвал каждый второй), а каждый третий видит в высшем образовании гарантии карьерного роста в будущем и возможности саморазвития и самореализации, реже (28%) — шанс получать высокую заработную плату или просто трудоустроиться, а также приятный способ препровождения (27%) (табл. 2). Структура мотивов у казахстанских респондентов аналогична лишь с тем различием, что каждый десятый (против 27%) рассматривает данный этап своей жизни как приятный способ времяпрепровождения. Проводить сопоставление с опросом в Праге мы не можем, поскольку в чешской анкете вопрос-меню был преобразован в набор дихотомических шкал. Тем не менее, мы привели результаты в таблице: для чешских студентов в равной степени приоритетны прагматичные (получение знаний, высокой квалификации и «корочки») и личностные (саморазвитие) мотивы обучения в университете, и структура распределения ответов в целом схожа с казахстанскими и российскими сверстниками.

Таблица 2

«Обучение в университете для тебя, в первую очередь» (в %)

Варианты ответов	Москва	Астана	Прага
возможность получить знания, необходимые для дальнейшей жизни	51,4	55	88,7
возможность стать квалифицированным специалистом	48	48,9	88,5
возможность получить «корочку», необходимую для трудоустройства	28,4	25,4	87,3
гарантии карьерного роста в будущем	33,6	27,4	55,4
гарантии высокой заработной платы в будущем	27,5	23,7	32
приятный способ времяпрепровождения	26,6	10,5	49,3
возможность саморазвития и самореализации	34,9	31,1	85,4

Свои карьерные перспективы студенты пытаются просчитывать уже сейчас — не работает 46% российских и 52% казахстанских респондентов. Преимущественно это, конечно, подработка (у каждого четвертого) или работа не по специальности (21% и 15% соответственно), по специальности трудоустроена незначительная доля студентов (9% и 8%). Подобное распределение объясняется критериями поиска места работы в период обучения: для 45% трудоустроенных российских респондентов (37% казахстанских) главным критерием была возможность сочетать работу с учебой, для 22% (25%) — заработная плата, для 20% (28%) — связь со специальностью. Мотивы неработающих студентов схожи, хотя приоритеты различаются: у российских студентов доминируют два соображения — опасения, что не получится совмещать работу и учебу (30%), которая в настоящий момент намного важнее (26%); реже респонденты отмечают, что работа негативно влияет

на успеваемость и снижает шансы на трудоустройство по специальности (15%), что не смогли найти подходящую работу (13%) или работу по специальности (11%). У казахстанских студентов первая группа мотивов лидирует с бóльшим отрывом (28% и 43%), а вторая группа аналогична российской выборке.

Каждый третий российский респондент (и каждый второй казахстанский) хотел бы в будущем стать хозяином собственного бизнеса (рис. 2). Подобный разрыв, видимо, можно объяснить широко обсуждаемыми сложностями мелкого и среднего предпринимательства в России. Вероятно, с ними же связано наметившееся в российском опросе предпочтение государственных организаций для занятия руководящих должностей (доли ориентированных на эту группу должностей в коммерческом и государственном секторах в казахстанском опросе выше — 17% и 18%). Казахстанские респонденты реже хотят работать в коммерческом секторе (6% против 15% заинтересованных в трудоустройстве на государственные предприятия и 14% в российской выборке) и реже допускают возможность не работать вообще (1,8% против 4,4% в московской выборке). Несмотря на, казалось бы, популярность фриланса, работать в свободном режиме или на дому готов лишь каждый десятый, а среди московских респондентов эта доля за три года снизилась (с 14,3% до 9,6%).

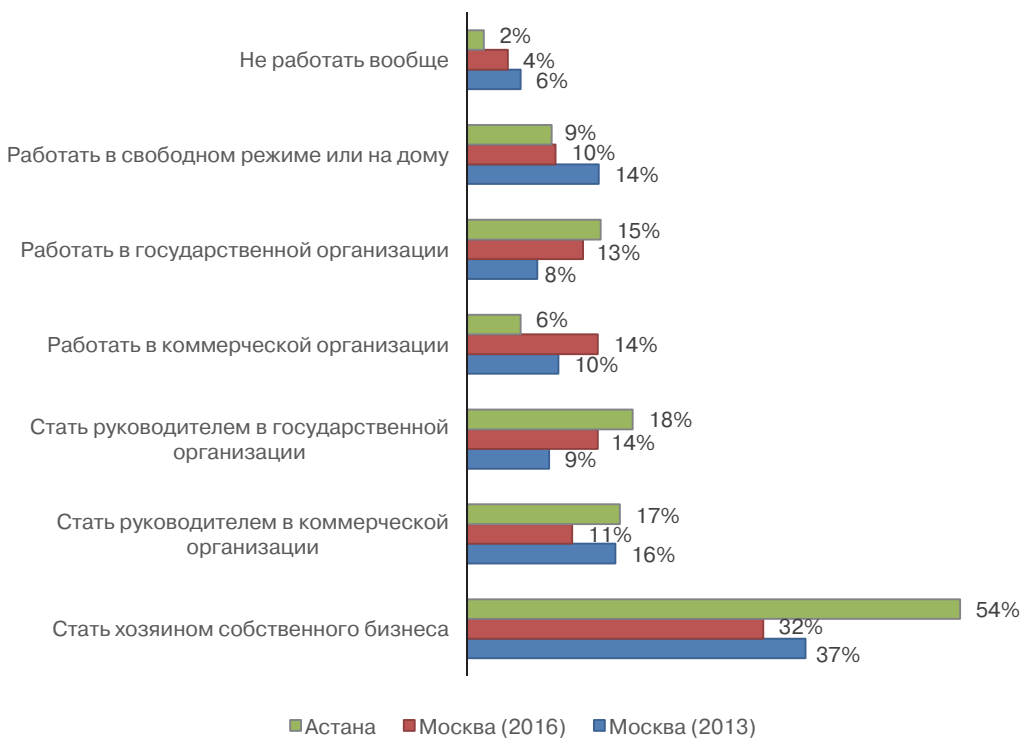

Рис. 2. «В будущем ты надеешься…»

Оценивают свою учебу в университете чешские студенты иначе, чем их российские и казахстанские сверстники (Табл.3): последних можно условно разделить на три группы — бо́льшая часть (свыше 36%) учится нормально, будучи уверена, что способна при желании на большее; вторая группа прагматично фокусируется на необходимых в будущем аспектах обучения; каждый четвертый учится легко и с удовольствием. Как и в опросе, посвященном ценностным ориентациям, чешские респонденты продемонстрировали бо́льшую консолидированность оценок: хотя и среди них превалирует первая группа — обучающихся нормально, ее доля почти в два раза больше (64%), а доли двух групп соответственно — 17% и 11%.

Таблица 3

«Как у тебя складывается учеба в университете?» (в %)

Варианты ответов	Москва	Астана	Прага
здорово — впитываю знания, как губка, и учусь легко	24,6	26,3	11,3
старательно учу только то, что может мне пригодиться в дальнейшем и забиваю на остальное	28	31,6	17
учусь нормально, мог(ла) бы и лучше, если бы захотел(а)	39,9	35,7	64,4
особого интереса к учебе не испытываю — закончу вуз, потом сориентируюсь	6,2	6,5	4,1

Что касается основных сложностей в ходе обучения, то для российских студентов это все успевать (33%) и досдавать долги (31%), на втором месте — выступления перед аудиторией (каждый четвертый), контрольные работы (21%) и плохие оценки (23%), каждый десятый испытывает сложности в общении — с преподавателями и одногруппниками (по 12%) или решая проблемы с учебной частью (14%), не испытывает никаких сложностей лишь 7%. Распределение ответов казахстанских студентов схоже с московским опросом, но несколько различаются доли ответов: так, главные для них сложности (по 27%) — выступления перед аудиторией, плохие оценки и все успевать, каждый пятый не любит писать контрольные работы, по 14% испытывают сложности в общении с преподавателями и деканатом, столько же (что в два раза больше, чем в московском опросе) учатся без проблем, а сталкиваются с трудностями в общении с одногруппниками значительно меньше опрошенных (7% против 12). Проводить сопоставления с чешским опросом мы не можем, потому что чешские коллеги изменили набор ответов и использовали порядковую шкалу — просили студентов оценить, что им сложнее всего делать в ходе обучения, от 1 до 7 баллов (1 — очень трудно, 7 — совсем не трудно). Тем не менее, и для чешских студентов основные сложности — все успевать (4 балла), писать контрольные работы и выступать перед аудиторией (4,7), а трудностей в общении с преподавателями и одногруппниками они не испытывают.

В варианте о выступлениях перед аудиторией был заложен переход к следующему тематическому блоку анкеты, в котором студентам предлагалось оценить свое социальное самочувствие и высказаться о значении для себя публичной сферы. В ответах на вопрос «Одни люди боятся быть не такими, как все, другие, наоборот, стремятся выделиться. К кому бы ты отнес(ла) себя?» российские и казахстанские респонденты обозначили себя как социальных конформистов

(сумма тех, кто старается быть, как все, или выбирает «золотую середину» между теми, кто стремится и не стремится выделиться, составила, соответственно, 45% и 53%), каждый пятый российский и четвертый казахстанский респондент ориентируются по ситуации, а стремятся выделиться, соответственно, 25% и 19%.

Подобное распределение ответов отчасти объясняется трактовками жизненного успеха. Для студентов это, прежде всего, семейное благополучие (53% и 63%), по остальным критериям респонденты расходятся: у российских студентов на втором месте материальный достаток/богатство (43%) и творческая самореализация (42%), за ними следуют карьерные достижения (32%) и общественное признание/слава (21%), а у казахстанских студентов на втором месте также материальный достаток (44%), но общественное признание, творческая самореализация и карьерные достижения равнозначны (их назвал каждый третий). Иными словами, в обеих группах наблюдается сложный комплекс параметров оценки успешности, но сфера семейного благополучия имеет приоритетное значение: для молодежи наиболее важно признание и уважение семьи, близких и друзей (50% российских респондентов и 72% казахстанских). С огромным отрывом за ним следуют собственная самооценка (15% и 21% соответственно), признание широкого круга знакомых (по 14%) и товарищей по учебе/работе (по 10%). Иную картину мы наблюдаем в чешском опросе: жизненный успех для студентов — это, в первую очередь и в равной мере, семейное благополучие (58%) и творческая самореализация (60%), каждый второй назвал материальный достаток/богатство, каждый третий — карьерные достижения и общественное признание. Хотя на первом месте с точки зрения признания и уважения у чешских студентов также оказалась семья, друзья и близкие (81%), второе место с существенно большей долей, чем в российском и казахстанском опросах, заняла собственная самооценка (61%), каждый пятый назвал единомышленников и коллег по учебе/работе, каждый десятый — широкий круг знакомых. Собственно уже по распределению ответов на этот вопрос можно прогнозировать достаточно высокий уровень тревожности студенчества, поскольку достичь всех элементов успеха в современном обществе крайне сложно.

Для «диагностики» ключевых страхов студентов в анкету был включен вопрос «Задумываясь о своем будущем, чего ты опасаешься больше всего?», распределение ответов на который в российской выборке в 2013 году оказалось предсказуемым, и варианты ответов были сгруппированы в несколько условных блоков (табл. 4): лидером оказался страх потерять близких (его указал каждый второй); вторую группу страхов, отмеченных каждым третьим, составили страх одиночества, бездетности и неизлечимого заболевания; на третьем месте — страхи экономического характера (от 21% до 27%), т.е. безработицы, бедности, вынужденного трудоустройства на низкооплачиваемую или неинтересную, но денежную работу; в четвертую группу (от 11% до 16%) вошли разные «разочарования» — в профессии, любви, учебе, способности избежать судебного или уголовного преследования, а также страх смерти; менее 10% опасаются публичных унижений, стать жертвой преступников, внепланово забеременеть или серьезно заболеть.

Распределение страхов российских студентов в целом сохранилось в 2016 году, но несколько изменились доли отдельных страхов и, соответственно, их услов-

ная группировка: так, лидер все тот же, но доля опасающихся потерять близких снизилась; вторую группу теперь формируют экономические страхи (бедности, безработицы и низкой заработной платы), и здесь остался страх неизлечимого заболевания; в третью группу сместились страхи бездетности, одиночества и, наоборот, поднялись страхи разочарования в профессии, любви, учебе и способности избежать судебного или уголовного преследования; в четвертой группе (от 11% до 18%) остались опасения не вступить в брак и умереть, но сюда поднялись страхи публичных унижений, стать жертвой преступности, внепланово забеременеть, серьезно заболеть, а также остаться без Интернета/компьютера. Безусловно, эти данные сложно интерпретировать, и мы бы не хотели делать сильные обобщения, ссылаясь на серьезные изменения внутри- и внешнеполитического контекста жизни российской молодежи за последние несколько лет, поэтому отметим лишь рост общего уровня ее тревожности (по большинству позиций, пусть и незначительно), а также изменения в соотношении превалирующих страхов. Так, уровень опасений, сосредоточенных в частной сфере, снизился по одним страхам (например, одиночества), но возрос по другим (страх разочароваться в профессии или в любви), а страхи экономического блока однозначно усилились (получать низкую заработную плату, стать безработным или бедным, быть отчисленным), как и осознание рисков личной безопасности (оказаться под следствием, умереть, стать жертвой преступников), причем почти в четыре раза выросла доля опасающихся стать жертвой массовой эпидемии или лишиться доступа к Интернету/компьютеру.

Таблица 4

«Задумываясь о своем будущем, чего ты опасаешься больше всего?»

Варианты ответов	Москва (2013)	Москва (2016)	Астана
Потерять близких	57%	49,5%	44,9%
Заболеть неизлечимой болезнью	34,4%	33,3%	23,7%
Быть бездетным	31,2%	27,4%	19,1%
Оказаться одиноким человеком	30,8%	24%	18,9%
Получать заработную плату, которая не позволит мне жить так, как я хочу	27,4%	35,7%	24,9%
Оказаться безработным	24,4%	31,2%	32,9%
Бедности	22,8%	31%	18,4%
Вынужденно трудоустроиться на неинтересную, но денежную работу	20,8%	18,3%	22,4%
Разочарования в выбранном деле / профессии	16,2%	25,1%	15,4%
Неудачи в любви	15,6%	21,5%	8,8%
Отчисления (боюсь, что не смогу доучиться / получить диплом)	14,6%	25,6%	11,3%
Оказаться под следствием / в тюрьме	13,2%	20,4%	5,3%
Не выйти замуж / не жениться	11,8%	13,8%	12,2%
Умереть	10,8%	17,2%	6%
Публичного унижения / оскорбления	10,4%	12,4%	6,7%
Стать жертвой преступников	9,4%	16,7%	6%
Внепланово забеременеть	7,2%	10,6%	3,7%
Заболеть свиным гриппом или иной пандемической болезнью	5%	16,7%	5,3%
Пойти служить в армию	3,6%	5,4%	2,1%
Жизни без компьютера / Интернета	2,6%	11,3%	1,8%

Распределение ответов казахстанских студентов напоминает результаты прошлого, а не нынешнего московского опроса по целому ряду параметров, хотя в целом условный рейтинг страхов казахстанского студенчества аналогичен таковому у российских студентов, за исключением того, что общий уровень тревожности первой группы существенно ниже. Среди страхов казахстанских респондентов также лидирует страх потерять близких (45%) и набор условных групп страхов не меньше, однако доли, по которым эти группы формируются, ниже, чем в московских опросах. Так, на втором месте по частоте упоминаний (его назвал каждый третий) оказался страх безработицы; третий блок (22—24%) составили опасения заболеть неизлечимой болезнью, получать низкую заработную плату или вынужденно трудоустроиться на денежную, но неинтересную работу; каждый пятый указал страх бездетности, одиночества и бедности; пятую группу (11—15%) формируют опасения разочароваться в профессии, страх отчисления и невступления в брак, тогда как остальные угрозы упоминались намного реже, особенно если сравнивать их уровень с российскими опросами (в три—четыре раза).

Мы не можем сравнивать результаты опросов в трех странах, потому что чешские коллеги сократили список страхов и применили для оценки каждого из них порядковую шкалу (пять вариантов ответа — от «абсолютно не боюсь» до «очень боюсь»). Единственное, что можно сказать о представленности семи страхов среди чешских студентов, так это констатировать сходство с российским и казахстанским опросами (если суммировать варианты «скорее боюсь» и «очень боюсь»): здесь также доминирует страх тяжелой утраты (близких) — 44%, каждый третий боится безработицы, каждый четвертый — одиночества; уровень тревожности, связанный с рисками низкого дохода, бедности и отчисления, аналогичен российской ситуации (их назвал каждый третий, что значительно выше казахстанского показателя), а уровень опасений вынужденно трудоустроиться на неинтересную работу существенно выше (38% против каждого пятого в других опросах), что предсказуемо, учитывая, сколь важна для чешских студентов самореализация.

В значительной степени объясняет доминирование страха потерять близких распределение ответов на вопрос «Насколько ты лично боишься столкнуться со следующими явлениями в жизни страны?» (табл. 5).

Таблица 5

«Насколько ты лично боишься столкнуться со следующими явлениями?»

Варианты ответов	Очень + немного боюсь		
	Москва (2013)	Москва (2016)	Астана
Террористические атаки в стране	81,4%	80,4%	79,1%
Разгул преступности	73,2%	75,8%	69,1%
Коррупция и беззаконие	72,1%	75,5%	79,8%
Последствия мирового экономического кризиса	69,9%	79,5%	74,2%
Политический экстремизм (нападения фашистов, скинхедов, расистов и других националистических группировок)	66,8%	75,6%	67,1%

Окончание таблицы 5

Варианты ответов	Очень + немного боюсь		
	Москва (2013)	Москва (2016)	Астана
Стихийные бедствия (землетрясение, наводнение и пр.)	66,2%	75,4%	60,7%
Военные действия	65,6%	80,4%	68,9%
Массовая эпидемия	64,5%	76,1%	62,2%
Химическое и радиационное заражение воды, воздуха	64,1%	74,4%	65,3%
Экологическая катастрофа	63,5%	71%	65,8%
Межэтнический конфликт	60,5%	70,1%	53,6%
Ядерная война	60,5%	73,2%	69,1%
Полная утрата традиций и культуры	59,2%	64,3%	59,4%
Техногенная катастрофа	58%	73,4%	56,4%
Вытеснение мигрантами коренного населения	54,3%	58,1%	43,4%
Гражданская война	54,1%	72%	62,8%
Революция/путч/переворот	51,4%	66,4%	62,5%
Безвластие, анархия	47,5%	42,9%	61,7%
Вторжение инопланетян	21,9%	32,4%	—

Оно подтверждает высокий уровень «нормальной» (для общества риска) тревожности молодежи, которая, по сути, признает, что сегодня человек окружен неимоверным количеством угроз, значительная часть которых не поддается индивидуальному контролю или прогнозированию (терроризм, техногенные и экологические катастрофы, стихийные бедствия, военные угрозы и пр.). Мы рассматриваем суммарное распределение вариантов «очень боюсь» и «немного боюсь» (третий вариант оценки — «это маловероятно»), потому что перечисленные угрозы не являются рутинно актуальными, а скорее потенциально опасны, но презентируются средствами массовой информации в первом «статусе». Большинство опрошенных в 2013 году как высоко вероятные оценивали террористические угрозы (81%), разгул преступности, коррупцию и последствия мирового экономического кризиса (свыше 70%), политический экстремизм, стихийные бедствия, военные действия, массовые эпидемии, радиационные, техногенные и экологические катастрофы, ядерную войну (свыше 60%) и т.д.

За несколько лет уровень тревожности российского студенчества вырос. Опрос 2016 года показал, что в «репертуаре» страхов сохранились две крайние позиции: максимальные опасения все также вызывает угроза террористических атак (80%) (что объяснимо, учитывая частоту сообщений о реализованных и предотвращенных терактах в средствах массовой информации), но к ним добавились последствия мирового экономического кризиса (он, экономические и финансовые санкции и падение курса рубля серьезно ухудшили экономическую ситуацию в стране) и угроза военных действий (что неудивительно, учитывая

военные действия, в которые вовлечена Россия, а также милитаристские геополитические приоритеты, декларируемые лидерами государства); наименьшие опасения все также вызывает вторжение инопланетян (хотя уровень обеспокоенности вырос с 22% до 32%). Примерно на том же уровне остались опасения разгула преступности, коррупции и беззакония, утраты культуры и традиций, вытеснения мигрантами коренного населения, безвластия и анархии, но на 10% и больше выросли опасения последствий экономического кризиса, политического экстремизма, стихийных бедствий, военных действий, массовых эпидемий, химического и радиационного загрязнения, межэтнических конфликтов и техногенных катастроф, гражданской войны и путча (что говорит о негативной оценке нынешней социальной ситуации и возможных сценариев ее развития).

На первый взгляд уровень тревожности казахстанских студентов несколько ниже и напоминает результаты прошлого московского опроса. Однако по ряду параметров уровень озабоченности казахстанского студенчества аналогичен российской выборке (террористические атаки, разгул преступности, коррупция и беззаконие, последствия мирового экономического кризиса, экологические катастрофы, ядерная война, утрата традиций и культуры, политический переворот), а по другим показателям либо выше (политический экстремизм), либо существенно ниже (стихийные бедствия, военные действия, массовые эпидемии, химическое и радиационное загрязнение, межэтнические конфликты, техногенные катастрофы, вытеснение мигрантами коренного населения, гражданская война и безвластие/анархия). Эти различия показательны, они свидетельствуют, что казахстанская молодежь более уверенно себя чувствует, поскольку меньше опасается внутриполитических угроз и рисков, контролировать которые должны социальные институты и государство.

Впрочем, как неоднократно подчеркивалось, в основном обо всех угрозах российские студенты узнают из Интернета, т.е. угрозы имеют медийный формат, а не статус актуальных. Резкий рост роли радио- и телепередач, газет и журналов в качестве источников информации о рисках следует воспринимать как результат перехода этих медиа в интернет-среду: молодежь не начала вдруг активно покупать газеты и журналы и слушать радио — эти медийные игроки выступают либо как компонент Интернета, либо как источник хорошей фоновой музыки, где в перерывах между композициями приходится слушать сводки новостей (рис. 3). Ближний круг общения менее важен — разные его «участники» набрали от 22% до 28%, хотя роль разговоров с представителями старших поколений для социального ориентирования в рисках возросла. Несмотря на схожее с российским опросом (особенно 2013 года) распределение источников информации об угрозах, следует отметить больший «традиционализм» казахстанских респондентов, поскольку они чаще предпочитают традиционные коммуникативные каналы — ближний круг, родственников и друзей (42% против 28%), и разговоры в общественных местах (17% против 9%). Лишь каждый четвертый российский и пятый

казахстанский респондент уверенно заявил, что после просмотра информационных и аналитических сообщений у него не возникает чувство тревоги — каждый седьмой испытывает его практически всегда, около 60% — иногда.

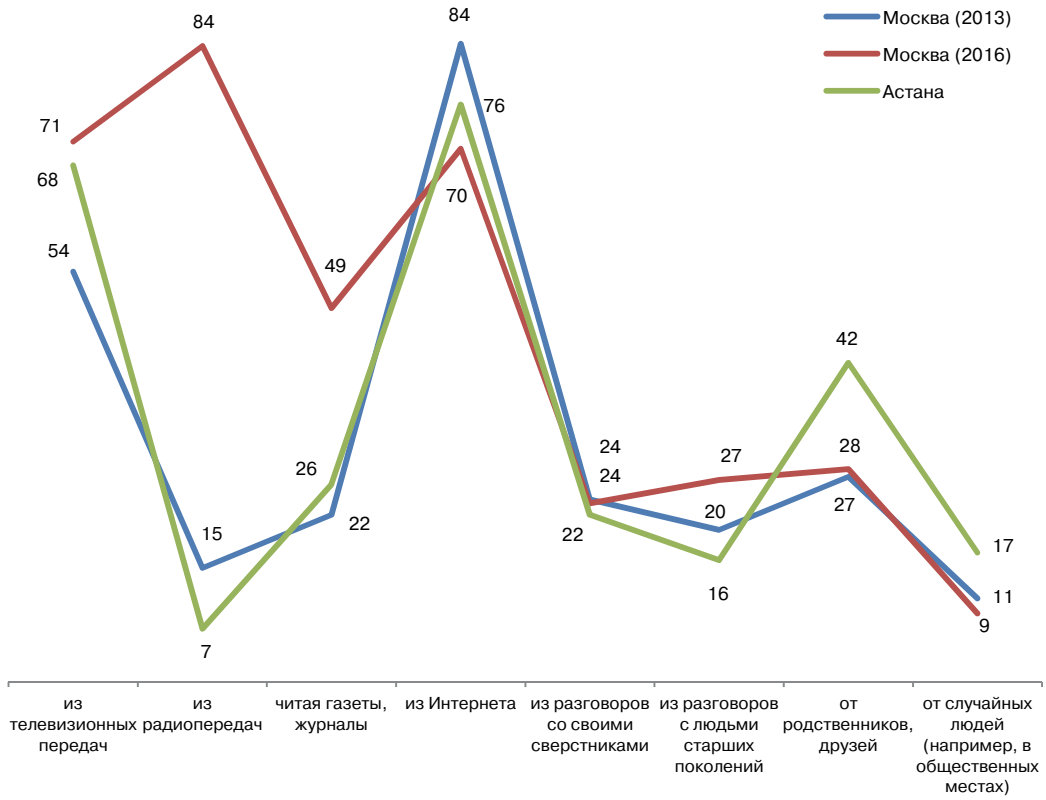

Рис. 3. «Обо всех перечисленных угрозах ты, как правило, узнаешь...» (в %)

Тем не менее, при столь высоком уровне тревожности для студенчества не характерен пессимизм и безрадостный жизненный настрой. В самооценках и восприятии окружающей действительности российские студенты не склонны высказываться консолидировано: треть смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом, треть — спокойно, но без особых надежд и иллюзий, каждый пятый — со страхом и неуверенностью, 7% — со страхом и отчаянием, т.е. пессимистом можно назвать каждого четвертого, но говорить о доминирующем трагически-безрадостном настрое московского студенчества, безусловно, нельзя. Здесь российские респонденты оказались солидарны с чешскими сверстниками: среди них также треть настроена оптимистично, треть — спокойно, каждый четвертый — тревожно-неуверенно (24%), а 4% смотрят в будущее со страхом и отчаянием (итого 28% пессимистично настроенных). В казахстанском опросе распределение ответов иное, чего следовало ожидать, учитывая меньший уровень тревожности

молодежи: большинство (60%) смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом, 26% — спокойно, а пессимистично настроены 14% (2% смотрят в будущее со страхом и отчаянием). Среди казахстанских респондентов выше доля довольных жизнью (сумма вариантов «вполне доволен» и «скорее доволен») — 83%, в московском опросе таковых 64%, а среди чешских студентов, несмотря на схожий с российскими сверстниками взгляд в будущее, 77%, что, видимо, говорит о четком разведении оценок жизни в целом и собственной жизни в частности. Это подтверждает и то, что, несмотря на указанные различия, практически каждый второй во всех трех странах испытывает (часто или иногда) опасения, что может стать неудачником. Спокойное восприятие будущего на фоне высокой озабоченности перспективами личного столкновения с огромным спектром угроз, вероятно, обусловлено тем, что б*о*льшая часть страхов семейно-личного и финансово-экономического характера еще не вполне актуальна для молодежи, а риски социально-политического и стихийно-катастрофического плана воспринимаются как неизбежность вследствие рутинизирующего их медийного «шума».

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) См.: *Троцук И.В.* Мировоззренческие доминанты молодежи: возможности эмпирической фиксации сквозь призму страхов, надежд и опасений // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2013. № 3; *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Репертуар страхов российского студента: по материалам эмпирического проекта // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2013. № 4; *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Страхи и опасения российского студенчества: возможности эмпирической фиксации // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] *Бек У.* Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
[2] *Горшков М.К.* Фобии, угрозы, страхи: социально-психологическое состояние российского общества // Социологические исследования. 2009. № 7.
[3] *Ильясов Ф.Н.* Феномен страха смерти в современном обществе // Социологические исследования. 2010. № 9.
[4] Призрачные угрозы: россиянам не свойственен параноидальный страх перед внешним миром // http://fom.ru/Mir/10097.
[5] Спокойно или тревожно живется россиянам? Россияне о настроениях в стране и среди близких // http://fom.ru/obshchestvo/10367.
[6] Страхи россиян // https://www.levada.ru/2015/08/18/strahi-rossiyan-3.
[7] Рост цен и угроза войны: социологи узнали главные страхи россиян // https://ria.ru/society/20170927/1505641503.html.
[8] *Фрейд З.* Истерия и страх / Пер. с нем. А.М. Боковикова. М.: ООО СТД, 2006.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-284-302

THE SOCIAL WELL-BEING OF THE POST-SOCIALIST COUNTRIES' YOUTH (ON THE EXAMPLE OF RUSSIA, KAZAKHSTAN AND CZECH REPUBLIC): COMPARATIVE ANALYSIS OF FEARS AND HOPES

(Part 2)*

N.P. Narbut, I.V. Trotsuk

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198
(e-mail: narbut_np@rudn.university; trotsuk_iv@rudn.university)

Abstract. The article is the second part of the publication presenting the empirical results of the three-year study conducted by the Sociology Chair of the RUDN University in cooperation with foreign colleagues to compare the worldview priorities of the today's student youth. Due to the article size limitations the authors divided the data into two parts: in the first part, they focused on identifying values of three groups of students, which serve as reference points specifying the social action limits and criteria for assessing events and situations. In the second part, the authors continue to characterize values of the younger generations of the post-socialist countries relying on the empirical data collected with another questionnaire focusing on the students' fears and hopes. In recent decades, the catastrophic/crisis consciousness has been widely studied and social fears were institutionalized as an important subject of sociological analysis. However, value orientations and mass fears are still rarely recognized as interrelated in empirical studies, although real and 'normal' fears (total and routinized in the contemporary risk society in U. Beck's terms) are a key indicator of value orientations even if they are not real but presented as such by the media. Serious modifications of the Russian questionnaire in the Czech and Kazakhstan surveys do not allow for broad comparisons or generalizations; however, the empirical results reveal key life priorities and fears of the students (considering employment, incomes, personal relationship, health, education, etc.), general level of the youth's anxiety, main strategies to overcome uncomfortable situations, and factors that determine anxiety. The authors conclude that (a) the social well-being of the student youth is very ambiguous in all three countries; (b) in general, fears and hopes of the Russian youth are more similar to their Kazakhstan peers; (c) the Czech students are more certain on a number of issues, which proves their stereotypical western individualism as compared to the Russian 'traditionalism'.

Key words: students; youth; fears; hopes; comparative analysis; survey questionnaire

REFERENCES

[1] Beck U. *Obshhestvo riska. Na puti k drugomu modern* [Risk Society: Towards a New Modernity]. Moscow: Progress-Traditsija; 2000 (In Russ.).

[2] Gorshkov M.K. Fobii, ugrozy, strahi: socialno-psihologicheskoe sostojanie rossijskogo obshhestva [Phobias, threats, and fears: The social-psychological state of the Russian society]. *Sociologicheskie Issledovanija*. 2009: 7 (In Russ.).

* © N.P. Narbut, I.V. Trotsuk, 2017.

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities (Russian Foundation for Basic Research). The project No. 15-03-00573 "The social well-being of the youth in post-socialist countries: Comparative analysis (on the example of Russia, Kazakhstan, China, Serbia and Czech Republic)".

[3] Iljasov F.N. Fenomen straha smerti v sovremennom obshhestve [The fear of death in the contemporary society]. *Sociologicheskie Issledovanija*. 2010: 9 (In Russ.).
[4] Prizrachnye ugrozy: rossijanam ne svojstvenen paranoidalnyj strah pered vneshnim mirom [Phantom threats: Russians do not have paranoid fear of the outside world]. http://fom.ru/Mir/10097 (In Russ.).
[5] Spokojno ili trevozhno zhivetsja rossijanam? Rossijane o nastroenijah v strane i sredi blizkih [Are Russians calm or anxious? Estimates of the public mood and the attitudes of one's relatives]. http://fom.ru/obshchestvo/10367 (In Russ.).
[6] Strahi rossijan [Fears of Russians]. https://www.levada.ru/2015/08/18/strahi-rossiyan-3 (In Russ.).
[7] Rost tsen i ugroza vojny: sociologi uznali glavnye strahi rossijan [The rise in prices and the threat of war: Sociologists revealed the main fears of Russians]. https://ria.ru/society/20170927/1505641503.html.
[8] Freud S. *Isterija i strah* [Hysteria and Fear]. Per. s nem. A.M. Bokovikova. Moscow: OOO STD; 2006 (In Russ.).

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 303—317
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-303-317

ДИНАМИКА ВИКТИМИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА*

И.В. Долгорукова, А.В. Кириллов, Ю.Н. Мазаев, Д.К. Танатова, Т.Н. Юдина

Российский государственный социальный университет
ул. Вильгельма Пика, 4-1, Москва, 129226, Россия
(e-mail: DolgorukovaIV@rgsu.net, KirillovAV@rgsu.net, MazaevJUN@rgsu.net, TanatovaDK@rgsu.net, JudinaTN@rgsu.net)

Сегодня в России принимаются серьезные меры для снижения виктимизации, однако в большинстве своем они основаны на анализе лишь официальных источников, что существенно снижает эффективность борьбы с преступностью. Цель представленного в статье исследования — обозначить виктимологические тенденции в России за период 2009—2015 годов. Эмпирической базой работы выступили результаты мониторинга уровня безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, проведенного по заказу Министерства внутренних дел. В 2014—2015 годы мониторинг проводился на базе Российского государственного социального университета. Эмпирическая информация была собрана методом стандартизированного личного интервью по месту жительства респондентов в 85 субъектах Российской Федерации: опрашивалось взрослое население в возрасте старше 18 лет по модели общероссийской комбинированной трехступенчатой выборки домохозяйств. Было опрошено 48 800 респондентов — граждан Российской Федерации, постоянно проживающих по месту регистрации на момент проведения опроса и репрезентирующих взрослое население России по показателям пола, возраста и места жительства (город—село) как для каждого субъекта, так и для Российской Федерации в целом. В статье обозначен уровень виктимизации граждан и структура преступных посягательств, приведен рейтинг распространенности преступных посягательств и динамика обращений граждан, подвергавшихся преступным посягательствам, в органы внутренних дел; вскрыты причины необращения в полицию; рассмотрены показатели обеспокоенности граждан преступными посягательствами на жизнь, здоровье и имущество; представлена динамика криминогенных страхов и социальный портрет жертвы преступных посягательств. Результаты исследования показали значительный рост доли преступлений с применением компьютерных технологий, который практически не отражен в официальных сводках. Основными направлениями предупреждения преступности должно стать совершенствование механизмов ресоциализации потерпевших, снижения виктимности потенциальных жертв, предотвращения рецидивной виктимизации и восстановления социальной справедливости.

Ключевые слова: жертва посягательств; виктимология; виктимизация; виктимологические факторы; социальный портрет жертвы

Преступность — наиболее опасное явление в любом государстве. В нашей стране принимаются серьезные меры для снижения его распространенности, однако в большинстве своем они основаны на анализе официальных административных источников (судебная, полицейская статистика и т.п.) о состоянии пре-

* © Долгорукова И.В., Кириллов А.В., Мазаев Ю.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н., 2017.

Исследование выполнено в рамках Государственного контракта № 83-2014 НПО по теме «Исследование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел (полиции) в 85 субъектах Российской Федерации» по заказу Министерства внутренних дел Российской Федерации.

ступности, но сегодня зарегистрированная преступность слабо отражает реальную криминальную ситуацию, поскольку из анализа исключаются скрытые преступления, которые по международным оценкам составляют порядка 50% всех преступных посягательств. Кроме того, официальная статистика не учитывает отдельно лиц, подвергшихся преступным посягательствам неоднократно, т.е. не отражает тенденции в этой области. Неполнота данных о преступности снижает эффективность борьбы с ней, что актуализирует необходимость оценки всех преступных посягательств, независимо от того, зарегистрированы они официальной статистикой или нет. Обращение к потерпевшим от преступлений (или исследования виктимизации), а не к правонарушителям получило всемирное признание в качестве инструмента, который помогает обществу и государству лучше понять преступность и найти способы ее искоренения, поскольку он предоставляет не только более полные, но и более объективные данные об изменения преступности.

Сегодня отсутствует единый подход к пониманию сущности и показателей виктимизации. Мы полагаем, что для описания этого социального явления целесообразно использовать Руководство по изучению виктимизации ООН, принятое в Женеве в 2010 году. Согласно данному руководству, виктимизация — это преступление (преступное посягательство), которое фиксируется социологическими опросами, и одновременно то, как оно затрагивает конкретного человека (домохозяйство). При изучении преступлений против личности количество виктимизаций соответствует числу потерпевших. Показатель распространенности виктимизации, согласно руководству, — доля населения, пострадавшая от преступлений в заданный период времени [12]. Мы придерживаемся этой трактовки виктимизации, рекомендованной ООН всем международным организациям и государствам, но практически не используемой в России.

Цель нашего исследования — выявление виктимологических тенденций в России за 2009—2015 годы. Масштабные мониторинги уровня безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации проводятся по заказу Министерства внутренних дел не первый год. В 2014—2015 году такая оценка осуществлялась на базе Российского государственного социального университета [4]. Эмпирическая информация была собрана методом стандартизированного личного интервью по месту жительства респондентов в 85 субъектах Российской Федерации. Опрашивалось взрослое население старше 18 лет по модели общероссийской комбинированной трехступенчатой выборки домохозяйств. Общий размер выборки составил 48 800 респондентов: в 11 регионах с численностью населения менее 400 тысяч человек было опрошено по 400 респондентов, в остальных 74 регионах — по 600. Такая конструкция выборки уточняет модель «с равным размещением» и позволяет сравнивать субъекты Федерации. Опрашивались граждане Российской Федерации, постоянно проживающий по месту регистрации на момент исследования: респонденты отбирались в соответствии с половозрастными квотами и контрольными ограничениями по высшему образованию с моделированием случайности на основе правила «ближайшего дня рождения». Опрошенная совокупность репрезентирует взрослое население России по показателям пола, возраста, места жительства (город—село) как для каждого субъекта, так и для Российской Федерации в целом (ошибка выборки не превышает 2,5%).

УРОВЕНЬ ВИКТИМИЗАЦИИ РОССИЯН И ИХ ОПАСЕНИЯ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Результаты мониторингов показывают, что тенденция распространенности виктимизации в российском обществе, наблюдаемая в 2009—2011 годы, резко сменилась в 2012 году, когда был зафиксирован ее рост до 16%. С 2013 года вернулась устойчивая тенденция снижения распространенности виктимизации (рис. 1).

Также отмечается снижение обеспокоенности граждан криминализацией общества — с 63% в 2009 году до 34% в 2015 году, что, очевидно, не может не свидетельствовать и о снижении уровня преступности (рис. 2). Однако эти благоприятные тенденции не имеют устойчивого характера, а общие показатели виктимизации учитывают респондентов, подвергавшихся множественной или повторной виктимизации, лишь один раз. Согласно терминологии ООН виктимизации респондентов, неоднократно подвергавшихся преступным посягательствам в течение заданного периода, не связанные друг с другом, называются «множественными», а аналогичные по характеру или обстоятельствам — повторными (многократными) [12].

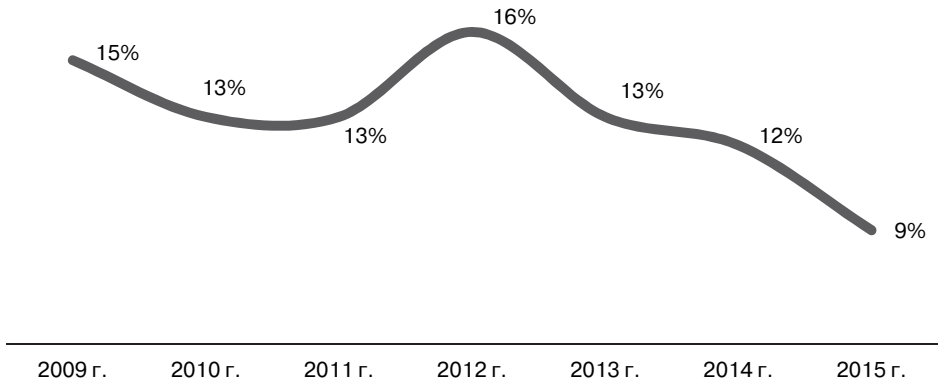

Рис. 1. Уровень виктимизации в России в 2009—2015 гг. (в %)

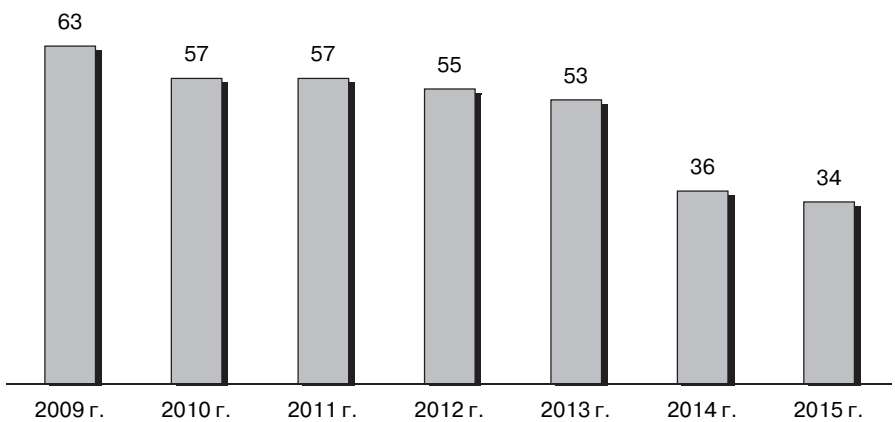

Рис. 2. Динамика обеспокоенности населения криминализацией общества и уровнем преступности (в %)

Показатели обеспокоенности возможными посягательствами на свою жизнь, здоровье и имущество на 5—15% выше у тех респондентов, кто прежде оказывался жертвой преступления. Однако не наблюдается динамика криминогенных страхов как реакции на криминальную активность, т.е. последняя по крайней мере не повышается, и ощущение защищенности граждан от противоправных посягательств достаточно стабильно [21. С. 175]. Это позволяет утверждать, с одной стороны, относительную эффективность деятельности органов внутренних дел по защите личных и имущественных прав граждан от преступных посягательств [5. С. 55], а, с другой стороны, что ощущение опасности в обществе поддерживается рядом объективных (уровень криминализации, социально-экономические условия) и субъективных (ощущение безопасности, личностные особенности восприятия опасности) факторов.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Подразделяя криминальное поведение на множество самостоятельных видов [22], можно отметить, что за семилетний период структура преступных посягательств в отношении граждан не претерпела серьезных изменений (табл. 1), но наблюдаются разнонаправленные изменения по тем или иным видам преступлений. Доля граждан, подвергавшихся преступным посягательствам, превышает 100%, поскольку многие респонденты подвергались преступлениям неоднократно.

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Подвергались ли Вы лично за последние 12 месяцев преступным посягательствам?» (в % от подвергавшихся)

Виды преступных посягательств	Доля подвергавшихся преступным посягательствам в 2015	Рост / снижение по отношению к 2009
Угон авто-и мототранспорта	6	+2
Разбой (с применением насилия или угроз)	4	+1
Кража (из дома, дачи, автомобиля и т.д.)	17	–3
Изнасилование, в том числе попытка, насильственные действия сексуального характера, вовлечение в занятие проституцией	2	+1
Грабеж (открытое хищение имущества)	7	–9
Похищение человека, незаконное лишение свободы	1	–1 к 2014*
Умышленное уничтожение имущества	3	–1 к 2014
Причинение телесных повреждений, побои, истязания	10	–8
Хулиганские действия	18	0
Мошенничество	15	+2
Карманная кража	18	+1
Покушение на убийство	3	+1
Преступления с применением компьютерных технологий (в том числе кража денег с банковских карт)	5	+3
Вымогательство	7	0
Заведомо ложный донос, клевета	3	–1 к 2014
Самоуправство, злоупотребление полномочиями	10	0 к 2014 г.
Принуждение к даче взятки	8	–6

*До 2014 года данные показатели не включались в анкету мониторинга.

Среди преступных посягательств наибольшая доля приходится на хулиганские действия, кражи (из дома, дачи, автомобиля) [2], карманные кражи и мошенничество (от 18% до 15% потерпевших), причем в заданный период (2009—2015), несмотря на предпринимаемые государством меры, не удалось добиться снижения их доли. Довольно распространенны такие преступные посягательства, как причинение телесных повреждений, побои, истязания, а также самоуправство, злоупотребление полномочиями (по 10%), причем пострадавшие не спешат обращаться в полицию, что скрывает их от официальной статистики.

Заслуживает внимания существенный рост преступлений с применением компьютерных технологий (разнообразные мошеннические схемы): вероятен дальнейший рост числа таких преступлений, поскольку нарастает информатизация общества, все шире внедряется технология «умных городов» [24. С. 152—156], наблюдается тенденция сокращения оборота наличных денег. Настораживает то, что наиболее подвержены таким преступным посягательствам специалисты и неработающие пенсионеры, люди с высшим и средним специальным образованием, средним и выше среднего доходом, т.е. средний класс. Это парадоксальный факт, если учитывать его характеристики, включая компьютерную грамотность, владение информационными технологиями, присутствие в интернет-пространстве, общую информированность и профессиональную занятость.

ОСОБЕННОСТИ МНОЖЕСТВЕННОЙ И ПОВТОРНОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ

Для большинства респондентов столкновение с преступным миром является, как правило, единичным событием, однако доля неоднократных преступных посягательств имеет тенденцию к росту — с 29% в 2009 году до 37% — в 2015 году (рис. 3).

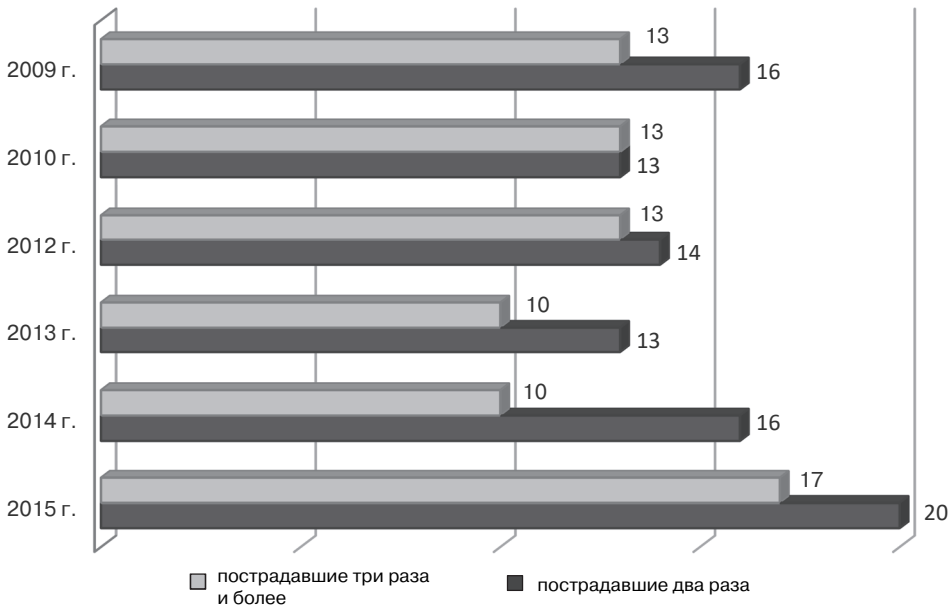

Рис. 3. Динамика повторной виктимизации (в % от пострадавших)

В наибольшей степени повторная виктимизация характерна для таких преступлений, как принуждение к даче взятки и вымогательство, самоуправство и злоупотребление полномочиями. Принадлежность к группе риска во многом определяется личностными особенностями и профессиональной деятельностью. Среди потерпевших высока доля людей старшего возраста, специалистов и служащих, имеющих высшее образование и доход выше среднего. Также значительна доля неоднократно пострадавших от хулиганов и карманников — чаще всего это объясняется близостью, в том числе вынужденной (например, при покупке товаров на рынках и барахолках), к криминогенной среде. Доля граждан, неоднократно пострадавших (дважды, трижды и более раз) от противоправных действий, варьирует по видам преступлений (рис. 4). В основном люди принуждаются к даче взятки, страдают от самоуправства и злоупотреблений полномочиями не менее трех раз, т.е. мы имеем дело с одним из симптомов коррупции, волюнтаризма и бюрократизма.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Подвергались ли Вы лично за последние 12 месяцев преступным посягательствам? Если да, то каким именно, и сколько раз...?» (в % от общего количества жертв преступлений в 2015 году)

Граждан, не обращавшихся в органы внутренних дел, среди подвергшихся множественной и повторной виктимизации, гораздо больше, чем среди пострадавших впервые. Особенно эта тенденция заметна у тех, кто был подвержен преступным посягательствам три и более раза. С одной стороны, это говорит о низком уровне доверия структурам органов внутренних дел, о нежелании быть втянутым в следствие и судебный процесс. С другой стороны, это свидетельство высокого уровня скрытости этих виктимизаций и отсутствия профилактической работы с такими потерпевшими. Органы внутренних дел не берут на учет таких людей, видимо, руководствуясь правилом «Дважды снаряд в одну воронку не попадает», но их, вероятно, берут на учет преступные элементы, видя легкую добычу (согласно поговорке «без лоха и жизнь плоха»). Социальный портрет жертвы неоднократных преступных посягательств таков: специалисты, руководители среднего уровня и индивидуальные предприниматели, имеющие высшее образование и средний или выше среднего доход.

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ В ПОЛИЦИЮ

Как показывают результаты опросов, динамика обращений в полицию граждан, подвергавшихся преступным посягательствам, имеет волнообразный характер (рис. 5). В 2015 году 43% пострадавших обратились в органы внутренних дел, что может свидетельствовать о постепенном возвращении доверия населения (в 2014 году таковых было 36%) [20. С. 141; 18. С. 525].

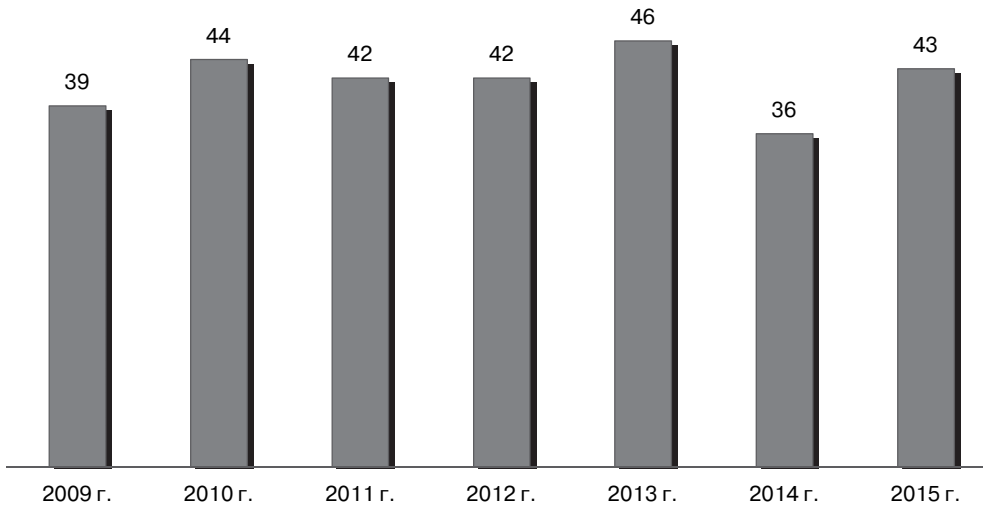

Рис. 5. Динамика обращений граждан в органы внутренних дел
(в % от респондентов, подвергавшихся преступным посягательствам)

В структуре незаявленных деяний, несомненно, преобладают преступления с меньшим уровнем причиненного ущерба: уровень скрытности не зависит прямо от тяжести совершенного преступления, и определяющей категорией выступает

объем ущерба и возможность его возмещения. Практически в 75% случаев предпочитают не ставить полицию в известность о совершенных против них преступлениях пострадавшие от хулиганских действий, мошенничества, карманников, покушения на убийство, преступлений с применением компьютерных технологий (29—35%). В случаях вымогательства, заведомо ложного доноса, клеветы, самоуправства, злоупотребления полномочиями полицию ставят в известность 20—24%. Наконец, исключением, а не правилом является обращение в полицию в случае принуждения к даче взятки (лишь 15%). Среди основных причин необращения в полицию россияне называют: «считал(а), что обращение в органы внутренних дел отнимет много времени и нервов» и «из-за незначительности ущерба» — по 32%; «не верил(а), что органы внутренних дел помогут» — 27%. Несмотря на то, что число обращений в полицию в 2015 году по сравнению с 2014 годом незначительно увеличилось, существенного позитивного сдвига в работе с пострадавшими пока не наблюдается. К сожалению, приходится констатировать, что факт обращения в полицию не снижает, а увеличивает чувство опасности вновь подвергнуться преступным посягательствам.

***

Виктимологические опасения и действия людей в ситуации преступных посягательств все чаще становятся предметом социологических исследований. Сравнительный анализ результатов таких исследований осложняется категориальными разночтениями и отсутствием единой системы показателей, но, тем не менее, представляет научный интерес. Во многом проясняют ситуацию данные статистической отчетности ГИАЦ МВД России, которые указывают на рост с 2009 года криминальной активности лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ранее совершавших преступления (в том числе признанные рецидивистами), а также совершивших преступления в течение года после освобождения. В 2015 году число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 13,3%, наркотического — на 3,2%, число лиц, не имеющих постоянного источника дохода — на 7,4%, лиц, ранее совершавших преступления, — на 8,7%, лиц, совершавших преступления в течение года после освобождения — на 16,6%. Рост криминализации накладывает отпечаток на виктимологическую ситуацию [13].

Наряду со снижением показателей виктимизации населения по субъективным оценкам количество зарегистрированных преступлений, лиц, совершивших преступления, а также потерпевших от преступных посягательств в России увеличилось. Это противоречие объясняется, во-первых, существенным ростом повторной виктимизации, особенно тех, кто подвергался преступным посягательствам три и более раз, во-вторых тем, что потерпевшие стали в 1,2 раза чаще обращаться в полицию. Проблема необращения в полицию при преступных посягательствах изучалась в ходе мониторинговых исследований Фонда «Общественное мнение» [15]. Согласно результатам мониторинга 2014 года более по-

ловины опрошенных могли бы обратиться в полицию в случае мелкой кражи или хулиганства, но среди тех, кто имел реальный опыт обращения в полицию, недовольных результатами больше, чем довольных.

Фонд «Общественный вердикт» и «Левада-центр» проводят регулярные замеры отношения к сотрудникам внутренних дел [8]. Результаты исследования 2014 года показали, что кроме случаев грубейших нарушений их прав респонденты, подвергшиеся преступным посягательствам, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы. 39% опрошенных утверждали, что если они станут жертвами произвола полиции, их никто не сможет защитить. Согласно данным «Левада-центра», уровень виктимных опасений различается по социальным группам, и уровень беспокойства выше в малых городах. В Москве респонденты полагают, что в достаточной мере компетентны и обладают возможностями, чтобы отстаивать свои права в случае правонарушений, хотя конфликтные ситуации между правоохранительными органами и гражданами в столице возникают чаще.

Согласно данным ВЦИОМа, ощущение защищенности от преступных посягательств характерно для половины россиян (46%), но каждый второй (49%) не чувствуют себя защищенными от возможных преступлений [3]. Многим опрошенным за последний год приходилось сталкиваться с теми или иными противоправными действиями полицейских, каждый десятый стал свидетелем случаев бестактного и грубого обращения (11%), использования полицейскими служебного положения в личных целях (8%), взяток (6%) и искажения фактов (7%).

Обследования уровня виктимизации помогают государству и обществу оценить проблему преступности и разработать пути ее действенного решения. Характер и последствия преступной деятельности, а также субъективная оценка людьми своей безопасности прямо и косвенно влияют на качество жизни.

Для разработки программ предупреждения преступности и снижения ее уровня, повышения безопасности и уменьшения страха перед преступностью необходима надежная фактологическая основа, которая может использоваться и для оценки эффективности принимаемых государством мер. Общероссийские оценки виктимизации — ценный источник информации о масштабах и характере преступлений против личности и семьи, об оценках обществом своей безопасности и уровне доверия правоохранительным органам. Как реальные, так и субъективно воспринимаемые риски служат показателями благополучия общества.

Динамика структуры преступлений, выявленная в ходе наших опросов, отличается от официальной статистики, которая не учитывает лиц, подвергавшихся преступным посягательствам неоднократно в течение заданного периода — эта группа ускользает от статистической регистрации, поскольку ее представители предпочитают не обращаться в полицию. Так, результаты исследования показали значительный рост доли преступлений с применением компьютерных технологий, которые слабо отражены в официальных сводках. К тому же попытки совершения этих преступлений, не приведшие к финансовым потерям, не фиксируются полицией даже при обращении потерпевших. На эту тенденцию следует обратить

особое внимание и государственным органам, и общественным организациям: с развитием информатизации общества, распространением электронных и цифровых технологий схемы преступной деятельности меняются, и нужны соответствующие превентивные меры.

Мы также зафиксировали рост повторной виктимизации, особенно среди тех респондентов, которые подвергались преступным посягательствам три и более раз. Среди них и покушения на убийство, и изнасилования, и вымогательства, и кражи, угоны авто- и мототранспорта, и незаконное лишение свободы, и преступления с применением компьютерных технологий (в том числе кража денег с банковских карт). Очевидно, что лица, пострадавшие от этих видов преступлений, должны браться на особый учет в целях проведения с ними профилактической и иной работы.

Среди респондентов с разным уровнем доходов и образованием наиболее подвержены преступным посягательствам специалисты и неработающие пенсионеры, лица, имеющие высшее и среднее специальное образование, средний и выше среднего доход. Виктимологический профиль лиц, пострадавших от преступных посягательств неоднократно, отличается тем, что множественной и повторной виктимизации не так часто подвержены неработающие пенсионеры и лица, имеющие среднее специальное образование. Следовательно, в России средний класс, от которого зависит устойчивость любого общества, наиболее уязвим для преступлений, особенно неоднократных, в то время как официальные источники обычно акцентируют внимание на подверженности преступлениям лишь беднейших слоев.

Основным субъектом профилактической деятельности органов внутренних дел наряду с полицией и сотрудничающих с ней служб (участковые, отделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба и др.) должны стать государственные и общественные организации, причем все они должны иметь свою сферу деятельности в соответствии с типичными для них категориями лиц, подвергающихся профилактическому воздействию. Так, сотрудники полиции должны осуществлять общую и индивидуальную координацию виктимологической профилактики, поскольку умение предотвратить совершение преступлений, изобличить виновных и оказать своевременную помощь жертвам преступлений — обязательные составляющие эффективности ее работы. Важной составляющей виктимологической профилактики должен стать принципиально иной уровень информационной открытости органов внутренних дел в целях общественной оценки их работы, что предполагает постоянный обмен информацией между органами внутренних дел и гражданским обществом.

Основным способом предупреждения преступности должно стать развитие и совершенствование ресоциализации потерпевших, снижение виктимности потенциальных жертв, предотвращение рецидивной виктимизации и восстановление социальной справедливости. Общественное (социально-психологическое) девик-

тимизирующее воздействие может носить характер правовых санкций, педагогического влияния, социальной поддержки и психологической помощи.

Согласно специфике виктимного поведения можно выделить следующие принципы профилактической работы: комплексность (организация воздействия на разных уровнях социального пространства); адресность (учет половозрастных и социальных характеристик); массовость (приоритет групповых форм работы); позитивность информации; личная заинтересованность и ответственность участников; активность личности; устремленность в будущее (оценка последствий поведения, визуализация позитивных ценностей и целей, планирование будущего без виктимного поведения). Можно предложить следующие формы профилактической работы: информирование с целью повышения способности личности к принятию конструктивных решений; активное обучение социально важным навыкам в форме групповых тренингов; организация деятельности, альтернативной виктимному поведению; организация здорового образа жизни; минимизация негативных последствий виктимного поведения, направленная на профилактику рецидивов или их негативных последствий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] *Бормотова Т.М.* Политические механизмы противодействия преступности мигрантов // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 41. С. 40—43.

[2] *Бражников Д.А., Бычков В.В.* Уголовно-правовое и криминологическое противодействие кражам, совершаемым с незаконным проникновением в жилища организованными преступными группами. Серия «Уголовное право». М.: Юрлитинформ, 2014.

[3] Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Доверяет ли общество полиции» (31.10—1.11.2015) // http://posredi.ru/vciom-doveryaet-li-obshhestvo-policii.html.

[4] Исследование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел (полиции) в 85 субъектах Российской Федерации / Малолетко А.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н., Долгорукова И.В. и др. // Отчет о НИР № 83-2015/НПО от 30.09.2014 (ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России).

[5] *Мазаев Ю.Н., Яковлев О.В.* Методические и организационные недостатки ведомственного подхода в изучении общественного мнения о деятельности полиции // Материалы Ивановских чтений. 2015. № 5. С. 166—169.

[6] Мнение граждан о качестве оказания государственных услуг, в том числе о количестве дней и часов приема, необходимых для оказания государственных услуг Министерства внутренних дел Российской Федерации / Малолетко А.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н., Долгорукова И.В. и др. // Отчет о НИР № 83-2015/НПО от 30.09.2014 (ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России).

[7] Мнение граждан об уровне защищенности личных и имущественных интересов от преступных посягательств на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта / Малолетко А.Н., Юдина Т.Н., Танатова Д.К., Долгорукова И.В. и др. // Отчет о НИР № 83-2015/НПО от 30.09.2014 (ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России).

[8] Результаты мониторинга отношения к сотрудникам МВД «Левада-центр» и «Общественный вердикт» за 2004—2014 годы // https://openrussia.org/post/view/778.

[9] Результаты проблемного экспресс-исследования в целях оперативного информационного обеспечения принятия управленческих решений в системе МВД России / Малолетко А.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н., Долгорукова И.В. и др. // Отчет о НИР № 83-2015/НПО от 30.09.2014 (ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД РФ).

[10] *Ривман Д. В.* Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л.: Изд-во Высшего политического училища МВД СССР, 1975.

[11] *Родимушкина О.В.* Оценка незаявленной латентной преступности и ее отдельных видов (по материалам социологических исследований) // Исследования латентной преступности. М.: Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2010.

[12] Руководство по обследованиям виктимизации ООН. Женева, 2010.

[13] Статистическая отчетность ГИАЦ МВД РФ // http://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/6517451.

[14] *Танатова Д.К., Юдина Т.Н., Фролова Е.В., Долгорукова И.В., Родимушкина О.В.* Безопасность личности и виктимные опасения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. XX. № 1. С. 114—127.

[15] «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 октября 2014 // http://fom.ru/posts/11784.

[16] *Франк Л.В.* Виктимология и виктимность. Душанбе: Изд-во Таджикского университета, 1972.

[17] *Франк Л.В.* Потерпевший от преступления и проблемы развития отечественной виктимологии. Душанбе: Ирфон, 1977.

[18] *Фролова Е.В., Медведева Н.В., Сеничева Л.В., Бондалетов В.В.* Защищенность граждан от преступных посягательств в современной России: основные тенденции и детерминанты // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 525—537.

[19] *Черкасов Р.В.* Об основных формах и направлениях использования результатов изучения общественного мнения в деятельности полиции // Современность в творчестве вузовской молодежи. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2013. С. 141—146.

[20] *Черкасов Р.В.* Общественное мнение о деятельности полиции // Вестник Омской юридической академии. 2012. № 18. С. 55—57.

[21] *Черникова И.А., Кузьминский А.Е.* Защищенность граждан от противоправных посягательств (региональный аспект) // Общественное мнение о деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: состояние и перспективы. М., 2015. С. 175—187.

[22] *Шатилович С.Н., Бражников Д.А., Зворыгина С.А. и др.* Научные основы квалификации преступлений. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013.

[23] *Яковлев О.В., Бормотова Т.М., Родимушкина О.В. и др.* Методика комплексной оценки социальной напряженности и протестной активности граждан в субъектах Российской Федерации. М.: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2014.

[24] *Makushkin S.A., Kirillov A.V., Novikov V.S., Shaizhanov M.K., Seidina M.Z.* Role of inclusion “Smart city” concept as a factor in improving the socio-economic performance of the territory // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. No. 6. P. 152—156.

[25] *Mendelsohn B*. The origin of the doctrine of victimology // Excerpta Criminologica. 1963. No. 3. P. 239—244.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-303-317

THE DYNAMICS OF VICTIMIZATION OF THE RUSSIAN POPULATION: A SOCIOLOGICAL EVALUATION*

I.V. Dolgorukova, A.V. Kirillov, Yu.N. Mazaev, D.K. Tanatova, T.N. Yudina

Russian State Social University
Wilhelm Pick St., 4-1, Moscow, 129226, Russia
(e-mail: DolgorukovaIV@rgsu.net, KirillovAV@rgsu.net, MazaevJUN@rgsu.net, TanatovaDK@rgsu.net, JudinaTN@rgsu.net)

Abstract. Today Russia takes serious measures to reduce victimization though most of them are based on the analysis of official sources, which significantly reduces the effectiveness of the fight against crime. The research aims at identifying victimological trends in Russia for the period of 2009—2015. The empirical basis of the work are the results of the monitoring of personal security and activities of the internal affairs bodies of Russia, which was commissioned by the Ministry of Internal Affairs. In 2014—2015, the monitoring was conducted by the Russian State Social University by the standardized personal interview at the respondents' places of residence in 85 subjects of the Russian Federation: the adults aged 18 and over were interviewed according to the all-Russian combined three-stage sample of households. 48,800 respondents were interviewed — citizens of Russia permanently residing at the places of registration at the time of the survey and representing the adult population of Russia by sex, age and place of residence (city-village) for each subject and for the Russian Federation as a whole. The article indicates the general level of victimization and the structure of criminal attacks, the rating of crimes and the dynamics of the victims' recourses to the bodies of internal affairs; the reasons for non-coming to the police; the indicators of citizens' concerns with criminal attacks on life, health and property; the dynamics of crime fears, and the social portrait of the victim. The results of the study reveal a significant increase in the number of crimes involving computer technologies, which is almost not shown by the official statistics. The main ways to prevent crimes should be improvement of the mechanisms for re-socialization of victims, reduction in the potential victimization, prevention of recidivist victimization, and the restoration of social justice.

Key words: victim of attack; victimology; victimization; victimological factors; social portrait of the victim

REFERENCES

[1] Bormotova T.M. Politicheskie mehanizmy protivodejstvija prestupnosti migrantov [Political mechanisms to counteract the crime of migrants]. *Sborniki konferentsij NIC Sociosfera*. 2015: 41: 40—43 (In Russ.).

[2] Brazhnikov D.A., Bychkov V.V. *Ugolovno-pravovoe i kriminologicheskoe protivodejstvie krazham, sovershaemym s nezakonnym proniknoveniem v zhilishha organizovannymi prestupnymi gruppami* [Criminal-legal counteraction to the thefts by illegal entry into the houses by the organized criminal groups]. Serija "Ugolovnoe pravo". Moscow: Jurlitinform; 2014 (In Russ.).

[3] Initsiativnyj vserossijskij opros WCIOM "Doverjaet li obshhestvo politsii" [Initiative Russian survey "Does the society trust the police?" conducted by WCIOM] (31.10—1.11.2015). http://posredi.ru/vciom-doveryaet-li-obshhestvo-policii.html (In Russ.).

* © I.V. Dolgorukova, A.V. Kirillov, Yu.N. Mazaev, D.K. Tanatova, T.N. Yudina, 2017.

The research "Public opinion on the activities of the internal affairs bodies (police) in 85 subjects of the Russian Federation" was carried out under the State Contract No. 83-2014 NGO commissioned by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

[4] Issledovanie obshhestvennogo mnenija o dejatelnosti organov vnutrennih del (politsii) v 85 sub'ektah Rossijskoj Federatsii Public opinion poll on the activity of law enforcement bodies (police) in 85 subjects of the Russian Federation]. Maloletko A.N., Tanatova D.K., Yudina T.N., Dolgorukova I.V. i dr. Otchet o NIR No. 83-2015/NPO ot 30.09.2014 (FKU NPO "Special'naja tehnika i svjaz" MVD Rossii) (In Russ.).

[5] Mazaev Ju.N., Yakovlev O.V. Metodicheskie i organizatsionnye nedostatki vedomstvennogo podhoda v izuchenii obshhestvennogo mnenija o dejatelnosti politsii [Methodological and organizational shortcomings of the department approach to the study of public opinion on the police activity]. *Materialy Ivanovskih chtenij*. 2015. No. 5. P. 166—169 (In Russ.).

[6] Mnenie grazhdan o kachestve okazanija gosudarstvennyh uslug, v tom chisle o kolichestve dnej i chasov priema, neobhodimyh dlja okazanija gosudarstvennyh uslug Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federatsii [Public opinion on the quality of public services including the number of days and hours required to provide government service by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation]. Maloletko A.N., Tanatova D.K., Yudina T.N., Dolgorukova I.V. i dr. Otchet o NIR No. 83-2015/NPO ot 30.09.2014 (FKU NPO "Specialnaja tehnika i svjaz" MVD Rossii) (In Russ.).

[7] Mnenie grazhdan ob urovne zaschishhennosti lichnyh i imushhestvennyh interesov ot prestupnyh posjagatelstv na ob'ektah zheleznodorozhnogo, vodnogo i vozdushnogo transporta [Public opinion on the level of protection of personal and property interests from criminal attacks at railway, water and air transport]. Maloletko A.N., Yudina T.N., Tanatova D.K., Dolgorukova I.V. i dr. Otchet o NIR No. 83-2015/NPO ot 30.09.2014 (FKU NPO "Specialnaja tehnika i svjaz" MVD Rossii) (In Russ.).

[8] Rezultaty monitoringa otnoshenija k sotrudnikam MVD "Levada-centr" i "Obshhestvennyj verdict" za 2004—2014 gody [The results of the monitoring of the attitudes to the employees of the Ministry of Internal Affairs by "Levada Center" and "Public Verdict" in 2004—2014]. https://openrussia.org/post/view/778 (In Russ.).

[9] Rezultaty problemnogo ekspress-issledovanija v tseljah operativnogo informatsionnogo obespechenija prinjatija upravlencheskih reshenij v sisteme MVD Rossii [The results of the express study aimed at prompt information support for making managerial decisions in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. Maloletko A.N., Tanatova D.K., Yudina T.N., Dolgorukova I.V. i dr. Otchet o NIR No. 83-2015/NPO ot 30.09.2014 (FKU NPO "Specialnaja tehnika i svjaz" MVD RF) (In Russ.).

[10] Rivman D. V. *Viktimologicheskie faktory i profilaktika prestuplenij* [Victimological Factors and Prevention of Crimes]. Leningrad: Izd-vo Vysshego politicheskogo uchilischa MVD SSSR; 1975 (In Russ.).

[11] Rodimushkina O.V. Otsenka nezajavlennoj latentnoj prestupnosti i ee otdelnyh vidov (po materialam sociologicheskih issledovanij) [Assessment of the undeclared latent crime and its certain types (based on sociological studies)]. *Issledovanija latentnoj prestupnosti*. Moscow: Akademija Generalnoj prokuratury RF; 2010 (In Russ.).

[12] Rukovodstvo po obsledovanijam viktimizatsii OON [Manual on Victimization Surveys of the United Nations]. Geneva; 2010 (In Russ.).

[13] Statisticheskaja otchetnost GIAC MVD RF [Statistical reports of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation]. http://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/6517451 (In Russ.).

[14] Tanatova D.K., Yudina T.N., Frolova E.V., Dolgorukova I.V., Rodimushkina O.V. Bezopasnost lichnosti i viktimnye opasenija [Personal security and victim fears]. *Zhurnal sociologii i socialnoj antropologii*. 2017: XX (1): 114—127 (In Russ.).

[15] "FOMnibus" — opros grazhdan RF ot 18 let i starshe ["FOMnibus" — a survey of the Russian citizens aged 18 and over]. 19 oktjabrja 2014. http://fom.ru/posts/11784 (In Russ.).

[16] Frank L.V. *Viktimologija i viktimnost* [Victimology and Victimization]. Dushanbe: Izd-vo Tadzhikskogo universiteta; 1972 (In Russ.).

[17] Frank L.V. *Poterpevshij ot prestuplenija i problemy razvitija otechestvennoj viktimologii* [Victim of the crime, and challenges for the development of national victimology]. Dushanbe: Irfon; 1977 (In Russ.).

[18] Frolova E.V., Medvedeva N.V., Senicheva L.V., Bondaletov V.V. Zashhishhennost grazhdan ot prestupnyh posjagatelstv v sovremennoj Rossii: osnovnye tendentsii i determinanty [Protection of citizens from criminal attacks in today's Russia: Key trends and determinants]. *Kriminologicheskij zhurnal Bajkalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava*. 2015: 9 (3): 525—537 (In Russ.).

[19] Cherkasov R.V. Ob osnovnyh formah i napravlenijah ispolzovanija rezultatov izuchenija obshhestvennogo mnenija v dejatelnosti politsii [On the main forms and directions of applying the public opinion polls' results in police activities]. *Sovremennost v tvorchestve vuzovskoj molodezhi*. Irkutsk: FGKOU VPO VSI MVD RF; 2013. P. 141—146 (In Russ.).

[20] Cherkasov R.V. Obshhestvennoe mnenie o dejatelnosti politsii [Public opinion on police activities]. *Vestnik Omskoj juridicheskoj akademii*. 2012: 18: 55—57 (In Russ.).

[21] Chernikova I.A., Kuzminsky A.E. Zaschishhennost grazhdan ot protivopravnyh posjagatelstv (regionalnyj aspekt) [Protection of citizens against unlawful attacks (a regional aspect)]. *Obschestvennoe mnenie o dejatelnosti organov vnutrennih del Rossijskoj Federatsii: sostojanie i perspektivy*. Moscow; 2015. P. 175—187 (In Russ.).

[22] Shatilovich S.N., Brazhnikov D.A., Zvorygina S.A. i dr. *Nauchnye osnovy kvalifikatsii prestuplenij* [Scientific Bases to Qualify Crimes]. Tjumen: Tjumenskij institut povyshenija kvalifikatsii sotrudnikov MVD Rossii; 2013 (In Russ.).

[23] Yakovlev O.V., Bormotova T.M., Rodimushkina O.V. i dr. *Metodika kompleksnoj otsenki socialnoj naprjazhennosti i protestnoj aktivnosti grazhdan v sub'ektah Rossijskoj Federatsii* [The Method of Integrated Assessment of Social Tensions and Protest Activity in the Subjects of the Russian Federation]. Moscow: FGU "VNII MVD Rossii"; 2014 (In Russ.).

[24] Makushkin S.A., Kirillov A.V., Novikov V.S., Shaizhanov M.K., Seidina M.Z. Role of inclusion "Smart city" concept as a factor in improving the socio-economic performance of the territory. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 2016: 6: 152—156.

[25] Mendelsohn B. The origin of the doctrine of victimology. *Excerpta Criminologica*. 1963: 3: 239—244.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 318—333
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-318-333

СОВРЕМЕННОЕ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯМ*

Л.С. Рубан

Институт социально-политических исследований РАН
Ленинский просп., 32-А, Москва, 119991, Россия
(e-mail: lruban@yandex.ru)

В статье рассматривается отношение школьной молодежи к разным видам девиантного поведения (употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению) по результатам крупномасштабного лонгитюдного исследования, проводимого под руководством автором с 1998 года по настоящее время в двенадцати российских регионах: Астрахани и Астраханской области, Грозном, Иваново, Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Москве, Назрани, Нальчике, Пскове и Ставрополе. Исследование не имеет аналогов в нашей стране и за рубежом, будучи частью международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком») и программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации» (автор является создателем и руководителем проекта и программы), в рамках которых в течение тридцати лет проводится мониторинг в школах с полиэтничным составом учащихся. В цели многолетнего мониторинга входит оценка того, как идет формирование ценностей, взглядов и самосознания молодежи в разных регионах Российской Федерации, каков уровень правовой культуры и законопослушания школьников, какова протестная активность и потенциал молодых людей, каким образом можно оказывать соответствующее и своевременное педагогическое воздействие на школьную молодежь для профилактики девиантного поведения и противоправных действий. Результаты опросов, проведенных в рамках программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации» сопоставляются с наработками отечественных и зарубежных исследователей и прошли апробацию на крупных международных научных форумах: на Всемирном Конгрессе политической науки в Берлине (1994), Всемирном Социологическом конгрессе в Монреале (1998), Российских социологических конгрессах (2000, 2008), Гуманитарном форуме «Молодое поколение — жизнь без границ» (2011), Международном Форуме ЮНЕСКО «Диалог как путь к пониманию» (2013), в Неделе науки и образования в интересах мира и развития (2017).

Ключевые слова: лонгитюд; полиэтничный регион; девиантное поведение; протестная активность; конфликтологический мониторинг; система школьного образования; толерантность; предотвращение конфликтов

Данное исследование посвящено оценке уровня правовой культуры школьных учащихся, степени их законопослушания и предрасположенности к девиантному поведению, поэтому, прежде чем будет затронута проблема профилактики отклоняющегося поведения, необходимо уточнить понятия «норма» и «отклонение» («девиация»). «Норма общественного поведения определяет исторически сложившийся в конкретном обществе предел, меру... допустимого (дозволенного или обязательного) поведения и деятельности людей» [3. С. 3]. Общество, его мораль и традиции предоставляют человеку готовые образцы поведения и рецепты дей-

* © Рубан Л.С., 2018.

ствий в типичных обстоятельствах, что придает внутренней жизни человека устойчивость, упорядоченность, стабильность, обеспечивает его уверенность в себе, препятствует неразумному расходованию сил, помогает строить совместную жизнь в обществе на цивилизованных началах.

Выполняя свои функции, общество через институты должно способствовать созданию комфортной среды пребывания в нем индивидов. Не случайно 19 июля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Счастье: целостный подход к развитию», согласно которой уровень счастья является важным показателем развития страны. В основе рассчитываемого с 2006 года Международного индекса счастья (Happy Planet Index) лежат субъективная удовлетворенность жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и ее экологическая составляющая (Россия находится по показателям индекса счастья примерно в середине общего списка стран) [8. С. 53—54].

Когда социальный индивид неудовлетворен действительностью и испытывает социальный дискомфорт, когда игнорируются или не удовлетворяются его жизненные потребности, а социальные институты не выполняют или недостаточно четко выполняют функции по защите граждан, когда нарушается правовое регулирование общественной жизни и его морально-правовое обоснование, в обществе возникают конфликтные ситуации, люди идут на протестные действия и могут применять насилие для защиты своих интересов.

Развивая концепцию относительной депривации для объяснения причин насилия, Т. Гарр указывал, что несогласованность ценностных ожиданий и возможностей (условий, на которые люди рассчитывают) вызывает фрустрацию, т.е. психологическое состояние неудовлетворенности, чувство несправедливости, непреодолимой помехи, препятствующей достижению цели, что порождает у индивидов гнетущее напряжение, тревогу, обиду, отчаяние и гнев [2. С. 35]. Как отмечали Р. Мертон и С. Стоуффер, относительную депривацию люди испытывают, когда, сравнивая свою ситуацию с положением окружающих, приходят к выводу, что их положение более неблагоприятно (по сравнению с их референтной группой или групп, выбранных в качестве образца) [7. С. 492]. Фрустрация может усиливать социальную апатию, доводя индивидов до состояния ступора (пассивная реакция) или протеста и бунта (активная реакция). Любые протестные действия расцениваются в обществе как отклоняющиеся от нормы, т.е. девиации. В статье рассмотрены несколько видов девиантного поведения, наиболее широко распространенные в современном российском обществе.

Кроме того, фрустрационные и депривационные процессы в конфликтной и конфронтационной ситуации могут стать источником массовых психопатогенных явлений (борьба, эмоций, взаимоисключающие настроения и т.п.). Их источником может стать как чувство конфликта, так и блокада сознательного контроля действий в подобной ситуации. Конфронтация — самое радикальное проявление эмоционального напряжения и психической активности, которое может перерасти в коллективный психоз [11. С. 175].

Последствия неразрешенных конфликтов между личностью и обществом, в основе которых лежит отторжение индивида социумом, — страхи, состояние

обездоленности и безысходности, социальная изоляция. Они приводят к депривации личности, депрессивным состояниям и нервным срывам вплоть до суицида.

Таким образом, изучение фрустрации и депривации важно не только само по себе, но и в целях формирования у населения устойчивых форм реакции на фрустрирующую ситуацию, развития устойчивости к фрустраторам на основе адекватной их оценки и поиска выхода из ситуации, предотвращения агрессивных действий (в том числе аутоагрессии — суицида) посредством адекватной интерпретации намерений и действий окружающих.

Неопределенность критериев и границ дозволенного, отсутствие четких мер ответственности за содеянное способствует расширению масштабов отклоняющегося поведения, приводит к противоправным поступкам и разного рода девиациям. В самой острой форме отклоняющееся поведение — это преступность, посягательство на социально-политические и нравственные устои общества, личную безопасность и благополучие граждан. Преступность представляет собой наибольшую угрозу для стабильности и безопасности общества и личности, так как социальное влияние преступного мира, его давление на общество посредством распространения своей морали меняет систему ценностей людей, создает предпосылки для законопослушания, утверждения своеволия, права сильного и жестокого [3. С. 6].

Согласно концепции Р. Инглхарта в современном обществе происходит «дрейф ценностей», но, хотя социально-экономическое развитие оборачивается предсказуемыми изменениями в мировоззрении людей, культурные традиции также накладывают отпечаток на бытующие в обществе представления мировоззренческого характера, т.е. исторические факторы сохраняют свое значение, но доминирующие ценностные ориентации являются «продуктом взаимодействия движущих сил модернизации и сдерживающего влияния традиций» [5. С. 16]. Схожего мнения придерживается Р.Г. Абдулатипов: «Личный успех, поощрение инициативы, повышение качества общественной дискуссии, нетерпимость к коррупции, открытость всему миру, уважение к человеческому достоинству должны стать частью нашей общенациональной культуры, качественной характеристикой культурной среды. Вектор „голого экономического прагматизма и меркантилизма“ обрекает человека и общество на деградацию, и только культура как уклад жизни способна обеспечить внутреннее равновесие общества и его устремленность к самосовершенствованию и совершенствованию человека, а значит и среды его обитания» [1. С. 8—9].

Ряд отечественных исследователей критично оценивает состояние моральных и культурных ценностей в современном обществе, базируясь на результатах опросов взрослого населения Российской Федерации последних лет [8. С. 284]. Как показали опросы Левада-Центра «Молодежь России» в 2010—2011 годы, молодежь, как и большинство населения страны, была лишена чувства стабильности и не имела ясного представления о своем будущем: 22% респондентов заявляли о неуверенности в завтрашнем дне; 15% испытывали «ощущение пустоты» и «отсутствие идеалов»; только 6% могли ясно представить свое будущее более чем на пять лет вперед, лишь одна пятая видела его на год-два вперед [8. С. 10].

Уже в 1980-е годы отечественные и зарубежные исследования показывали, что в обществе произошли крупные изменения в системе ценностей: уважение к понятиям долга и одобрения, таким как «дисциплина», «послушание», «выполнение долга», «подчинение», «самообладание», «скромность», «бескорыстие», «самоотверженность» и «покладистость», значительно ослабло. И, напротив, к ценностям, относящимся к сфере самореализации, таким, как «свобода» (в том числе от авторитетов), «признание» (личности), «автономия» (отдельного человека), «удовлетворение эмоциональных потребностей», «самореализация» (в деятельности и личной жизни), «раскованность», «самостоятельность» и «личная неприкосновенность» значительно возросло [6. С. 180—190].

Так как результатом социализации является готовность личности к определенному способу действий, в нашем исследовании мы рассмотрели итоги воспитания социально значимых черт, пытаясь смоделировать социальное поведение личности через изучение мотивов действий. Одной из главных жизненных потребностей человека является потребность в безопасности, поэтому в исследовании оценивался ее уровень в нашей стране через степень удовлетворенности респондентов этим показателем собственной жизни. Результаты опросов школьников с 1998 по 2017 годы показали, что уровень безопасности в стране оценивался молодежью негативно (табл. 1).

Таблица 1

Оценка уровня безопасности в стране (в %)

Города/годы	Безопасности нет	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Астрахань, 1996		81	9	6
1998		80		5
2001		72	14	5
2005	9	44		29
2008	3	31	20	32
2011	8	44	29	11
2016	5	19	35	32
Барнаул, 2009	9	34	29	19
2017	3	26	37	26
Грозный, 2002	50	38		
2005	16	50	21	
Иваново, 2005	17	42		26
Краснодар, 2001	4	58	14	14
Майкоп, 1999	2	64	17	7
Махачкала, 2002	8	42	25	15
Москва, 1998	20	57	17	2
2001	11	58	18	3
2007	15	56	3	18
2011		48	35	6
2016	2	24	40	32
Назрань, 2001	14	57	7	21
2002	53	26	5	14
2005	13	42	21	8
Нальчик, 2002	3	7	40	10
Псков, 1998		92		
Ставрополь, 2002	12	46	20	8

На протяжении всего периода опросов в двенадцати регионах среди респондентов-школьников в личной безопасности были уверены немногие (табл. 2).

Таблица 2

Оценка школьниками обеспеченности личной безопасности (в %)

Города/годы		Личная безопасность обеспечена			
		полностью	частично	не обеспечена	не ответили
Астрахань,	1996	3	15	77	5
	1998	5	9	74	13
	2001	8	12	73	7
	2005	20	1	76	3
	2008	37	16	43	4
	2011	37		57	6
	2016	49 — в той или иной мере		49	2
Барнаул,	2009	30	12	57	1
	2017	46 — в той или иной мере		52	2
Грозный,	2002			100	
	2005			97	3
Иваново,	2005	20		80	
Краснодар,	2001	8	6	81	5
Майкоп,	1999	14	13	71	2
Махачкала,	2002	13	18	61	8
Москва,	1998	12	13	74	1
	2001	19	9	68	4
	2007	13	10	77	
	2011	17		73	10
	2016	47 — в той или иной мере		53	
Назрань,	2001	14	7	79	
	2002	2	2	67	29
	2005	13	4	58	25
Нальчик,	2002	10	12	75	3
Псков,	1998	6	15	79	
Ставрополь,	2002	13	3	68	16

Ответы на вопрос «Какие силы служат гарантом безопасности?» можно объединить в следующие группы (табл. 3—4):

1) государство и государственные структуры,
2) самозащита,
3) никто не охраняет,
4) криминальные структуры,
5) отсутствие ответа.

2% школьников из Нальчика в 2001/2002 учебном году отметили, что меры по стабилизации обстановки принимаются обычно после очередного чрезвычайного происшествия, в то время как залогом безопасности — как внутренней, так и внешней — служит мир с другими странами и народами.

Таблица 3

Государственные гаранты безопасности (в %)

Города/годы		Милиция/полиция	Вооруженные силы	ФСБ	Государство	Закон	ГИБДД	МЧС	Пожарные	Скорая помощь	Спасатели	Оружие
Астрахань,	1998	49	13	15	1	3						
	2001	62	27	29		3	5					
	2005	27	14	5			2	4	4	2	1	1
	2008	34	36	9	1		6	10	7	7		
	2011										1	
	2016	37	27	18	4	1		5			1	
Барнаул,	2009	36	24	10	2			7	1	1		
	2017	33	16	17	4	3						
Грозный,	2002	2			8							
	2005	25			13							4
Иваново,	2005	29	9	4			1	4				1
Краснодар,	2001	34	19	17	2		2					
Майкоп,	1999	56	16	16	6	1						
Махачкала,	2002	65	5	13		2	3	3				6
Москва,	1998	26	9	4	1	2		1				
	2001	37	8	6	8	1						
	2007	23	5	6		1	1		2	2		
	2011	27	10									
	2016	35	17	10	11	11		2	2	2		
Назрань,	2001	32	11									
	2002	53	14	7	4	4	4	4				
	2005	33	8									
Нальчик,	2002	62	25	18	12		31					18
Псков,	1999	49	18	16								
Ставрополь,	2002	39	25	7	2		3	7				

Таблица 4

Иные гаранты безопасности и ее отсутствие (в %)

Города / годы		самозащита	никто не охраняет	криминальные структуры	не знают
Астрахань,	1998	9	32		14
	2001				
	2005	6	10	2	17
	2008	4	5		14
	2011	5	8		21
	2016	3	7	1	21
Барнаул,	2009	11	10	2	3
	2017	3	10	2	16
Грозный,	2002	8	58		12
	2005	6	44		6
Иваново,	2005	2	17		27
Краснодар,	2001	5	20	2	10
Майкоп,	1999	4	19		5
Махачкала,	2002	1	10		7
Москва,	1998	10	28		12
	2001	9	20	2	13
	2007	10	26	4	28
	2011	9	35	2	19
	2016	12	8		12
Назрань,	2001	18	25		
	2002	2	39		5
	2005		38		
Нальчик,	2002	12	4	1	2
Псков,	1998	9	22		11
Ставрополь,	2002	5	20		10

Ответы школьников о силах, дестабилизирующих обстановку в стране и нарушающих безопасность граждан, можно сгруппировать следующим образом (табл. 5—8):

1) преступность и ее составляющие,

2) государственные структуры,

3) внутренние дестабилизирующие политические и социально-экономические факторы,

4) обострение межнациональных отношений.

Таблица 5

Преступность и ее составляющие (в %)

Города / годы		Преступность	Организованная преступность	Неорганизованная преступность	Преступники	Наркоманы и наркоторговцы	Террористы-экстремисты	Профашистские организации	Коррупция
Астрахань,	1998	68	39	2		14	34	15	1
	2001	64	27		37	4	7	2	4
	2005	50*	24	2	24	7	22	4	
	2008	9	9	2		4	16		
	2011	7			4	3	17		
	2016			2	2		15	3	
Барнаул,	2009	20	12	8	8	1	20	5	5
	2017	7	3	4			25		7
Грозный,	2002	25	8				13		4
	2005	56	56				3		
Иваново,	2005	56	6	3			34		
Краснодар,	2001	45	9		2	3	29		
Майкоп,	1999	33	29	1			4	1	7
Махачкала,	2002	73	10	4	18	4	41	2	1
Москва,	1998	41	1		6			4	4
	2001	29	29	4	5	4	9	1	1
	2007	35	32	5	15	4	17	10	2
	2011				4		9	11	5
	2016	4	3		4		27*	2	
Назрань,	2001	40	4			7	18		1
	2002	30				2	26		2
	2005	37					37		
Нальчик,	2002	89	15	4	6	3	59	1	1
Псков,	1998	23	33				5		
Ставрополь,	2002	67	13	3	15	5	25	5	1

*В 2004/2005 учебном году в Иваново 13% и в Астрахани 5% указали, что сегодня опасность может представлять любой человек.

**Из них: террористы — 18%, экстремисты 9%.

Таблица 6

Государственные структуры (в %)

Города / годы		милиция / полиция	ВС	ФСБ	власти	чиновники	ядерное оружие
Астрахань,	1998	13	3				
	2001	10	2		4		
	2005	4		3	6		2
	2008	7	7	1	5	2	
	2011	19			2		
	2016	6	4				

Продолжение таблицы 6

Города / годы		милиция / полиция	ВС	ФСБ	власти	чиновники	ядерное оружие
Барнаул,	2009	1	5		3	5	
	2017	1	2	3	6		
Грозный,	2002	4	33	29	21	8	
	2005		12				
Иваново,	2005	1					1
Краснодар,	2001	3	3				
Майкоп,	1999	9	6				
Махачкала,	2002	1			2		
Москва,	1998	10			4	1	
	2001	9			9		
	2007	15			11	1	
	2011	13			13		
	2016	4			16		
Назрань,	2001				29		
	2002	5		9	7		
	2005		4	8			
Нальчик,	2002	4			2		1
Псков,	1998	3			6		
Ставрополь,	2002	1	2	1	5		

Таблица 7

Внутренние дестабилизирующие политические и социально-экономические факторы (в %)

Города / годы		Деятельность политиков и политических партий	Социальное расслоение	Возможный социальный взрыв	Экономический кризис	Мигранты	Сами люди	Не знают	Затрудняются ответить
Астрахань,	1998	5	10						
	2001	2	1						
	2005								
	2008	7							
	2011		2		4	1	2		
	2016	2			2	2	6	38	8
Барнаул,	2009	13							
	2017	14					4	16	3
Грозный,	2002	12	4						
	2005								
Иваново,	2005								
Краснодар,	2001	9	2						
Майкоп,	999	7							
Махачкала,	2002	2	2						
Москва,	1998	6	12	3					
	2001	11							
	2007	12							
	2011	13	1			3	5		
	2016	8	3		2	2	3		
Назрань,	2001	7	2						
	2002	4							
	2005	1							
Нальчик,	2002	2							
Псков,	1998	6	2						
Ставрополь,	2002	1							

Таблица 8

Обострение межнациональных отношений (в %)

Города / годы		Националисты (РНЕ)	Межнациональные конфликты	Незаконные военные формирования	Религиозные экстремисты	Люди другой национальности
Астрахань,	1998	11	2		11	
	2001		3	11		
	2005	8	5		3	5
	2008			1		
	2011	4	3			2
	2016	1	4		5	2
Барнаул,	2009	5		2	1	
	2017	4			1	
Грозный,	2002					
	2005	3				
Иваново,	2005	1			1	1
Краснодар,	2002		9	10		
Майкоп,	1999	21				
Махачкала,	2002	9		6	16	
Москва,	1998	2	1		2	
	2001	4			4	
	2007	21		18		7
	2011	19				3
	2016	13	2		3	
Назрань,	2001			11		
	2002					
	2005	8				
Нальчик,	2002	3	2	2	39	
Псков,	1998	1				
Ставрополь,	2002	13	5	10	9	

Среди ответов школьников в Грозном в 2002 году встречались и такие: «любые вооруженные силы для мирного населения являются источником опасности» и «для нас источником опасности является Россия» (по 4%); 21% грозненских школьников полагали, что для мирного населения действия властей всех уровней таят опасность. Также 4% учащихся в Грозном указали, что в роли дестабилизирующего фактора выступают те, кто незаконно присвоил собственность, принадлежавшую ранее государству; а 2% ингушских учащихся и 1% учащихся в Москве в 2007 году отметили, что источником опасности являются олигархи и финансовые группы, которые, чтобы привести к власти своего человека, используют абсолютно все средства, в том числе локальные войны.

Если государство не в полной мере справляется со своей функцией обеспечения безопасности населения, это приводит к выработке у индивидов чувства незащищенности и социального дискомфорта. В качестве ответной реакции у молодых людей формируется установка на несоблюдение правовых норм, противоправные поступки и действия экстремистской направленности. Кроме того, ряд телепередач — игровых и документальных — могут быть квалифицированы как пропагандирующие насилие и вызывающие национальную неприязнь.

Изменение ценностных приоритетов привело к изменению поведения многих молодых людей. Смена коллективистских установок на индивидуализм, жесткий

прагматизм, утрата гуманистических идеалов, норм и чувства ответственности, а также негативное влияние средств массовой информации, часто позитивизирующих отрицательные явления и поступки и даже героизирующих криминалитет, насаждающих культ силы и жестокости, приводят к криминализации молодых людей, которые становятся социально опасными и представляют угрозу обществу. Имеют место жестокие избиения школьниками (причем из благополучных и обеспеченных полных семей) своих одноклассников (с корыстными целями или немотивированно), беспомощных стариков и детей, что было просто невозможно представить в предшествующий советский период.

Некоторые молодые люди утрачивают всякие моральные ограничения и не останавливаются перед убийством. В качестве примера можно привести группу «молоточников» из Новосибирска, жертвами которой стали несколько десятков детей, стариков, женщин, или когда в феврале 2008 года в городе Кольчугино Владимирской области пьяные подростки, избив и ограбив молодого рабочего, заживо сожгли его в газовом сопле Вечного огня на центральной площади [9].

Исчерпывающее описание проблемы экстремизма и жестокости в молодежной среде представлено в работе В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок «Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции».

Авторы полагают, что распространение молодежного экстремизма — одна из острейших проблем современной России: в стране растет количество преступлений, совершаемых молодежью, насилие приобретает все большие масштабы и становится все более организованным. Но ужесточение наказания за экстремизм не решает проблемы, поэтому нужно бороться, в первую очередь, с его причинами [10. С. 37—46].

Авторы подчеркивают, что в ситуации социальной неопределенности, нестабильности и напряженности экстремальность молодежи может обрести спонтанные проявления. Отдельные политические силы и общественные структуры стремятся использовать молодежь в своих целях, подстрекая и провоцируя на экстремистские действия, используя сбои в деятельности социальных институтов, которые должны обеспечивать безопасность граждан и противодействовать экстремизму — отсюда преимущественно групповой характер молодежного экстремизма, а спонтанность и непредсказуемость придают ему особую общественную опасность [4. С. 96].

Наши социологические опросы школьной молодежи показывают, что при недостаточной сформированности у молодых людей правовой культуры и принципов законопослушания установку на неисполнение законов имеют от 31% до 81% опрошенных в разных регионах, из них: нетвердую установку — от 6% до 36% (в зависимости от обстоятельств закон можно обойти; исполнять его необязательно, если он приносит вред или несправедлив; исполнение или неисполнение закона зависит от меры ответственности и наказания за нарушение); твердую установку — от 17% до 75%; установку на однозначное выполнение законов — от 13% до 55% («закон нужно исполнять всегда, это обязательно, так как мы же живем в цивилизованном обществе») (табл. 9).

Таблица 9

Уровень законопослушания школьников (в %)

Города / годы		Установка на неисполнение закона			Установка на исполнение закона
		всего	твердая	в зависимости от обстоятельств	
Астрахань,	1998	58	22	36	34
	2001	32	18	15	36
	2005	58	37	21	44
	2008	35	25	10	56
	2011	50	40	10	38
	2016	64	60	4	30
Барнаул,	2009	48	34	14	43
	2017	33	24	9	57
Грозный,	2002	50	33	17	33
	2005	81	75	6	13
Иваново,	2005	45	24	21	42
Краснодар,	2001	41	26	15	42
Майкоп,	1999	51	24	27	47
Махачкала,	2002	40	19	21	54
Москва,	1998	54	24	33	38
	2001	61	36	25	35
	2007	59	43	16	28
	2011	46	29	17	47
	2016	38	28	10	50
Назрань,	2001	54	25	29	39
	2002	49	47	2	47
	2005	54	25	29	33
Нальчик,	2002	31	17	14	55
Псков,	1998	39	22	17	52
Ставрополь,	2002	49	32	17	40

Кроме того, в ходе опросов в рамках программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации» изучалась предрасположенность школьников к разным видам отклоняющегося поведения, а именно отношение к алкоголизму, табакокурению и наркомании, а также к приверженцам этих видов девиации (табл. 10—12). С 1990-х годов в России, согласно статистическим данным, до 50% населения находится в алкогольной зависимости, поэтому, чтобы предотвратить назревшую социальную катастрофу, необходимо формирование соответствующего отношения населения и, в первую очередь, молодежи, к отклоняющемуся поведению.

Таблица 10

Отношение к алкоголизму и людям, употребляющим алкоголь (в %)

Города / годы		Относятся к алкоголизму и людям, употребляющим алкоголь			
		отрицательно	равнодушно	терпимо, нормально	положительно
Астрахань,	1998	54		36	10
	2001	62		37	11
	2005	49	3	21	6
	2008	59	9	13*	16
	2011	62	35	2	
	2016	55	28	8	6
Барнаул,	2009	31	6	39*	22
	2017	42	8	45	5

Окончание таблицы 10

Города / годы		Относятся к алкоголизму и людям, употребляющим алкоголь			
		отрицательно	равнодушно	терпимо, нормально	положительно
Грозный,	2002	63		21	4
	2005	100			
Иваново,	2005	48	22	30*	
Краснодар,	2001	57	38	7	
Майкоп,	1999	57	33	2	
Махачкала,	2002	83	13	4	
Москва,	1998	33		63	3
	2001	23	12	18	8
	2007	24	12	33	5
	2011	20		58	4
	2016	19	8	62	10
Назрань,	2001	75	18	7	
	2002	95	5		
	2005	79	4	4*	4
Нальчик,	2002	73		26	
Псков,	1998	58		29	1
Ставрополь,	2002	52		48	

*Смотря сколько употребляют, если в меру и по праздникам, то нормально: в 2005 году в Назрани — 4%, в Иваново — 1%, в 2008 году в Астрахани — 6%, в 2009 году в Барнауле — 39%.

Таблица 11

Отношение табакокурению и курящим людям (в %)

Города / годы		Относятся к табакокурению и курящим людям			
		отрицательно	равнодушно	терпимо, нормально	положительно
Астрахань,	1998	46		25	29
	2001	41		17	5
	2005	44	8	45	3
	2008	48	13	3	38
	2011	64	32	1	
	2016	51	33	6	5
Барнаул,	2009	31	4	9	45
	2017	56	3	39	2
Грозный,	2002	54		25	17
	2005	63	3	31	
Иваново,	2005	37	24	35*	
Краснодар,	2001	41		43	7
Майкоп,	1999	45		36	6
Махачкала,	2002	74		5	17
Москва,	1998	18		17	5
	2001	29		39	8
	2007	14	8	56	7
	2011	15		37	
	2016	31	6	58	5
Назрань,	2001	61		11	29
	2002	95	8	2	2
	2005	58		21	
Нальчик,	2002	66		32	1
Псков,	1998	42		18	3
Ставрополь,	2002	47		30	2

*Из них ответили: «Сам курю»: в 2005 году в Астрахани — 3%, в Назрани — 4% и в Иваново — 4%; в 2009 году в Барнауле — 30% , в 2017 году — 2%.

Таблица 12

Отношение к людям, употребляющим наркотики (в %)

Города / годы		Относятся к употребляющим наркотики				
		отрицательно	равнодушно	терпимо	с жалостью	положительно
Астрахань,	1998	95				
	2001	94				
	2005	95	4			1*
	2008	94	2		2	2*
	2011	79	14		4	
	2016	88	2	4	2	2
Барнаул,	2009	85	8		1	4*
	2017	87	3	8		2
Грозный,	2002	92		8		
	2005	88			12	
Иваново,	2005	90	4		6	
Краснодар,	2001	91		6		
Майкоп,	1999	59		5		
Махачкала,	2002	92		7		
Москва,	1998	65		21		
	2001	76		20		1
	2007	68	8	4	20	
	2011	63		20	9	
	2016	64	6	24	2	4
Назрань,	2001	75		21		
	2002	100				
	2005	83			4	
Нальчик,	2002	88		12		
Псков,	1999	76		5		
Ставрополь,	2002	90		8		

*В Астрахани в 2005 году 1% отметили «они крутые», а в 2008 году 2% ответили «уважаю», «это класс!», хотя сами не употребляют наркотики.

В Барнауле в 2009 году 1% ответили, что относится к ним с завистью. Кроме того, настораживает тот факт, что в 2009 и в 2017 годы 3% барнаульских школьников указали, что употребляли наркотики.

Итак, если к наркомании и наркоманам у подавляющего большинства школьной молодежи однозначно негативное отношение, то к употреблению алкоголя и табакокурению отношение скорее терпимое или даже положительное. Значительная часть молодежи воспринимает алкоголь и сигареты как атрибут взрослости, самостоятельности, как средство самоутверждения среди сверстников, что во многом обусловлено сужением доступной культурной и спортивной досуговой сферы, сокращением числа притагательных молодежных организаций позитивной направленности, недостаточной пропагандой здорового образа жизни и соответствующего воспитательного воздействия представителей старшего поколения. Названные факторы нашли отражение в ответах учащихся всех регионов, где проводились опросы. Кроме того, школьники охарактеризовали употребление алкоголя и табака, с одной стороны, как пагубную привычку, с другой — как болезнь. Часть учащихся отметила, что данные явления — следствие развития современного общества, в котором девиантность выполняет определенную компенсаторную функцию как средство ухода от действительности.

Опрос в Барнауле в 2017 году показал действенность антиникотиновой программы и закона против курения. Среди опрошенных барнаульских школьников на 25% возросло количество ответов об отрицательном отношении к табакоку-

рению и курильщикам, на 43% снизилось положительное отношение к таковым, но в то же время доля терпимо относящихся к табакокурению и курящим людям увеличилась на 30% и достигла 39%. В таблице 13 зафиксирован рост числа учащихся, не употребляющих и никогда не употреблявших алкоголь, табачные изделия и наркотики: в Москве до 42% (рост на 24%), в Астрахани — до 60% в 2008 году (рост на 30%), 61% — в 2011 и 64% — в 2016 году, в Барнауле — до 49% (рост на 33%). Ранее такой высокий результат был характерен только для регионов с доминирующим мусульманским составом населения: в Грозном — 94%, Махачкале — 74%, Нальчике — 73% и Назрани — 71%.

Таблица 13

Употребление—неупотребление учащимися в возрасте до 18 лет табачных изделий, алкоголя и наркотиков (в %)

Города / годы		Употребляли в возрасте до 18 лет			Не употребляли ничего
		алкоголь	табачные изделия	наркотики	
Астрахань,	1998	54	30		23
	2001	53	23		36
	2005	67	60	4	30
	2008	32	31	2	60
	2011	31	22		61
	2016	33	21	3	64
Барнаул,	2009	77	53	3	16
	2017	51	22	3	49
Грозный,	2002	21	17		75
	2005		6		94
Иваново,	2005	44	27		44
Краснодар,	2001	75	56	7	17
Майкоп,	1999	62	35	1	29
Махачкала,	2002	24	14	1	74
Москва,	1998	78	63	10	10
	2001	84	60	6	11
	2007	91	51	3	8
	2011	78	58	4	18
	2016	57	36		42
Назрань,	2001	36	21		57
	2002	37	20		56
	2005	4	8	4	71
Нальчик,	2002	25	10	1	73
Псков,	1998	63	46	11	20
Ставрополь,	2002	74	39	2	21

Для эффективной социализации в обществе должен быть задействован целый ряд социальных институтов. Однако в настоящее время регулирование потребности в самоидентификации личности и привитие ей норм, ценностных установок и правил поведения в большей степени осуществляется семьей и кругом друзей (которым выполнение этой задачи часто оказывается не под силу), чем государственными организациями, а ведь социальные институты не только должны удовлетворять определенные потребности и интересы людей, но и формировать таковые. В идеале социальные институты должны формировать нормативные установки и образцы социальной деятельности, указывая границы допустимого и недозволенного — ограничивая свободу действий, определяя поведение, не укладывающееся в общепринятые нормы как отклоняющееся и прибегая при необходимости к принуждению для его пресечения, т.е. к частичному ограниче-

нию свободы. С другой стороны, социальные институты должны обеспечивать реализацию свободы — ведь наибольшую устойчивость нормы, ценности и представления, декларируемые социальными институтами, обретают только через интериоризацию индивидами, утрачивая свой внешний и принудительный характер.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] *Абдулатипов Р.Г.* Ресурсы культуры и проектирование будущего. М., 2011.
[2] *Гарр Т.Р.* Почему люди бунтуют? СПб., 2005.
[3] Девиантное поведение в России: проблемы и перспективы исследования. М., 1994.
[4] *Иванов В.Н.* Люди и годы (записки социолога). М., 2016.
[5] *Инглхарт Р., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Пер. с англ. М., 2011.
[6] Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии // XI Всемирный социологический конгресс. Ч. 1. М., 1986.
[7] *Осадчая Г.И.* Социокультурные характеристики повседневных практик России. М., 2013.
[8] Российское общество и вызовы времени / Под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М., 2015.
[9] Российские подростки заживо сожгли прохожего на Вечном огне. 7.02.2008 // http://korrespondent.net/world/russia/368604-rossiiskie-podrostki-zazhivo-sozhgli-prohozhego-na-vechnom-ogne/.
[10] *Зубок Ю.А., Чупров В.И.* Молодежный экстремизм: сущность и особенности проявления // Социологические исследования. 2008. № 4.
[11] Элементы социологии политики. Ростов-на-Дону, 1991.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-318-333

TODAY'S DEVIANT BEHAVIOR, AND THE YOUTHS' ATTITUDES TO ITS MANIFESTATIONS*

L.S. Ruban

Institute of Social-Political Studies of the Russian Academy of Science
Leninsky Prosp., 32A, Moscow, 119991, Russia
(e-mail: lruban@yandex.ru)

Abstract. The article considers the attitudes of the school youth to different types of deviant behavior (alcohol, drugs, and smoking) based on the results of the longitudinal study conducted under the guidance of the author from 1998 to the present in twelve Russian regions: Astrakhan and the Astrakhan Region, Grozny, Ivanovo, Krasnodar, Maykop, Makhachkala, Moscow, Nazran, Nalchik, Pskov, and Stavropol. This study has no analogues in Russia or abroad being a part of the international project "Dialogue partnership as a factor of stability and integration" ("Bridge between East and West") and of the program "Youth in poly-ethnic regions: Views, attitudes, and orientations" (the author is the initiator and head of the project and program) that for thirty years have monitored schools with a multi-ethnic composition of students. The monitoring aims to assess the development of values, attitudes and identity of the youth in different regions of the Russian Federation, the level of legal culture and how law-abiding the schoolchildren are,

* L.S. Ruban, 2018.

the protest activity and potential of younger generations, and the ways to develop appropriate and timely programs to prevent the youth's deviant behavior and illegal actions. The results of the surveys conducted within the program "Youth in poly-ethnic regions: Views, attitudes, and orientations" were compared with other Russian and foreign studies and presented at the international scientific forums: World Congress of Political Science in Berlin (1994), World Congress of Sociology in Montreal (1998), Russian Sociological Congresses (2000, 2008), Humanitarian Forum "Younger Generations — Life without Borders" (2011), UNESCO International Forum "Dialogue as a Path to Understanding" (2013), and at the "Week of Science and Education for Peace and Development" (2017).

Key words: longitudinal study; poly-ethnic region; deviant behavior; protest activity; conflicts monitoring; school education; conflict prevention

REFERENCES

[1] Abdulatpov R.G. *Resursy kultury i proektirovanie budushego* [Resources of Culture and Design of the Future]. Moscow; 2011 (In Russ.).
[2] Garr T.R. *Pochemu lyudi butuyut?* [Why Do People Riot?]. Saint Petersburg; 2005 (In Russ.).
[3] *Deviantnoe povedenie v Rossii: Problemy and perspectivy issledovanii* [Deviant Behavior in Russia: Problems and Prospects of Research]. Moscow; 1994 (In Russ.).
[4] Ivanov V.N. *Lyudi i gody (zapiski sozziologa)* [People and years (Notes by a Sociologist)]. Moscow; 2016 (In Russ.).
[5] Inglehart R., Welzel C. *Modernizaziya, kulturnye izmeneniya i demokratiya: posledovatelnost chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence]. Moscow; 2011 (In Russ.).
[6] Noveishie tendentsii v sovremennoi nemarksistskoi sotsiologii [The newest trends in contemporary non-Marxist sociology. *XI Vsemirny sotsiologichesky kongress. Ch. 1.* Moscow; 1986 (In Russ.).
[7] Osadchaya G.I. *Sotsiokulturnye kharakteristiki povsednevnyh praktik Rossii* [Social-Cultural Characteristics of Everyday practices in Russia]. Moscow, 2013 (In Russ.).
[8] *Rossiiskoe obshestvo i vyzovy vremeni* [Russian Society and the Challenges of Times]. Pod red. M.K. Gorshkova, V.V. Petukhova. Moscow; 2015 (In Russ.).
[9] *Rossiiskie podrostki zazhivo sozhgli prohozhego na vechnom ogne* [Russian teenagers burnt a passerby alive on the Eternal Flame]. 7.02.2008. http://korrespondent.net/world/russia/368604-rossiiskie-podrostki-zazhivo-sozhgli-prohozhego-na-vechnom-ogne (In Russ.).
[10] Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Molodezhny ekstremizm: suschnost i osobennosti proyavleniya [Youth extremism: Its nature and features of manifestation]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2008: 4 (In Russ.).
[11] *Elementy sotsiologii politiki* [Elements of Political Sociology]. Rostov-na-Donu; 1991 (In Russ.).

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 334—344
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-334-344

VIOLENCE AS A KEY MANIFESTATION OF SOCIAL PROBLEMS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA*

B.Č. Milošević Šošo
University of East Sarajevo
Alekse Šantića St., 1, Pale, 71000, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
(e-mail: milosevic_biljana@yahoo.com)

Abstract. The term 'social problem' was first introduced as a synonym for 'illnesses' under unfavorable social-economic conditions [9]. Social problems are considered by social science when it comes to their negative consequences for satisfying one's needs and self-realization [15]. According to R. Metron and R. Nisbet, social problems are "the result of mismatch between social values and reality; the effect of social causes that are considered unfavorable; they can be manifest and latent; they have social consequences and determine planned and meaningful social actions" [10. P. 156]. The article focuses on the social problems in a part of Bosnia and Herzegovina (B&H) — the Republic of Srpska — to prevent and minimize them even in their most sociopathic forms. The empirical study was conducted on the sample of 220 respondents (105 male and 113 female) from October 2016 to January 2017 in seven municipalities of the Republic of Srpska as a part of B&H. The author wanted to estimate the respondents' awareness of certain notions related to the pathological sexual assaults (paraphilias) and on the level of domestic violence in particular against women. The study combined empirical and theoretical parts to test the authors' hypotheses. Among them an assumption that many respondents do not know the meaning and are not in any other ways familiar with different types of paraphilias. Another author's assumption was that women of the Republic of Srpska are more exposed to specific types of violence, which is still not enough discussed in public due to the traditional communicative and social barriers. The third author's hypothesis was that women are more exposed to psychological and physical violence due to unfavorable social-economic conditions. To prove this the author used statistical data to assess the relationship of different features of the sample and reveal the factors affecting the development and changes in the above mentioned social problems. If the factors considered in the article are not publicly recognized and discussed the current situation will lead to the highly deviant (delinquent) behaviour that will turn into a socially acceptable model and determine serious negative consequences for the society.

Key words: social problem; violence; paraphilia; domestic violence; survey; the Republic of Srpska

THEORETICAL FRAMEWORK AND METHODOLOGY OF THE RESEARCH

The article presents both an empirical study and a theoretical research or even a theoretical revision based on the relevant empirical facts. Such a revision focusing on theoretical premises, conceptions, and ideas is impossible without a critical approach to the problem under study regarding the ways of its traditional conceptualization for it affects the empirical techniques. The research combines different theoretical finding of Durkheim, Merton, and Parsons, and of some authors from the Balkans such as Milosavljević, Bošković, Jugović, Ljubičić, and others. The hypotheses of the research are based on the argument that the deviant behavior in today's society is rather frequent

* © B.Č. Milošević Šošo, 2018.

primarily due to prevalence of illegitimate modes and/or means to satisfy individual and group needs, while the degree of satisfaction of needs in our society depends on the quality of interaction of factors affecting socialization. Furthermore, it was necessary to apply the quantitative methodology to estimate the scale of the problem and measure the relationship of its different aspects and factors [5. P. 134].

The most general part of the survey refers to the social-demographic and social-economic characteristics of respondents (sex, age, education, employment, structure of family, marital status, place of residence, financial situation, membership in political parties, employment status). Another part of the questionnaire refers to the respondents perception of deviant behavior (corruption, delinquent actions, violence) and to their own deviant practices and being victims of such (in various criminal acts, in domestic violence, cyber violence), to their understanding of friendship, their value orientations in everyday life, and so on.

The sample consisted of 220 respondents aged from 18 to 66 and over, 105 males and 113 females. The survey was conducted from October 2016 to January 2017 in seven municipalities of the Republic of Srpska (East Sarajevo, Banja Luka, Trebinje, Pale, Šekovići, Rogatica and Doboj). Most respondents were aged 18—24 (28,6%) and 32—38 (18,6%); were from Banja Luka (31%), East Sarajevo (18,2%) or Pale (13,6%); live in towns (62,3%); finished high school (58,6%) or have a university degree (22,3%) (Table 1).

Table 1

Social-demographic characteristics of the sample

Characteristics		Number	%
Sex	Male	105	47
	Female	113	51,4
	No answer	2	1
	Total	**220**	**100**
Age	18—24	63	28,6
	25—31	36	16,4
	32—38	41	18,6
	39—45	24	10,9
	46—52	26	11,8
	53—59	15	6,8
	60—66	4	1,8
	66+	11	5
	Total	**220**	**100**
Place of residence	East Sarajevo	40	18,2
	Banja Luka	70	31
	Doboj	20	9,1
	Pale	30	13,6
	Trebinje	20	9,1
	Rogatica	20	9,1
	Šekovići	20	9,1
	Total	**220**	**100**
Type of residence	Urban area	137	62,3
	Suburban area	51	23,2
	Rural area	31	14,1
	No answer	1	0,5
	Total	**220**	**100**
Education	Without elementary school	3	1,4
	Elementary school	6	2,7
	High school	129	58,6
	Higher school	26	11,8
	Academic degree	49	22,3
	MBA degree or doctorate	7	3,2
	Total	**220**	**100**

More than a half of the sample are unemployed (59,1%), in particular students (22,3%). Considering the period of their unemployment, most are unemployed for 1—3 years (8,2%), 4—7 years (9,1%), 8—11 years (5,5%) or for more than 12 years (7,3%). The most frequent reasons for unemployment are as follows: fired as an unnecessary employee (5,9%); the employer closed the company (6,4%); got fired (3,6%); never had a chance to be employed (27,3%). Among the unemployed 27,7% are registered at the Bureau of Employment. Among the 40% employed 17,3% work in the public sector, while 21,8% — in private sector. Usually, the respondents have their own apartments or houses (39,5%) mainly owned by their parents (47,3%). 42,3% are married, 45,5% — not married. As a rule, the respondents live in a family of four members (35,5%), 26,9% — a family of five and more members (Table 2).

Table 2

Social-economic characteristics of the sample

Characteristics of the surveyors		Number	%
Working status	Employed	88	40
	Unemployed	130	59,1
	No answer	2	1
	Total	220	100
Status of the unemployed	Pupil	1	5
	Student	51	22,3
	Housewife	25	11,4
	Pensioner	12	5,5
	Looking for employment	44	15
	No answer	*87*	*39,4*
	Total	**220**	**100**
Unemployment period	1—3 years	18	8,2
	4—7 years	20	9,1
	8—11 years	12	5,5
	12 years and more	16	7,3
	No answer	154	70
	Total	**220**	**100**
Reasons of unemployment	Fired as unnecessary employee	13	5,9
	The employer closed the company	14	6,4
	Got fired	8	3,6
	Wanted to find another job	3	1,4
	Illness or injury	3	1,4
	You felt too old to work	3	1,4
	Have never been employed	60	27,3
	Have never looked for a job because a partner does not allow to	1	0,5
	No answer	120	52,3
	Total	**220**	**100**
The unemployed registered at the Bureau of Employment	Yes	61	27,7
	No	97	44,1
	No answer	62	28,2
	Total	220	100
The type of employment	Private/public	38	17,3
	Miscellaneous	3	1,4
	Private	48	21,8
	No answer	*131*	*59,5*
	Total	**220**	**100**
Marital status	Married	94	42,3
	Unmarried	100	45,5
	Divorced	10	4,5
	Widower/widow	10	4,5
	Extramarital cohabitation	5	2,4
	No answer	1	0,5
	Total	**220**	**100**

Continuation of table 2

Characteristics of the surveyors		Number	%
Number of family members	Three	74	3,6
	Four	78	35,5
	Five	34	15,5
	Six or more	25	11,4
	No answer	9	4,1
	Total	**220**	**100**
Place of living	Personal ownership	87	39,5
	Parental ownership	104	47,3
	Tenant	25	11,4
	No answer	3	1,9
	Total	**220**	**100**

THE RESULTS OF THE SURVEY

Social problems are usually defined as phenomena perceived by the majority of population as a cause-and-effect relationship being problematic and demanding a systematic prevention [15. P. 377]. According to Merton and Nisbet's typology of social problems, the research focused on the phenomena recognized as social problems in the Republic of Srpska. Further, the results of the survey are divided into thematic parts relevant to the aims of the research such as the awareness of the specific paraphilias, and whether the respondents have been victims of any types of domestic violence. Paraphilias have "incriminatory characteristics for they deal with misdemeanors, sometimes even with felonies" [4. P. 200]. Paraphilias refer to "any sort of aberrant sexual behavior that is preferred over the heterosexual, and that deviates from the culturally acceptable norms, while the quality or object of the sexual instinct is abnormal" [11. P. 117]. Social pathology within this type of deviant behavior consists of sexual inversions (pedophilia, geronthophilia, necrophilia and zoophilia) and sexual perversions (sadism, masohism, exibitionism, fetishism, transvestismand voyerism) [4], though the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* by the American Psychiatric Association (2000) distinguishes paraphilias and sexual dysfunctions. The survey aimed to find out whether the respondents were familiar with the notions referring to some sorts of paraphilia such as exhibitionism, voyeurism, fetishism, phone scatology, necrophilia, mammophilia, zoophilia, gerontology, and cleptophilia.

Thus, the types of paraphilia[1] the respondents are familiar with include exibitionism (68,6%), voyeurism (60,5%), fetishism (69,5%), and necrophilia (51,4%); while other

[1] Exhibitionism refers to the exposition of one's body, especially private parts, with the purpose of attracting sexually and achieving sexual arousal; voyeurism — the attempt to sexually arouse while watching unknown person or a person who is undressing while unaware of being watched; fetishism — the situation when the erotic enjoyment is found in an inanimate object (fetish) or some other part of other's body; phone scatology — behavior that occurred in the era of electronic communication and is manifested in the satisfaction of sexual needs in harassment of unknown people through indecent phone calls; necrophilia refers to the sexual arousal in a contact with the dead and the inclusion in sexual activities with corpses; mammophilia refers to the sexual appeal to female breasts; zoophilia — sexual satisfaction achieved through copulation with animals; gerontophilia refers to sexual attraction to elder people; cleptophilia — sexual arousal found in stealing; infantophilia refers to sexual attraction to infants at the age of five or younger [11].

types of paraphilia mentioned in the questionnaire were rather unknown for most respondents especially phone scatology, necrophilia, mammophilia, gerontology, and infantophilia (Table 3).

Table 3

Understanding the meanings of the terms related to certain types of paraphilia

Type	Yes		No		I do not know	
	Number	%	Number	%	Number	%
Exhibitionism	151	68,6	35	15,9	32	14,5
Voyeurism	133	60,5	50	22,7	36	16,4
Fetishism	153	69,5	36	16,4	30	13,6
Telephone Scatology	52	23,6	114	51,4	52	23,6
Necrophilia	113	51,4	72	32,7	33	15
Mammophilia	71	32,3	101	45,9	45	20,5
Zoophilia	119	54,1	60	27,3	39	17,7
Gerontophilia	67	30,5	101	45,9	50	22,7
Cleptophilia	123	55,9	59	26,8	35	15,9
Infantophilia	52	23,6	110	50	56	25,5

All the above mentioned types of paraphilia are characterized with aggression, while some of them, like fetishism, imply criminal activities and consequences ("acrotomophilia — a strong sexual interest in amputees; asphyxiophilia — sexual arousal by oxygen deprivation", and so on) [4. P. 213]. There is an interdependence between the way a society treats deviant behavior and the social perception of it. The public opinion on paraphilias of now well-known and frequent types relies on personal experience and judgment or on "jibbing, mocking, and isolation" [15]. In general society prefers to apply violence as a kind of problem solving in such cases for "aggression is a social reaction to the interests, attitudes, aims or values of certain individuals, social groups or societies that are tried to be forcefully changed" [15. P. 224].

From the sociological perspective, there are several interpretations of aggression: positivism, functionalism and Marxism, and several typologies of this deviation such as collective and individual aggression. According to Milosavljević [15], collective aggressions usually occur on the macro-level, i.e. on the level of global societies, social classes or large groups, while individual aggressions occur on the micro-level in the form of conflicts between individuals and small groups. Every type of aggression has certain social consequences, but this paper focuses on the micro-level — conflicts in families and domestic violence. Psychology prefers the term 'family climate', or emotional climate, manifested in family expressiveness (emotional exchange, how family members exchange emotions and communicate on the emotional level), family cohesion (whether or not family members are devoted to each another and the family as a whole), and conflicts (expressions of aggression and anger) [14].

Table 4 presents the distribution of conflicts in the respondents' families. In most cases, these are fights between parents and their children (43,6%) and spouses (40%).

Table 4

Fights in the family

Between spouses		Between parents and children		Between parents and their parents		No answer	
Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
88	40	96	43,6	16	7,3	20	9,1

Table 5 presents the quality of relations between family members, i.e. sorts of emotional communication that refer to aggression: 15% said that their family members sometimes hit one another; when someone complains about something, 42,3% of family members get upset; in 20,9% of families members often argue.

Table 5

Relationship in families

Modes of family expressiveness and emotional communication	Yes		No		No answer	
	Number	%	Number	%	Number	%
Family members help each other	200	90,9	12	5,5	8	3,6
Family members restrain feelings	90	40,9	122	55,5	8	3,6
We say all we want at home	167	75,9	43	19,5	10	4,5
We are angry and we throw things during quarrels	44	20	167	75,9	9	4,1
Family members often criticize each another	103	46,8	108	49,1	9	4,1
Family members sometimes hit another	33	15	179	81,4	8	3,6
When we disagree, we try to stay calm	176	80	36	16,4	8	3,6
We believe that shouting is not an option	154	70	58	26,4	8	3,6
Family members support each another	192	87,3	20	9,1	8	3,6
If you complain, someone gets upset	93	42,3	119	54,1	8	3,6
There is a feeling of togetherness in the family	190	86,4	22	10	8	3,6
Family members almost never lose temper	96	44,5	114	51,8	8	3,6
We argue a lot	46	20,9	166	55,5	8	3,6

Table 6 shows the share of respondents being a victim of some types of violence. Usually this is psychological harassment (23,3%), less often — physical violence (14,4%), economic and cyber violence.

Table 6

Types of domestic violence and their scale

Types	Never		Sometimes		Frequently		Very frequently	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
Physical abuse	180	81,8	31	14,4	6	2,7	0	0
Sexual harassment	215	97,7	1	0,5	1	0,5	0	0
Psychological harassment	161	73,2	51	23,2	4	1,8	1	0,5
Economic violence	187	85	23	10,5	6	2,7	0	0
Cyber violence	202	91,8	10	4,5	4	1,8	1	0,5

The correlation between the phenomena under study was also estimated (Table 7). The results show that there is a statistically significant correlation between family fights and physical abuse (Pearson's coefficient of positive correlation $r = 0{,}336$). Thus, the hypothesis that the families, in which members often fight, are prone to physical abuse (it implies the use of physical force or objects that cause pain, injury, and endanger health or life; in most cases it is manifested in hitting with hands, tearing hair, twisting body parts or face, hitting with different objects, deprivation of food, clothes or shoes, exposure to harsh climate conditions, and so on [15]) was confirmed.

Table 7

Correlation between family fights and some other types of violence

Types of violence	r	p
Physical abuse	0,336	0,000
Psychological harassment	0,297	0,000
Economic violence	0,267	0,000

The same applies to other types of violence — both psychological and economic. Psychological violence threatens psychological integrity and health (humiliation, insults, verbal abuse, threats, ignorance, various restrictions on freedom), and is the most frequent type of domestic violence usually not implying physical abuse [1. P. 19]. However, there are many threats of physical abuse such as beating, breaking bones and a nose, smashing the teeth, pulling one's hair and setting it afire. Women are very often threatened by sexual abuse, while children are often manipulated. "Psychological harassment should be defined as spiritual but at the same time it implied destruction of cultural and religious beliefs, mocking, humiliation, ban to practice one's rituals, or coercion to acquire another value system" [1. P. 19]. According to Table 7, there is a correlation between "we argue a lot in the family" and being a victim of psychological harassment (positive coefficient of correlation r = 0,297).

Economic violence refers to the control of economic resources and denial to provide such to satisfy women's needs, usually this is a denial to give women an opportunity to earn money. The victims of economic violence are given limited access to money in the household, deprived of personal needs and not able to have their own money, because other family member(s), who earn money, spend it on their own needs and leave the household without financial support [1. P. 18]. According to Table 7, there is a statistically significant correlation between family fights and economic violence (Pearson's coefficient of positive correlation r = 0,267). Thus, the hypothesis that the families, in which members often fight, are prone to economic violence was confirmed.

Table 8 revelas possible factors of violence agains women (according to the UN Declaration on the Elimination of Violence against Women signed in 1993, violence against women is defined as every act of gender based violence that leads, or can lead to physical, psychic, sexual injury or suffering of the woman, including the threat to do so as such act, coercion or arbitrary deprivation of liberty, regardles if it takes place in public or private life). These factors include specific features of the family, economic possibilities, position in society, and some social-cultural factors. Alcohol addiction, drugs and gambling are the most evident possible factors of violence agains women.

The respondents believe that alcohol addiction of the partner in 84,5% cases can lead to violence, drug addicion — in 85,9% cases, and gambling — in 75% cases; and distrust — in 80% cases.

Alcoholism is in fact a sociopathological problem that should be considered rather family than individual issue [4. P. 96]. Families of alcohol addicts encounter a series of problems that "affect the functionality of the family, change the quality of communication and emotional relations, threaten the psychological health of children and other family members" [7. P. 80]. Alcohol addicts' families are disfunctional in terms of relationships, which leads to social isolation, break of social contacts with family friends, aggression and disorder in family structure [4. P. 96]. Communictaion problems in such families prevent exchange of information for making important decisions, and the wives of alcoholics suffer anxious and depressive dissorders, are socialy isolated, think about suicide and try to commit it [7. P. 81]. Drugs determine violence against women for some drugs can temporarily provoke physical violence, and abstinential periods imply aggressive outbursts. The relationship of drugs and violence form three types of deviant behavior: systematic, economic-compulsive and psychopharmacological [4. P. 145]. The problems families face when one of the partners is a drug addict are similar to the families of alcoholics: disorder in social relations, inability to adapt in family relations, and tendency to isolationism. Such families are like an isolated island for the communication between family members is weakened, the education of children is neglected, and traditional moral values are ignored [6. P. 19]. Gambling addiction of a partner can also lead to violence because the main feature of gambling is that the game fiction becomes reality [15. P. 218]. The main goal of gambling is acquisition of material goods accompanied with a certain dose of joy; gambling as a form of behavior means that the person is ready to loose rather than to win, which makes the gamlers's family gambling victims.

Table 8

Potential factors of violence against women

Factors	Yes		No		No answer	
	Number	%	Number	%	Number	%
Spatial position of the household	42	19,1	160	71,7	18	8,2
Economical position of the woman	105	47,7	100	45,5	15	6,8
Material deprivation	113	51,4	36	16,4	16	7,3
Frequent disagreements	173	53,2	36	16,4	11	5
Low education	118	53,6	88	40	14	6,4
Partiarhical family	117	53,2	86	39,1	17	7,7
Former experience in marriage	86	39,1	120	54,5	14	6,4
Distrust	177	80,5	33	15	10	4,5
Alcohol addiction	186	84,5	26	11,8	8	3,6
Drug addiction	189	85,9	24	10,9	7	3,2
Gambling	165	75	42	19,1	13	5,9
Participation in the wars in the 1990s	104	47,3	99	45	17	7,7
Children's behavior	80	36,4	125	56,8	15	6,8
Disability of the woman	45	20,5	158	71,8	17	7,7
Illness of the woman	45	20,5	158	71,8	17	7,7
Distribution of housework	40	18,2	163	74,1	17	7,7

According to Milosavljević [15], violence, physical injuries, even murders are often determined by family and gender relations because there are no mechanisms to resolve conflicts in such small social groups in close spatial and emotional contact. The research conducted in 2013 by the Agency for Gender Equality of B&H and gender centers of its subjects in cooperation with statistical institutions and with the support of UNFPA and UN WOMEN (the representative sample consisted of 3300 women aged 18 and over) showed that 42,7% of women were victims of violence since they were 15 years old, and 52,8% did not report any forms of violence; in 2013, 37,9% of women were abused by partners, 14,1% — by other relatives and household members, and 15,3% — by partners, family, and community.

***

Society has always been interested in sociopathological problems, and men have always tried to suppress ‘other' forms of behavior differing from a socially acceptable model. In ancient times, Platon advocated the principle of individualization trying to reveal and explain factors of certain crimes; Aristotle, on the contrary, emphasized social-cultural factors, while the representatives of Roman antiquity, Cicero and Seneca, underlined the purposefulness to punish the offenders. In the Dark Ages, the religion was absolutely dominant, and all good and bad actions were interpreted through ecclesiastical canons. The Age of Enlighment developed a more flexible approach to punishing deviant forms of behavior, for instance, Hobbes and Lock justified the purposefulness of punishments to ensure social peace. Positivism in social sciences first focused on social factors as key determinants of crime behavior. Representatives of other theories of positivism, such as Lombroso, believed in biological factors as determinants of crimes and some other deviations [4].

All approaches to the study of sociopathological problems admitted the importance of social and cultural enviroment for shaping individual and group behavior through socialization. Cultural isolation, deprivation, and subgroup values negatively affect individuals leading to socially unacceptable behaviors [8]. The consequences of unsuccessfull socialization are numerous and manifested in both private and social life as conflicts, disorganised families, commitment subcultural lifestyle. Social enviroment, education, science and culture are key means to develop individual and group social values and understanding of disturbing factors in social realty [4. P. 25], i.e. sociopathological problems can be the results of these elements' disfunctionality or of unsuccessful socialization. We are are not biopsychological creatures or isolated individuals, but a unit in interaction with other people, traditions, beliefs, values and moral norms that form the unconscious basis of our everyday life. Society is not an imaginary term for numerous deviant forms of behavior exist within it both determined by and affecting social enviroment.

The results of the research, or the indicators studied in the survey, point to structural social problems and identity crisis. Although the Republic of Srpska have some specific formal-legal features, social enviroment, education, science and culture are still basic elements that determine the dominant values of the society and the perception of disturbing factors in it. The results of the survey show that the society

in general is aware of the meaning of most terms referring to paraphilia, but a kind of unawareness about less known forms of paraphilia does not mean that all these forms of deviant behavior are to be prevented on the institutional level — through education and legal sanctions. However, aggression seems to be a more preferable solution for the society tends to suppress forcibly interests, opinions, goals, values, and actions that are not traditional or socially acceptable by the majority.

In general, aggression is ubiquitous on the micro-level, conflicts and disagreements are determined by differences in personal motives, needs, interests, freedom and rights. Fights are typical for parents and children, between spouses and between parents and their parents, and there is a statistically significant connection between frequent family fights and phisycal violence. Alcohol addiction, drugs and gambling are most evident factors of violence against women. There is an acute need in the sociological study of violence and other sociopathological problems for most of them stay hidden in the private life and do not become public due to the suppressive social traditions that still prevail in many societies.

REFERENCES

[1] Aleksić J., Djorgović J. *Priručnik za medijsko izvještavanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama* [Handbook for the Media Coverage of Domestic Violence and Violence Against Women]. Beograd: Uprava za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo rada i socijalne zaštite; 2011 (In Serbian).

[2] Bandura A. *Teorija socijalnog učenja* [Social Learning Theory]. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 1977 (In Serbian).

[3] Bandura A., Ross D., Ross S.A. Prenos agresije putem imitacije agresivnih modela [Transmission of aggression through imitation of aggressive models]. *Journal of Abnormal and Social Psychology.* 1961: 63: 575—582 (In Serbian).

[4] Bošković M. *Socijalna patologija* [Social Pathology]. Novi Sad: Pravni fakultet; 2007 (In Serbian).

[5] Branković S. *Metodologija društvenih istraživanja* [Social Research Methodology]. Beograd: Zavod za udzbenike; 2014 (In Serbian).

[6] Bukelić J. *Droga u školskoj klupi* [Drugs in School Desk]. Beograd: Velarta; 2002 (In Serbian).

[7] Dragišić-Labaš S.*Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizmu* [Alcoholism in the Family, and Families in Alcoholism]. Beograd: Čigoja; 2012 (In Serbian).

[8] Dunn Jay I. Social and community psychiatry and individual social consciousness. *Journal of Analytical Psychology*. 1968: 13 (2): 146—154.

[9] Jakovljević V. *Socijalna patologija* [Social Pathology]. Beograd: Naučna knjiga; 1971 (In Serbian).

[10] Jugović A. *Teorija društvene devijantnosti* [Theory of Social Deviance]. Beograd: Partenon; 2013 (In Serbian).

[11] Kron L.J. Parafilije: definicija, etiologija, tipovi, klinički tretman i prognoze [Paraphilias: definition, etiology, types, clinical treatment and prognosis]. *Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja*. 2009: XXVIII (1—2): 117—127 (In Serbian).

[12] Ljubičić M. *Porodica i delinkvencija* [Family and Delinquency]. Beograd: Čigoja; 2011 (In Serbian).

[13] Merton R.K., Nisbet RA. *Contemporary Social Problems.* New York: Hartcourt Brace; 1971.

[14] Mihić I., Zotović M., Jerković I. Struktura i socijalno-demografska obilježja obiteljskog okruženja u Vojvodini [Structure and social-demographic characteristics of the family environment in Vojvodina]. *Psihologija.* 2009: 39 (2): 297—312 (In Serbian).

[15] Milosavljević M. *Devijacije i društvo* [Deviations and Society]. Beograd: Draganic; 2003 (In Serbian).
[16] Rock P. *Deviant Behaviour*. London: Hutchinson University Library; 1973.
[17] *Study of the Violence against Women in Bosnia and Herzegovina*. Sarajevo: Agencija za ravnopravnost polova. http://bhas.ba/tematskibilteni/BHAS_Zene_Muskarci_BH.pdf.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-334-344

НАСИЛИЕ КАК ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ[1]

Б.Ч. Милошевич Шошо

Университет Восточного Сараево
Ул. Алексе Шантича, 1, Пале, 71000, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
(e-mail: milosevic_biljana@yahoo.com)

Понятие «социальная проблема» было впервые использовано в научном дискурсе как синоним «социального заболевания», обусловленного неблагоприятными социально-экономическими условиями [9]. Сегодня социальные проблемы интересуют исследователей с точки зрения их негативных последствий для удовлетворения индивидуальных потребностей, в том числе в самореализации [15]. Согласно трактовке Р. Мертона и Р. Нисбета, социальные проблемы — «результат рассогласования между социальными ценностями и окружающей действительностью; следствие неблагоприятных социальных условий; они могут быть явными и латентными; они порождают социальные последствия и диктуют продуманные и осмысленные социальные действия» [10. P. 156]. Автор рассматривает социальные проблемы в части Боснии и Герцеговины (БиГ) — Республике Сербской, стремясь способствовать их предотвращению и минимизации даже в самых социально-патологических формах. В период с октября 2016 по январь 2017 года было опрошено 220 респондентов (105 мужчин и 113 женщин) в семи муниципалитетах Республики Сербской. Автор оценивает осведомленность респондентов о значении разных форм патологического сексуального поведения (парафилиях) и уровень домашнего насилия, особенно в отношении женщин. Проект сочетал эмпирический и теоретический поиск, в частности разработку и проверку следующих гипотез: большинство респондентов не имеют представления о многих видах парафилии; женщины наиболее подвержены психологическому и физическому насилию вследствие меньших социально-экономических возможностей, и эта проблема почти не обсуждается в обществе вследствие устойчивости традиционных коммуникативных и социальных барьеров. Для подтверждения этих гипотез автор оценивает взаимосвязь разных переменных опроса и показывает, какие факторы влияют на названные социальные проблемы. Их дальнейшее замалчивание способствует развитию девиантных (и деликвентных) форм поведения, которые становятся социально приемлемыми и негативно влияют на общество.

Ключевые слова: социальная проблема; насилие; парафилия; домашнее насилие; опрос; Республика Сербская.

* © Милошевич Шошо Б.Ч., 2018.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 345—360
http://journals.rudn.ru/sociology

РЕЦЕНЗИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-345-360

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ И ПРОБЕЛЫ ИСТОРИИ ЭМОЦИЙ*

Рецензия на книгу: Плампер Я. История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 568 с.

«Эмотив — выражение эмоции (как правило, словесное), которое и описывает ее (например, «я счастлив»), и кладет начало ее изменению, так как запускает процесс самоанализа, исход которого не предопределен (например, ведет к вопросу: «Я действительно счастлив?»..., или переписывает сопутствующие эмоциональные состояния, усиливая переживания счастья). ...Срабатывает ли один и тот же механизм обратной связи, когда я говорю слова „я счастлив“ в присутствии моего психотерапевта, которой я плачу деньги за то, чтобы она помогала мне в моих поисках счастья, или когда я в разговоре с матерью, пытающейся мне доказать, что я несчастлив в браке, упрямо отвечаю: „я счастлив“?».

Ян Плампер

XX век — поразительное время для самопознания человека и общества благодаря «лингвистическому повороту», или трактовке фактов как «репрезентаций» дискурсивных механизмов [4. С. 37], а человеческой жизни как «автолингвистического феномена» [13], «нарративному повороту», или акценту на «литературности» любых текстов, который сблизил все формы знания (научное и обыденное), обнаружив в них общее нарративное измерение [5. С. 69—70] вследствие включенности любого «говорящего» (независимо от его социального и дискурсивного статуса) в конструирование реальности, а также «визуальному повороту», или признанию за визуальной составляющей жизни права выступать «маркером» устойчивых и формирующихся социальных практик по причине вездесущности изображений и «установления между человеком и миром отношений „хронического вуайеризма“» [7]. Нарративный и визуальный повороты дополнили

* © Троцук И.В., 2018.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 18-011-00993 «Счастье как междисциплинарный конструкт: варианты социологической концептуализации и операционализации».

и расширили сферу действия лингвистического поворота, который объявил исследования в области политических, экономических, психологических и культурных проблем языковыми, поскольку все социальные практики конституируются борьбой дискурсов, претендующих на право единовластно «определять ситуацию» и задавать «основную модальность событийности» [1. С. 101]. Все три поворота в той или иной степени «легализованы» в социологии [см., напр.: 11], и основные проблемы эмпирических исследований текстуальности в ее вербальных и визуальных выражениях сводятся к нахождению надежных эмпирических индикаторов в зыбком поле многослойных «текстов» и баланса между отвлеченным философствованием и собранными данными.

Иное принципиальное изменение научной «оптики» и «риторики» — «аффективный поворот» — существенно реже упоминается в социологической литературе, хотя оказывает на нашу дисциплину серьезное влияние. Его ярчайшее проявление — постоянные и повсеместные замеры уровня счастья и попытки научить отдельного человека или человечество в целом быть счастливым. В Интернете можно найти массу мотивирующих семинаров, тренингов, мастер-классов и пр., «заряжающих на счастье», по запросу «happiness» сайт amazon.com выдает более 100 тысяч книг, и 20 тысяч из них входят в категорию «self-help» (пособия по самообретению счастья), аналогичный запрос — «счастье» — в российском книжном магазине Лабиринт.ру выдает 1710 книг (из них около тысячи в разделе «нехудожественная литература»). Существуют специализированные издания, например, Journal of Happiness Studies («Журнал исследований счастья»), который «посвящен научному пониманию субъективного благополучия — его когнитивных оценок (удовлетворенность жизнью) и аффективного удовольствия от жизни (настроение).., и представляет возможность обсудить две основные традиции в изучении счастья — концептуализации „хорошей жизни“ и эмпирический анализ субъективного благополучия»[1] [см., напр.: 14]. С 2012 года ООН утвержден Международный день счастья — 20 марта[2], когда публикуется отчет об уровне счастья в мире[3] — он оценивается по таким показателям, как ВВП на душу населения и социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость, отношение к коррупции и др.

Помимо перечисленных косвенных показателей основную часть оценки уровня счастья составляют результаты опросов общественного мнения о том, насколько счастливыми люди себя чувствуют (их проводит Международный исследовательский центр Гэллапа — Gallup International), — на их основе рассчитывается международный индекс счастья и его страновые колебания. Уровень счастья — не частый, но все же широко представленный сюжет и в российских опросах общественного мнения. Например, агентство NewsEffector совместно с фондом «Регионы России» регулярно проводит исследование «Индекс счастья

[1] https://link.springer.com/journal/10902.

[2] https://happinessday.org.

[3] http://worldhappiness.report.

российских городов», чтобы выяснить, где проживают самые счастливые россияне (опрос проводится в ста крупнейших городах)[4]: задаются вопросы об уровне материального благосостояния, оценках экологической ситуации, уровня безопасности и перемен к лучшему, самоощущении счастливым или нет. Крупнейшие российские социологические центры периодически проводят замеры счастья [см., напр.: 6; 8; 9]. ВЦИОМ регулярно представляет данные мониторинга счастья россиян, оценивая общий уровень/индекс счастья (и «социальный индекс счастья» — преобладание в окружении респондентов счастливых или несчастливых людей [10]) и обозначая основные причины быть счастливым (семья, дети, хорошая работа, здоровье, общая удовлетворенность жизнью) и несчастным [12].

Если просмотреть результаты общероссийских опросов по тематике счастья за последние несколько лет, то даже самый социологически неискушенный читатель удивится разбросу количественных оценок «счастливости» своих сограждан, а также факторов, на нее влияющих. Более того, у него возникнет вопрос, почему социологи измеряют индекс счастья, а не печали, разочарований или других негативных эмоций, которые скрываются за антитезой счастья (несчастье), но ей не синонимичны. Все это приводит к вопросу о том, а что собственно измеряется в рейтингах ООН (объективные социально-экономические критерии) и социологических опросах (субъективные оценки) под названием «счастья», и почему мы уверены, что этот набор показателей (социально одобряемых и институционально табулированных) позволяет оценить сложное эмоциональное состояние отдельного человека, которое он вынужден укладывать в социальное клише нормальной и нормированной счастливости.

В отличие от лингвистического, нарративного и визуального поворотов, аффективный поворот все еще недостаточно встроен в концептуальные построения социологии. Нам следует обратиться к смежным дисциплинарным полям для прояснения оснований собственной работы с эмоциональными аспектами социальной жизни: «все общества имеют свои эмоциональные стандарты [предписываемые человеку нормы реакции], пусть часто они не становятся предметом обсуждения... Эмоциональные стандарты постоянно меняются во времени, а не только различаются между собой в пространстве. Изменения в эмоциональных стандартах многое говорят и о других социальных изменениях, а могут и способствовать им» [2. С. 15]. Книга Яна Плампера «История эмоций» — идеальная для решения этой задачи работа: во-первых, проблематика счастья встроена в текст в виде прямых отсылок (например, когда иллюстрирует понятие эмотива — выражение эмоции, которое и описывает ее, и запускает процесс ее изменения, потому что любой вопрос о том, насколько человек счастлив и счастлив ли он вообще, заставляет его задуматься о возможности охарактеризовать себя подобным образом, о критериях такой оценки, о долговечности счастья и пр.) и имплицитно — когда счастье оказывается лучшей иллюстрацией тех или иных понятий или проблем. Так, сегодня счастье — явно «гиперкогнизированное понятие» (Роберт Леви), поскольку в современной культуре ему отдается приоритет; счастье

[4] http://jpsy.ru/public/75563.htm.

неизменно входит в список базовых эмоций (Сильван Томкинс и Пол Экман), которые считаются универсальным для всех культур и связаны с характерными микровыражениями лица; до сих пор не прекращаются дискуссии о том, что именно считать счастьем — сильнейший аффект или, наоборот, состояние ничем не омраченного спокойствия, и т.д. Во-вторых, книга построена вокруг важного и для социологии «спора между социально-конструктивистскими и универсалистскими теориями. Этот спор структурировал исследовательскую практику в разных областях изучения чувств на протяжении более ста лет: социальные конструктивисты полагают, что эмоции являются преимущественно результатом научения, культурно специфичны и подвержены историческим изменениям (видимо, отсюда — нынешний бум на научение счастью), а универсалисты настаивают, что эмоции одинаковы во всех культурах и во все времена (видимо, отсюда — мода на эксперименты в русле аффективной нейронауки). Автор «историзирует и проблематизирует эту бинарную оппозицию, указывая на возможности изучения эмоций за пределами конструктивизма и универсализма» (с. 4).

Книга Яна Плампера — поразительно увлекательная история (правда, для подготовленного читателя, который владеет соответствующей терминологией), скроенная по лекалам идеального научного текста: за развернутым и структурированным (!) введением, объясняющим замысел книги, дающим определение ее основного понятия (эмоция) и обосновывающим возможность научного изучения эмоций в рамках самостоятельной исторической дисциплины, следует хронологический обзор развития этой науки — истории эмоций, затем дается развернутая характеристика двух ее основных концептуальных направлений — социального конструктивизма, зародившегося в антропологии, и универсализма, поддерживаемого «науками о жизни», после чего автор оценивает перспективы истории эмоций в случае преодоления дихотомии этих двух подходов. Текст гипернасыщен персоналиями — с указанием ключевых работ, обзором концепций, перечислением предшественников и последователей, уточнением влияния на соответствующие научные традиции и важнейшими цитатами, соблюдает исключительный «нейтралитет» в презентации любых концепций (ее краткое изложение неизменно сопровождается систематизацией справедливой и необоснованной критики), сопровожден огромным библиографическим списком (он активно используется, текст буквально испещрен сносками с комментариями автора), иллюстрациями (включая интересные медийные и политические факты и фотографии) и глоссарием, суммирующим категориальный аппарат научного анализа эмоций, категорически отказывается от дисциплинарной «селекции» в отборе упоминаемых работ и авторов — их интересы и поле деятельности обязательно упоминаются, но акцент сделан на вкладе в историю эмоций (например, описание декартовой теории дуализмов сопровождается указанием на ее «практическое» применение придворным живописцем короля Людовика XIV Шарлем Лебреном, создавшим анатомические зарисовки эмоций — классификацию выражений лица при различных эмоциях).

Интерес к истории эмоций возник у автора в ходе исследования страха у русских солдат в годы Первой мировой войны. Узнав из литературы по нейро-

науке о том, что «миндалевидное тело — обитель страха» (с. 6) и погрузившись в соответствующую проблематику (экспериментальные исследования нейрональных процессов, вызываемых угрозой, в 1930-е годы, компьютерные технологии визуализации отрицательных эмоций в 1980-е годы, данные о функциях головного мозга, включая эмоции, за которые отвечают конгломераты нервных клеток и т.д.), автор столкнулся с тем, что «антропологические константы облекаются в нейробиологическую терминологию. Связано это с идеей, что существует некая нейробиологическая материальная основа всего и всякого страха, которая не зависит от времени и культуры, она одна и та же у всех животных — от лабораторных мышей до человека разумного... Это один из полюсов, наблюдаемых во всех исследованиях эмоций с XIX века: это нечто жесткое, неизменное, универсальное, общее для всех видов, вневременное, биологическое, физиологическое, сущностное, базовое, „зашитое в систему“» (с. 8). С другой стороны, концепцию универсализма страха подрывают этнологические исследования, убедительно показывающие, что в разных культурах люди обращаются со страхом по-разному — это «второй полюс всех исследований чувств: мягкий, антиэссенциалистский, антидетерминистский, социально-конструктивистский, культурно-релятивистский, ориентированный на культурную специфичность и культурную контингентность. Между двумя этими полюсами и бытует научный дискурс об эмоциях с середины XIX века, если не раньше» (с. 11). «В ходе работы над исследованием по истории солдатского страха стали накапливаться концептуальные проблемы», и не автор «решил написать книгу, а она решила, что он должен написать ее» (с. 490).

Проблему автор видит не в самом наличии двух разных точек зрения (кстати, их популяризация сегодня дает человеку больше возможностей для самоуспокоения, потому что свои беды он может объяснять то физиологическими особенностями организма в русле унивесалистской модели наук о жизни, то спецификой своей социализации, т.е. огрехами в социальном научении, и в обоих случаях с себя вину он снимает будучи игрушкой объективных сил — природы или общества), а в том, что два полюса используют разную терминологию, непонятно, как соотносятся друг с другом, и недостаточно хорошо картированы, но вокруг тех, кто считает эмоции врожденными (исторически меняются не сами эмоции, а только способы их выражения), и тех, кто рассматривают их как социальные конструкты (у каждой эмоции есть своя история или же все эмоции — константы, но антропологические), формируются ожесточенно враждующие лагеря в духе «другой дихотомической фигуры мысли — природа vs. культура», которая оформилась в эпоху Просвещения. Автор не претендует на то, что снимет эту дихотомию и создаст синтетическую теорию эмоций, а предлагает представить, как может выглядеть исследование эмоций после устранения дихотомии с помощью историографического обзора истории эмоций («резюмировать и классифицировать, развенчивать мифы об этой молодой области исследований и часто и много цитировать») и нейтральности в изложении материала (своеобразный ликбез по грамотному заимствованию из нейронаук в социально-гуманитарные дисциплины). Автор намечает контуры «метаистории эмоций» (истории «человека чувствующего»), обозначая смену господствующих дисциплин в трактовке эмоций,

некорректность противопоставления «западной» и «незападной» рефлексий эмоций, необходимость разбирать все многообразие терминов из разных дисциплин, эпох и культур как одно понятие «эмоция» (многие слова этимологически связаны, их различия и сходства аналитически важны, но укладываются в метапонятие «эмоция», которое поглотило ряд дифференцированных значений, которые прежде передавались разными понятиями), неопределенность субъекта эмоций (все люди в равной или в разной степени, различение между человеком и животным с точки зрения способности чувствовать, проблема человекоподобных машин — живут ли они собственной эмоциональной жизнью и может ли человек испытывать чувства к ним), которая порождает вопрос, какой уровень эмоциональности является мерилом человечности (эмпатия по отношению только к другим людям, ко всем живым существам или ко всему, включая неживые человекоподобные объекты), и неопределенность локализации эмоций (вне или внутри человека, неоднозначная семантика телесного выражения эмоций в разных культурах).

Первая глава «прослеживает историю изучения чувств в хронологическом порядке, начиная с возникновения истории эмоций в конце XIX века, и ее развитие помещается в контекст социальных и политических событий, а также в контекст развития других научных дисциплин, которые оказали на нее влияние» (с. 16). Признавая важность вклада Люсьена Февра и школы «Анналов» в историю эмоций, поскольку «они перенесли историю из сферы высокой политики, королей и дипломатии вниз, в мир маленьких людей, крестьян и ремесленников, как бы заземлили историю» (с. 65), а Февр призвал «поставить эмоции в центр исторического исследования и преодолеть застенчивую отстраненность от психологии при изучении чувств в прошлом» (с. 66), очертил контуры областей, которые впоследствии составили значительную часть истории эмоций, обратил внимание на трудность разграничения чувств (возникают одновременно), их амбивалентность и многослойность, автор отмечает, что Февр находился под влиянием работ французских этнологов и психологов 1920—1930-х годов и обратился к истории чувств (преимущественно отрицательных — ненависти, страха и жестокости) под влиянием «угрозы со стороны европейского фашизма и способности национал-социализма к эмоциональному совращению людей» (с. 69). Автор предлагает читателю историю эмоций до Февра: в Античности историки Фукидид и Полибий «рассматривали власть чувств в качестве главной движущей силы событий» (особенно когда речь шла о чувствах царей или коллективных субъектов), в конце XIX века дискуссия о роли чувств развернулась в истории на фоне дифференциации наук под определяющим воздействием естествознания — Вильгельм Дильтей разрабатывал теоретическую базу наук о духе в форме исторической герменевтики, Карл Лампрехт выступал за заимствования из психологии и этнологии для обогащения исторического объяснения «внутренней мотивацией личных поступков» (с. 74), Георг Штайнгаузен и Курт Брейзиг считали единицей анализа и коллективным субъектом эмоций нацию. «От этих четверых авторов идут некоторые линии к тем ведущим мыслителям начала XX века, которые оказали влияние и на историю эмоций», в частности, «великие теории

Маркса, Вебера, Дюркгейма и Зиммеля всегда подразумевают „большие нарративы“ об историческом развитии эмоций» (хотя социологи обычно игнорируют этот аспект их моделей социальности). Так, Георг Зиммель считал социальные процессы и отношения, конституирующие общности, имеющими эмоциональную окраску, потому что «чувства производят эффект социации», а «Макс Вебер выстроил типологию разновидностей протестантизма как бы по шкале термометра эмоциональности» (с. 75) и т.д.

Самый объемный раздел первой главы посвящен истории эмоций во времена Февра и после него. Основное действующее лицо этого временного промежутка — Норберт Элиас, под явным влиянием Фрейда разработавший теорию европейского модерна как «линейного процесса нарастания контроля над аффектами... на эмоции, который средневековый человек мог свободно выражать, при переходе к современной эпохе были наложены социальные табу. Эти табу были интериоризированы, и внешнее принуждение превратилось в самопринуждение» (с. 81) со всеми вытекающими отсюда психическими деформациями. Элиас «застолбил будущее научное поле для истории эмоций: именно он ввел понятия для описания эмоциональной действительности, расшатывавшие эссенциалистское представление о чувствах, а также понятия, которые языковыми средствами отражают процессуальный характер и конструирование эмоций» (с. 82). Его концепция сочетала элементы эссенциализма и социального конструктивизма, предвосхитив тем самым синтетические концепции 1990-х годов, согласно которым эмоции имеют универсальную телесную основу, но культурно и исторически обусловлены. Теодор Зелдин рассматривал сквозь призму истории эмоций частную и общественную жизнь, не доверяя господствовавшей в 1970-е годы социальной истории, которая искала строгую причинность и оперировала количественными данными. Он «одним из первых стал рассматривать самих историков как субъектов, чья деятельность тоже определяется эмоциями и чье отношение к предмету исследования эмоционально нагружено; более того, они выбирают себе предмет на основе эмоциональных установок» (с. 86). В этом разделе также рассмотрены аргументы и критика психоистории, основанной на толковании эмоций — подчеркивая неприемлемость анахронизмов (типа признания политики Сталина результатом его побоев отцом-алкоголиком в детстве), автор не отказывается от «осмысленного использования психоанализа в истории чувств там, где сами исторические субъекты говорят на его языке» (с. 88); обращение к истории эмоций германских и американских исследователей истории семьи, чтобы концептуально объединить чувство и целерациональность; игнорирование гендерной историей эмоций как самостоятельного предмета исследований (изучалась инструментализация чувств в целях поддержания прежних и конструирования новых видов гендерного неравенства), хотя автор неоднократно подчеркивает вклад женского движения 1970-х годов в повышение статуса эмоций; теория Питера и Кэрол Стернсов, которые «предложили четко отделять индивидуальный эмоциональный опыт человека от эмоциональных норм и изучать в первую очередь именно их... — правила, которыми регулировалось выражение чувств в обществе или в составляющих его социальных группах» (с. 93) и т.д.

Помимо реконструкции логики развития научного осмысления эмоций автор отмечает и объективные обстоятельства, которые способствовали нынешнему глобальному буму исторического изучения эмоций. Главное событие здесь — теракт 11 сентября 2001 года: первоначально он рассматривался как «драматическое свидетельство того, какой силой являются негативные эмоции фанатиков» (с. 97), но затем акцент был сделан на эмоционально насыщенной коммуникации, которая стала возможна благодаря электронным медиа и оказалась одинаково важной для представителей всех демографических и социальных групп. В научной области это событие имело несколько важных последствий (с. 99—100): «поставило под сомнение аналитический инструментарий постструктуралистской исторической науки (ускорился уже наметившийся отход от лингвистического поворота) и способствовало дальнейшему подъему наук о жизни», «ускорило начавшуюся еще во второй половине 1990-х годов биологическую революцию, ...и разговор о „вечных“ вопросах человечества — о свободе воли, о „я“, а также о чувствах — стал теперь вестись не там, где прежде, в гуманитарных науках, а в новом поле биологически ориентированных естественных наук, объединенных общим названием „науки о жизни“».

Завершает первую главу раздел, объясняющий, почему роль авангарда в истории эмоций играет медиевистика, в частности, теория «эмоциональных сообществ» Барбары Розенвейн, которая стала результатом ее критики «гидравлической модели» эмоций Хейзинги и Элиаса: они трактуют эмоции универсально — как находящиеся под поверхностью тела и становящиеся видимыми разными способами (соматически, через вербальные и невербальный знаки, в форме искусства и т.д.), но эта концепция была опровергнута когнитивной психологией в 1960-е годы (модель рациональных когнитивных процессов в мозгу) и социальным конструктивизмом в антропологии в 1970-е годы (эмоциям было отказано в универсальности). Розенвейн заменяет «большой нарратив» о нарастающем контроле эмоций теорией «эмоциональных сообществ», которые объединяют определенные системы чувств, модусы выражения эмоций и характер аффективных связей между членами (на основе личных контактов или посредством средств коммуникации), поэтому «вокруг какой-то одной эмоции сообщество образоваться не может — только вокруг нескольких» (с. 113). «Концепция эмоциональных сообществ — один из наиболее привлекательных подходов, нацеленных на изучение способов формирования и воспроизводства устойчивых эмоциональных связей в группах; она позволяет избежать ловушки индивидуальности каждого случая, ...ловушки агрегации... и не грешит ошибочным отождествлением норм, отраженных в советах по этике, с эмоциональными нормами вообще» (с. 115). Впрочем, автор приводит общую критику концепции Розенвейн (вместе с ее контраргументами) и собственные замечания, в частности, о проницаемости и недолговечности границ эмоциональных сообществ, которые ставят под сомнение необходимость самого данного понятия.

Далее будут перечислены содержательные акценты остальных трех глав книги, поскольку любые попытки суммировать их, как показывает обзор первой

главы, неоправданно увеличивают объем рецензии и превращают ее в конспект лекций по истории эмоций. Вторая глава представляет читателю «социально-конструктивистский полюс в дискуссии об эмоциях, а также о науке, которая более, чем любая другая, способствовала осознанию того, что в разных культурах о чувствах говорят по-разному (этнология/антропология)» (с. 16). Глава начинается с утверждения, что чувствовать можно по-разному, чему даются различные подтверждения, в том числе из записок путешественников и ранней этнологической литературы: скажем, медикализация субъективных страданий от уныния и упадка сил в западной культуре легитимировала понятие депрессии как нормального состояния, а в буддийской онтологии такое нарушение эмоционального равновесия просто отсутствует. Эти и иные антропологические примеры «подрывают представление об универсальности человеческих чувств и показывают, что существует межкультурное многообразие эмоций и способов их проявления... различия обнаруживаются и при перемещении вдоль меридианов и параллелей, и при движении по оси времени через десятилетия и века (например, объекты страха претерпели огромные исторические перемены, сегодня, как в конце XIX — начале XX века, нет боязни быть похороненным заживо)» (с. 126).

Следующие два раздела посвящены эмоциям в трудах классиков антропологии, хотя высказывания о чувствах в них немногочисленны: это «коллективные представления» Эмиля Дюркгейма, т.е. трактовка эмоций как ритуализаций (так, «траур не есть спонтанное выражение чувств индивидов..., не естественное движение личной чувствительности, вызванное жестокой утратой: это обязанность, налагаемая группой» — с. 135—136); Клод Леви-Стросс, выступивший против «аффективной теории сакрального» с материалистической трактовкой эмоций в духе экспериментальной психологии (телесное выражение и есть эмоция); Бронислав Малиновский, заложивший традицию дневниковой саморефлексии антропологов; Рут Бенедикт, предложившая этнопсихологический групповой портрет нации и популяризовавшая различение между «культурами стыда» (японская) и «культурами вины» (американская); концепция идей и эмоций как «культурных артефактов» Хилдред и Клиффорда Гирц. Подробно автор останавливается на ранней антропологии эмоций в 1970-е годы: детально описано полевое исследование канадских инуитов Джин Бриггс (вся их жизнь подчинена правилу никогда не злиться и жестко контролировать эмоции) и ее первая антропологическая монография об эмоциях, доказывающая «культурную контингентность выражения чувств» (с. 156), а также исследование Роберта Леви на Таити, в котором эмоции также выступают скорее как универсальные, но каждый коллектив делит их на социально значимые и незначимые. Эти два исследования автор относит к досоциальноконструктивистским, потому что «основной вывод антропологии эмоций 1970-х годов можно сформулировать в одной фразе: эмоции в основе своей одинаковы, но выражаются по-разному в разных культурах» (с. 161).

Для перехода к собственно социальному конструктивизму автор описывает влияние лингвистического поворота на антропологию (в частности, на примере практики охоты за человеческими головами у илонготов) и цитирует манифест

социально-конструктивистского подхода, сформулированный Кэтрин Латц: «рассмотреть эмоции как идеологическую практику, а не как вещи, которые надо обнаружить, или как сущность, которую надо вычленить», тогда «деконструкция и деэссенциализация позволяют увидеть в неискаженной форме местные эмоциональные конструкции». «...Эмоциональный опыт является не докультурным, а прежде всего культурным. Господствующее предположение, что эмоции одинаковы в разных культурах, заменяется вопросом о том, как один культурный дискурс об эмоциях можно переводить в другой» (с. 176).

Подчеркивая, что в книге названы лишь несколько представителей широкого социально-конструктивистского движения в антропологии, автор показывает, сколь подвижны были его границы вследствие определяющих его факторов (распространение постструктурализма из литературоведения в другие дисциплины, появление новых социальных движений, которые говорили о культурных универсалиях и равноценности всех культур, великолепная саморефлексия полевых антропологов) и сколь проблематичен социальный конструктивизм сам по себе, если довести его до логического завершения, т.е. до номиналистической неопределенности (ничто ни с чем несопоставимо и все культуры контингентны). Автор предлагает два экскурса — в социологию и лингвистику, чтобы показать продуктивные варианты использования социального конструктивизма. В социологии, «выработавшей самый чувствительный инструментарий для анализа социума», автор обнаруживает эмоции в трудах практически всех классиков, хотя расцвет социологии эмоций приходится только на 1970-е годы благодаря работам Арли Хохшильд (ввела понятие «эмоциональной работы» профессионала — приведение «истинных» чувств в соответствие с теми, которые требуются на практике, в случае неудачи наступает эмоциональный диссонанс, аналогичный когнитивному) и Евы Иллуз (проанализировала практики знакомства и построения отношений под влиянием коммерциализации любви, которая идет параллельно с ее идеализацией, — любовь превращается в «арену, на которой разыгрываются социальные различия и культурные противоречия капитализма» — с. 206). В лингвистике эмоций представлены концепции Анны Вежбицкой (оспаривает тезис психологов, что эмоциональные слова не обязательно связаны с чувствами и содержание некоторых базовых эмоций передается выражением лица, и утверждает существование общего для всех культур естественного семантического метаязыка для описания универсальных чувств), и Золтана Кевечеша, который утверждал, что лексическое значение слов не исчерпывает содержание эмоций, поэтому нужны метафоры. Для преодоления непродуктивной дихотомии социального конструктивизма и универсализма эти метафоры должны отражать универсальные моменты эмоций — их физиологическое измерение (скажем, телесные границы гнева), тем более что, как показали более поздние дискуссии о «качестве» человеческого тела (прибежище неизменной природы или телесная «составляющая» эмоций), сегодня «культура вписывает себя в тело разнообразными способами» (с. 224).

Автор верен себе и неизменно подчеркивает преимущества «„широкоугольного объектива“, который включает в поле зрения как можно больше всего и не

исключает априори ничего» (с. 229), т.е. продуктивность сравнений и эмпирической работы за рамками дихотомии «социальный конструктивизм vs. универсализм». Кроме того, он справедливо отмечает неизбежность хаоса реальности, который «сильнее любого принципа упорядочения», поэтому «даже антропология эмоций то и дело колеблется между социальным конструктивизмом и универсализмом и многие представители этой науки считают, что она находится в ловушке между этими двумя полюсами, значит, дихотомическая схема неадекватна» (с. 240).

Третья глава — самая объемная часть книги (около 150 страниц), она описывает эссенциалистский полюс дискуссии об эмоциях, предлагая читателю «обзор изучения эмоций в экспериментальной психологии с конца XIX века с особенным вниманием к новейшим нейрологическим исследованиям» (автор использует термин «науки о жизни» в качестве общего для психологии, физиологии, медицины и нейронауки в широком смысле слова) (с. 16). Хотя в предыдущих главах автор уже упоминал (в критическом ключе) теорию базовых эмоций Пола Экмана, здесь он подробно останавливается на ее основных компонентах: универсальные эмоции (радость, злость, отвращение, страх, грусть и удивление — набор и количество со временем менялись) испытывают и могут распознать в других люди всех культур, поскольку они выражаются не столько в языке, сколько в безошибочно опознаваемых (микро)выражениях лица («характерные универсальные сигналы»), которые никто не способен скрыть даже под социальной маской в угоду доминирующим нормам. Пристальное внимание к Экману автор объясняет тем, что его теория наглядно демонстрирует отличия естественнонаучной эпистемологии от социально-гуманитарной (Экман часто серьезно менял свои взгляды), активно осваивалась в социально-гуманитарных науках и стала результатом отхода от культурного релятивизма (все объясняется социальным научением) к универсализму в духе экспериментальной психологии (за что радикально критиковалась приверженцами культурного релятивизма, в частности Маргарет Мид) и в этом качестве «потерпела крах, точнее говоря, эмпирические доказательства ее гипотез очень слабы» (с. 257).

Поскольку глава получилась очень объемной, сразу после разбора теории Экмана автор прописывает ее схему в специальном разделе (с. 265—266): сначала речь идет о вкладе Чарльза Дарвина в психологию эмоций (социальные конструктивисты и универсалисты многократно пытались добиться прерогативы истолкования его книги «О выражении эмоций у человека и животных»), затем обозначены богословские истоки психологического изучения эмоций (первые физиологи и психологи эмоций, по сути, спорили с христианской теологией, отталкиваясь от нее в обосновании секуляризации и отделения чувств от воли), далее в хронологическом порядке представлены вехи на пути становления универсалистского подхода, в частности, работы Уильяма Джеймса (историзация эмоций и формула о «приоритете телесных симптомов перед воспринимаемой эмоцией»), Карла Ланге (также отделял эмоции от интенций, но отказался от «периферической» теории эмоций в пользу идеи эфферентно-афферентного «вазомоторного центра»

в мозге) и Вильгельма Вундта (в «Лекциях о душе человека и животных» провел различие между краткосрочными и сложными эмоциями и утверждал их субъективный характер и решающее значение для познания). Потом следуют параграфы о лабораторной практике, которая и конструировала концепции эмоций, преимущественно принижающие значение субъективных и языковых аспектов эмоций и демистифицирующие чувства (хотя в лабораторных условиях ученые сталкивались с массой неопределенностей, не разрешенных до сих пор), о влиянии социальных паттернов упорядочивания (стратификационные модели «наверху/власть/хозяин/рай»—«внизу/народ/рабы/ад» и «справа»—«слева») на пространственную концепцию мозга (соотношение разных структур мозга, представление о двух полушариях), о поиске места эмоций в головном мозге до изобретения нейровизуализации (три вехи — гипотеза Уолтера Кеннона и Филипа Барда, круг Джеймса Пейпеца и открытие лимбической системы Полом Мак-Лином) и об отсутствии теории эмоций у Фрейда (есть незавершенная и сложная теория «аффектов», более механистическая и биологистская, чем его позднейшие идеи о страхе и связи эмоций и культуры) — «хотя эмоции играют важнейшую роль в центральных областях психоаналитической мысли, теория чувств в нем отсутствует» (с. 316), что, впрочем, не мешает сегодня развитию нейропсихоанализа (в частности, разработана нейропсихоаналитическая модель любви).

Далее в центре внимания автора оказывается «эмоциональный бум» в психологии 1960-х годов (в частности, рассмотрены синтетическая когнитивно-физиологическая модель эмоций Стэнли Шехтера и Джерома Сингера и теория «оценки» Магды Арнольд) и бум нейронаук и методов визуализации в 1990-е годы благодаря «сказочной карьере функциональной магнитно-резонансной томографии мозга» (с. 334), наиболее частые эксперименты с использованием которой представлены сначала в формате нейтрального описания, а затем с критической точки зрения. По мнению автора, «суггестивная сила изображений головного мозга производила подлинно магический эффект, особенно за пределами области наук о жизни... Повсюду наблюдается беспрецедентное помрачение умов, заставляющее людей придавать цветовым пятнам на серых томограммах мозга прямо-таки метафизический смысл...» (с. 343). Особенно подробно критически рассмотрены три важнейших нейрологических эксперимента — два пути страха Джозефа Леду, гипотеза соматических маркеров Антонио Димасио и зеркальные нейроны Джакомо Риццолатти, Витторио Галлезе и Марко Якобони — и их применение в социально-гуманитарном знании, которое автор метафорически называет стоянием «на плечах карликов, или нейронауки — „троянским конем“ в гуманитарных и социальных науках» (с. 363).

Беспрецедентную популярность нейронаучных открытий автор объясняет рядом факторов, важнейшим из которых оказалось «успокаивающее действие, которое оказывала аура уверенности, излучаемая новым „якорем“ в виде психологии эмоций.., генетики или нейронаук... В отличие от культуры, природа может заключать в себе что-то необычайно успокаивающее... И для многих уверенность, внушаемая генами и нейронами, стала источником ответов на самые острые

вопросы, которыми они занимались на протяжении многих лет своей научной карьеры, повидав и „смерть автора“, и дискредитацию марксизма.., и демонтаж классического психоанализа» (с. 367—368). Эту идею автор иллюстрирует «нейротрендами» в литературоведении, искусствознании и политологии, где, например, «за счет переноса центра внимания на тело и аффекты и ослабления когнитивной составляющей способность к самостоятельному действию, или агентность, приписывается широкому спектру организмов и даже неодушевленным предметам» (с. 378).

Завершает третью главу описание «рыхлой коалиции критических нейронаук», которая объединяет нейрологов и представителей социально-гуманитарного знания, вышедших за рамки дихотомии «конструктивизм vs. универсализм». Главное требование автора к этой коалиции относится ко второй группе ученых — не делать смелые выводы из эффектных экспериментов, поскольку зачастую они сомнительны или даже полностью несостоятельны, т.е. «использовать заключения нейронаук можно только после основательного погружения в них... и надо с принципиальным скепсисом относиться к популяризаторам, которые обычно представляют одну-единственную гипотезу с гарниром в виде цитат из Декарта, Спинозы или Шекспира, упаковав это в форму книги, сделанной так, чтобы понравиться читателям, не знакомым с нейронаукой» (с. 391). Признавая наиболее продуктивным подход «поверх барьеров», автор показывает его возможности на примере трех тем, актуальных для представителей критической нейронауки: функциональная специализация участков мозга, нейропластичность мозга (он более не оплот неизменяемой природы, а культурный объект исторической изменчивости) и социальные нейроисследования, которые рассматривают взаимодействия индивидов (изучают эмоции в интерсубъективных ситуациях).

Наконец, в четвертой главе автор «обрисовывает перспективные ареалы исторического изучения эмоций» (с. 17), хотя к каждому из них у него есть критические замечания, как правило, касающиеся слишком сильных выводов. Прежде всего, это концепция Уильяма Редди, который использовал выводы наук о жизни, когнитивной психологии, для анализа представлений о чести во Франции и противопоставил социальному конструктивизму историческую этнографию эмоций, т.е. «транспонировал оба полюса на теорию речевых актов, разработанную философом языка Джоном Остином»: универсализм сопоставим с констативом, социальный конструктивизм — с перформативом, а эмоциональные высказывания обладают свойствами того и другого (описывают состояние мира и стремятся на него повлиять) — это эмотивы (с. 409). «Ансамбль предписанных эмотивов вместе со связанными с ними ритуалами и другими символическими практиками — эмоциональный режим», который поддерживает каждый политический режим (с. 418). В зависимости от допускаемой степени эмоциональной свободы (строгие режимы с мощными инструментами контроля эмоций или нежесткие режимы с разнообразными наборами инструментов управления эмоциями) осуществляется «эмоциональная навигация — маневрирование между различными конфликтующими объектами, на которые ориентированы эмоции» (с. 419).

Далее в главе представлено развитие теории Редди в этноистории Моник Шеер, которая трактует тело как культурный и исторический феномен, «в социальном и экологическом контексте думающее вместе с мозгом» (с. 432), и предлагает анализировать это «знающее тело» с помощью понятия практик Бурдье. Шеер выделяет четыре вида эмоциональных практик: мобилизующие (например, ухаживание за предметом любви, искупление кающимся грешником своих прегрешений в некоторых католических культурах, употребление наркотиков в сочетании с музыкой и танцами), именующие (речь, письмо и безмолвное воспоминание), сообщающие (коммуникация) и регулирующие (открытые и скрытые указания об эмоциональных нормах). За этноисторической концепцией Шеер следует нейроистория медиевиста Дэниела Смэйла, который сделал предметом исторической науки то, что происходило задолго до изобретения письменности в Месопотамии, посредством обращения к структурам головного мозга, химическим веществам тела и «психотропным механизмам — изменяющим настроение практикам, способам поведения и институтам, порожденным человеческой культурой, но существующим не только у людей» (с. 445).

В конце главы автор называет несколько областей, в которых возможна продуктивная работа по изучению истории эмоций с учетом его предостережений (скептицизм и специальные знания в области нейронаук, отказ от навешивания ярлыка «эмоция» на любое действие, которое не удается объяснить с помощью классической теории рационального выбора, отказ от разделения эмоций на положительные и отрицательные, базовые и синтетические, простые и сложносоставные), но предупреждает, что список этот не исчерпывающий: политическая история (публичное выражение эмоций в политической жизни, эмоциональное содержание политической лексики), экономическая история (катастрофические последствия и эмоциональные причины экономических крахов, эмоции разных профессиональных групп, история потребления), история права (эмоции как основа исков и законов), история средств массовой информации новейшего времени (воздействие медиа и кинематографа на аудиторию, медийные скандалы, выражение эмоций театральной публикой), устная история и эмоциональная саморефлексия историков.

Завершая поверхностный обзор замечательной научной работы (иным он быть не может, учитывая содержательную насыщенность текста), хочется отметить еще две отличительные черты книги. Во-первых, автор очень точен в оценках благодаря не только эрудированности, но и использованию множества метафорических конструкций — как собственных (книга фотографирует «ракету [взрывоопасное развитие истории эмоций] в фазе ускорения после запуска» и намечает контуры будущей «меблировки пространства истории эмоций»; заимствования из нейронаук в социально-гуманитарных дисциплинах — «попойки», за которыми наступит «ужасное похмелье»; с наступлением Просвещения «на трон был возведен разум, и потребовались жертвы — одной из них стало более строгое разделение между разумом и чувством»; социологическое исследование романтической любви превращается в «ма́стерскую вивисекцию этого феномена социологическим скальпелем»; в третьей главе автор «предостерегает Клио от беззаботных заимствований из экспериментальной психологии»; о том, насколько работа вписыва-

ется в «научный ландшафт», предлагает судить по тому, «содержатся ли в ней общедоступные кирпичи с высоким потенциалом вульгаризуемости, т.е. можно ли их заимствовать, не арендуя здание целиком»), так и одолжено-дополненных. Яркий пример последнего типа — высказывание Лоррен Дастон, что для преодоления антитезы «природа vs. культура» и «универсализм vs. социальный конструктивизм» представителям научных дисциплин в полном составе пришлось бы пройти через групповую психотерапию, т.е. проработать идейное наследие XIX века на кушетке психотерапевта: в книге автор «неоднократно предпринимал попытки как бы встать с кушетки, отворить окно и открыть вид на то, как будет выглядеть исследование эмоций после терапии» (с. 14). Для многих читателей автор открывает и «эмоциональную» составляющую классических концепций, например, утверждая, что Томас Гоббс «постоянно касался эмоций в своем творчестве... и описывал естественное состояние людей как страшное изживание чувств» (с. 37), а моральный философ Энтони Эшли-Купер, граф Шефтсбери, считал «чувства априори морально ценными, в том числе и стремление к счастью» (с. 39).

Вторая отличительная черта книги — постоянное подчеркивание автором ее незавершенного характера по причине невозможности охватить в одной работе весь накопленный по истории эмоций материал (автор презентирует книгу как «навигационный прибор» и предлагает читателю дополнить его «обзор с высоты птичьего полета» и «написанный крупными мазками набросок» чтением цитируемой литературы, «чтобы вместо общих планов увидеть нюансы и детали», хотя избранная библиография занимает в книге 42 страницы), поэтому от книги «не следует ждать „тотальной“ историографии метаистории эмоций — такой, которая связала бы существующие несколько островков знания в один архипелаг и заполнила бы океаны между ними» (с. 19). Справедливо утверждая, что история эмоций сегодня переживает бум и «золотую лихорадку», автор претендует лишь на то, что «отделал квартиру истории эмоций в доме исторических наук, предметы мебели расставлены, пусть кто-то и хотел бы расставить их иначе и будут еще какие-то перестановки» (с. 484). В конце третьей главы он признается, что можно было по-другому рассказать историю исследований эмоций в области наук о жизни, выбрать другие эксперименты, имеющие непрямую, но важную связь с эмоциями, сосредоточиться на других науках, заимствующих концепции из нейронауки, и развенчать другие мифы, однако он все равно бы пришел к тому же вопросу — должна ли историческая наука заимствовать концепции из наук о жизни и как именно? (с. 405—406). Подобные уточнения встречаются по всему тексту с завидной регулярностью, что заставляет отказаться от критики отдельных утверждений и решений автора, которые выглядят несколько сомнительно с позиций иных, чем история эмоций, дисциплин (например, что социологи склонны ссылаться на монизм Спинозы, «когда хотят повысить ценность материального, ... и ценят в монизме то, что он позволяет рассматривать мыслительные процессы как телесные» (с. 35—36); что в библиографии визуальные исследования объединены с литературоведением, а не с социологией, и др.).

Книга Яна Плампера задает много вопросов (являются ли эмоции автоматизмом или для них значимы фантазия и воображение, как соотносятся тело

и эмоции в невербальных и речевых практиках, сколь различны эмоциональные составляющие оценок и суждений в разные исторические эпохи и в разных группах и т.д.), поиски ответов на которые важны не только для историков, но и для социологов, поскольку зачастую мы занимаемся не чем иным, как измерением эмоций (и счастья в первую очередь). Соответственно, и призыв автора к исторической науке можно обратить ко всем социально-гуманитарным дисциплинам, включая социологию — «оставаться как можно более открытыми и не обставлять себя никакими табу в отношениях с соседними дисциплинами» (с. 265).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] *Гийому Ж.* Лингвистическая история концептуальных словоупотреблений, проверенная на опыте лингвистических событий // История понятий, история дискурса, история менталитета / Сб. статей под ред. Х.Э. Бёдекера. М., 2010.

[2] *Зорин А.Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016.

[3] Индекс счастья // http://soc.fom.ru/obshchestvo/11037.

[4] *Копосов Н.Е.* Замкнутая вселенная символов: к истории лингвистической парадигмы // Социологический журнал. 1997. № 4.

[5] *Луман Н.* Общество как социальная система. М., 2004.

[6] Секрет счастья самых счастливых россиян // http://fom.ru/blogs/11751.

[7] *Сонтаг С.* О фотографии. М., 2013.

[8] Счастье // https://www.levada.ru/2017/12/26/17369.

[9] Счастье есть! Сколько счастливых людей в России, и что делает их счастливыми // http://fom.ru/Tema-predlozhena-polzovatelem/11028.

[10] Счастье и кризис: кому на Руси жить хорошо? // https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=296.

[11] *Троцук И.В.* Текстовый анализ в социологии: проблемы и обещания разных типов «чтения» слабоструктурированных данных. М., 2014.

[12] Уровень счастья в России-2016 // https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115976.

[13] *Löfgren L.* Life as an autolinguistic phenomenon // Autopoiesis: A Theory of Living Organization / M. Zeleny (ed). N.Y., 1981.

[14] *Veenhoven R.* Hedonism and happiness // Journal of Happiness Studies. 2003. No. 4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-345-360

CONCEPTUAL AND EMPIRICAL FINDINGS AND GAPS OF THE HISTORY OF EMOTIONS*

Review of the book: Plamper J. Istorija emotsij [The History of Emotions]. Per. s angl. K. Levinsona. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie; 2018. 568 p.

* © Trotsuk I.V., 2018.

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. The project No. 18-011-00993 “Happiness as an interdisciplinary construct: variations of sociological conceptualization and operationalization”.

RUDN Journal of Sociology
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ
2018 Vol. 18 No. 2 361—367
http://journals.rudn.ru/sociology

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-361-367

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НОРМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: КОНЦЕПЦИЯ «НОРМАЛЬНОЙ АНОМИИ»*

Рецензия на книгу: «Нормальная аномия» в России и современном мире / Н.Н. Зарубина и др.; под общ. ред. С.А. Кравченко. М.: МГИМО-Университет, 2017. 281 с.

Наряду с несомненным прогрессом в области технологий, образования, информационной открытости, обеспечивающих людям более долгую, здоровую и качественную жизнь, нынешнее развитие мировой глобализации привело к *турбулентности социума*, чему специально была посвящена Десятая конференция Европейской социологической ассоциации [5]. В современном мире возникли принципиально новые вызовы и угрозы для общественной стабильности [7; 11]. К числу такого рода вызовов можно отнести турбулентность норм — по сути, характерной чертой современных обществ стала перманентная *нормативная неопределенность*, в реальной жизни ведущая к резкому увеличению скандалов и провокаций как на мировом уровне, так и в повседневной жизни людей [1; 10].

Данное новое состояние социума С.А. Кравченко предложил концептуализировать как *«нормальную аномию»* [3; 4]. Под его руководством авторский коллектив выпустил в свет фундаментальную коллективную монографию, в которой глубоко и всесторонне исследуется динамика аномии как патологических форм общества, показывается их историческая и культурная контекстуальность, раскрываются и анализируются социологические подходы к интерпретации их природы.

Аномия, как показал еще Э. Дюркгейм, означает состояние общества, характеризующееся «патологическими» формами социальных фактов, которые противопоставляются «нормальным» формам социальных фактов, встречающимся в большинстве типов социальных отношений и поведения людей. В качестве главного фактора возникновения аномии социолог усматривал рассогласование традиционных и индустриальных идеалов, веря в то, что «наука может помочь нам отыскать направление, в котором мы должны ориентировать наше поведение, определить идеал» [2. С. 41]. Однако аномия предрасположена к «мутации», качественно изменяется с усложнением общества — в традиционных, индустриальных и современных обществах аномия проявляется по-разному, имеет свои отличительные черты и последствия.

Р. Мертон мыслил аномию как следствие нефункциональности и дисфункциональности институтов общества, в результате чего возникают противоречия

* © Назарова Е.А., 2018.

между культурными целями, ориентирующими людей на успех, и институциональными средствами, предоставляющими «приемлемые способы достижения этих целей» [6. С. 118].

Сегодня аномия, несомненно, включающая в себя проявления прежних форм социальных патологий, обретает иную, более сложную природу. Представляется обоснованным особое внимание, которое уделяется «концу определенности» [17], возрастанию турбулентности социальных и природных явлений, проявляющихся в естественности разнообразных парадоксов [13], кентавризмов [12], в моральной слепоте [15], что в итоге обусловило необходимость «переоткрытия» аномии. Исследователи выдвигают и обосновывают тезис о том, что если раньше аномия носила исторически преходящий характер, то ныне она стала *нормой* жизни [8. С. 6]. В современном мире очевидна дисперсия ценностных ориентаций и референтов, норм и правил, которые в разной степени одобряются и принимаются сообществами, что необходимо учитывать при анализе ситуаций в разных сферах жизнедеятельности и брать за основу при разработке стратегий развития общества.

Вполне оправдано, что в монографии акцент сделан на изучении социальных полей, в которые прежде всего входит молодежь. Книга адресована студентам и аспирантам, однако будет интересна преподавателям и специалистам, так как в ней можно увидеть попытку объяснить и предложить через познание, осмысление и понимание конструктивное решение проблем взросления индивида, его вхождения в современный усложняющийся мир, открывающий вселенную неопределенностей, вызовов, угроз и рисков. Для молодых людей особую проблему представляет «ничто» — возникающие под влиянием процессов глобализации и десоциализации социальные формы, «лишенные определенного ценностного содержания», в которых человеческие отношения дегуманизируются [18. P. 3]. Авторы ставят вопрос, как в многообразии культурных артефактов увидеть «ничто» и отличить его от уникального «не́что», понять значимость сущностного контента, которым наделяются действительно важные элементы, предопределяющие не только наш повседневный выбор, но и наше поведение, жизненные установки и устремления.

Принимая во внимание объективные факторы глобального порядка, к которым П. Штомпка относит *становление* — перманентное, незавершающееся структурно-функциональное обновление институтов [19], понятна необходимость не только понимания угроз и последствий этих процессов, но и выстраивания индивидуальных стратегий выживания в мире «нормальной аномии».

Увы, оптимизма рефлексия сегодня не добавляет: социальные изменения проходят в форме культурной травмы, имеет место плюрализация социального времени, виртуализация реальности и реализация виртуальности, макдональдизация всех сфер жизни общества, включая образование, здравоохранение, семейные отношения и т.д. Однако раскрытие природы происходящих процессов вселяет надежду на формирование альтернативных социальных сил, способных минимизировать пагубные последствия «нормальной аномии». Осознание того, что живешь

в «не-месте», потребляешь «не-вещи» и «не-еду» (М. Фуко, Ж. Бодрийяр), окружен «не-людьми» (И. Гоффман, Дж. Ритцер, З. Бауман), переживаешь «не-события» (Ж. Бодрийяр), вызывает желание поиска альтернативной, «действительной реальности», особенно у критически мыслящих людей, имеющих о современных социальных патологиях достаточно глубокие знания. Однако в зоне риска пока остаются целые поколения, рожденные и взрослеющие на турбулентных нормах «нормальной аномии».

Значит ли это, что рискофобия становится спасением и может реанимировать привычные нормы и ценности? Где грани здравого восприятия происходящих в обществе изменений? Ответы на эти и множество других вопросов относительно стратегий противостояния массовому производству «текучего страха» (З. Бауман) можно найти во второй главе монографии. Если рискофобия, зародившаяся в эпоху индустриального модерна, изначально проявлялась в восприятии личностных и промышленных рисков, то в период второго, рефлексивного модерна, в условиях глобализации и децентрализации риски несоизмеримо усложняются, возникают перманентные уязвимости. Вместе с тем сложные риски при адекватном подходе могут стать фактором свободы, «демократизации демократии» (Э. Гидденс). Умение ориентироваться в природе, многообразии рисков и видеть их латентные, отложенные последствия позволяет избегать гипертрофированных форм рискофобии и не впадать в рискофилию, которая рассматривается авторами монографии как естественная составляющая «нормальной аномии». Новый социальный тип «человек риска» культурно предрасположен к рискофилии, и социальная мотивация таких людей — принадлежность к «креативным, сильным духом и телом, избранным», риск ими воспринимается не только как благо, но как некое достояние, формирующее символическое достоинство. Такие молодые люди в современном обществе появляются все чаще, но их действия амбивалентны: по своим последствиям они могут быть как функциональны, так и дисфункциональны для общества. Именно сосуществование в современном обществе как практик избегания (рискофобия), так и добровольного принятия риска (рискофилия) говорит об усложнении «нормальной аномии» [8. С. 66].

Одним из проявлений «нормальной аномии» являются разрывы преемственности ценностных и нормативных оснований общества, зачастую обусловленные разницей восприятия неопределенностей, рисков и угроз представителями разных поколений. В третьей главе авторы рассматривают турбулентность и подвижность нравственных стандартов в социализации российской молодежи.

Основываясь на результатах эмпирических исследований Фонда «Общественное мнение» и экспертных оценках [9; 14], Н.Н. Зарубина отмечает, что однозначные нравственные ориентиры уходят в прошлое, уступая место мультиморальности как признанию за людьми права жить по их собственным нравственным принципам, отличающимся от общепринятых [8. С. 80—104]. «Нормальной аномии» она противопоставляет этику ответственности и справедливо задает вопрос о том, какова перспектива принятия этики ответственности российской молодежью, если основные факторы ее формирования — институциональные и со-

циокультурные — также подвержены «нормальной аномии». Инфантилизация молодежи — результат влияния модернизированных основных агентов социализации — семьи, перекладывающей свои социализирующие функции на средства массовой коммуникации, системы образования, претерпевающей постоянные «усовершенствования», которые касаются технологических аспектов и зачастую упускают из поля зрения самого ребенка. Внимание подрастающего поколения сосредотачивается не на дифференциации Добра и Зла, а на ярких, динамичных, примитивных по сути и содержанию, но вызывающих позитивные ощущения медийных продуктах. Результат инфантилизации —утрата ответственности как неотъемлемого качества взросления индивида, что сказывается и на жизненных стратегиях молодежи: осуществляется выбор в пользу наиболее «окупаемых» и востребованных работодателем профессий в сфере бизнеса, который и сам склонен к отступлению от ответственных практик в силу преобладания эгоистических ориентаций [8. С. 101]. Таким образом, этика ответственности усваивается молодым поколением в виде ответственности за свое собственное благополучие и жизненный успех, а не за будущее страны и человечества.

Пожалуй, наибольший резонанс «нормальная аномия» внесла в понимание семьи как социального института и «ячейки общества». Ведь из всех перемен, происходящих в мире, важнее всего те, что затрагивают нашу личную жизнь.

А.В. Носкова обосновывает актуальность применения концепции «нормальной аномии» для изучения семейных проблем, рассматривая современную семью и как ресурс благополучия, и как источник риска для общества. Уход от универсальных норм-регуляторов семейного поведения неизбежно влечет аномичные последствия в других сферах — демографической, экономической, политической и т.д. Возрастает опасность, что скоро некому и незачем будет объяснять, «что такое хорошо и что такое плохо». Сегодня происходит переформатирование представлений о сущности семьи и брака в сознании молодых людей, а установки на бездетность воспринимаются нормальными, что снижает социальную ответственность и способствует реализации свободы [8. С. 120—123]. Усиление рисков и уязвимостей социализации в условиях «нормальной аномии» предполагает бóльшую включенность в этот процесс семьи, более плотный эмоциональный, моральный, когнитивный и физический контакт между членами этой «ячейки общества». Однако дигитализация нашей жизни стимулирует замену непосредственных контактов опосредованными, приводит к «дистанцированию любви» [16], формализации и утрате актуальности этой малой социальной группы.

Весьма интересен подход авторов к социальным группам как определенным «перформансам», имеющим демонстративных характер — когда символы принадлежности к группе более значимы, чем принципы идентификации с ней [8. С. 150—193].

Не обошла «нормальная аномия» и, казалось бы, устойчивую сферу — финансовую [8. С. 177—220]. Вполне естественное стремление человека к благополучной, обеспеченной жизни сегодня сталкивается с большим количеством практически непреодолимых препятствий, таких как экономический кризис, спад производства,

инфляция, безработица и т.д., что неминуемо сказывается на восприятии денег как мифологизированного средства решения всех жизненных проблем, универсального мерила достоинства, состоятельности и успешности личности. В постмодернистской российской мифологии модернистский миф денег-божества, денег-универсума трансформировался в миф денег-стихий, самостоятельной энергетической сущности, которая существует автономно от человека, а те, кто научился управлять этой сущностью, якобы владеют миром. Как альтернатива мифологизации денег выступает тенденция их «уничижения» (деньги как «ничто» — введение в оборот виртуальных денег, электронной валюты, отказ от наличных платежей и т.д.).

Весьма интересна позиция авторов по поводу влияния «нормальной аномии» на религиозную сферу, межконфессиональные взаимодействия в рамках государственных отношений и религиозных установок [8. С. 220—252]. Казалось бы, изначально традиционная и традиционалистская сфера претерпевает серьезные изменения в форме дисперсии религиозных этик и идей, что проявляется в межконфессиональных противостояниях, усилении террористической угрозы, радикализации религиозных взглядов. Государственное регулирование конфессиональных отношений авторы рассматривают через призму двух тенденций — «политизация религии» и «религизация политики».

Завершающий раздел монографии оправданно отдан интернет-пространству — как альтернативной, а зачастую уже и основной среды жизнедеятельности современной молодежи и сферы профессиональной деятельности большого количества социальных групп и институтов.

Возможно, заинтересованный читатель не найдет исчерпывающие ответы на все затронутые в книге вопросы, но важно то, что они пробуждают критическую мысль. Реалии турбулентного современного общества устойчивы, их надо изучать, чтобы выработать эффективные и адекватные средства жизни в условиях «нормальной аномии».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] *Дмитриев А.В., Сычев А.А.* Скандал. Социофилософские очерки. М., 2015.
[2] *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. М., 1996.
[3] *Кравченко С.А.* «Нормальная аномия»: производство «ничто» // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 3.
[4] *Кравченко С.А.* «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования. 2014. № 8.
[5] *Кравченко С.А.* К итогам X Конференции ЕСА // Социологические исследования. 2012. № 3.
[6] *Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. 1992. № 2.
[7] *Назаров А.Д.* Этномиграционные угрозы и вызовы вокруг и внутри современной России // Новые вызовы и угрозы стабильности в России — прогноз и меры по их нейтрализации и противодействию. М., 2015.
[8] «Нормальная аномия» в России и современном мире / Н.Н. Зарубина и др.; под общ. ред. С.А. Кравченко. М., 2017.

[9] *Овсянников А.А*. Новое поколение: долгая дорога в поисках новых идеалов и смыслов жизни // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 1.
[10] Провокация: сферы коммуникативного проявления / Под ред. А.В. Дмитриева. М., 2016.
[11] *Тощенко Ж.Т.* Общества травмы // Независимая газета. 23.01.2018.
[12] *Тощенко Ж.Т.* Кентавр-проблема (Опыт философского и социологического анализа). М., 2011.
[13] *Тощенко Ж.Т*. Парадоксальный человек. М., 2008.
[14] *Шереги Ф.Э.* Российская молодежь: настроение, ожидания, ценностные ориентации. М., 2013.
[15] *Bauman Z., Donskis L.* Moral Blindness. The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Cambridge; 2013.
[16] *Beck U., Beck-Gernsheim E*. Distant Love: Personal Life in the Global Age. Cambridge, 2014.
[17] *Prigogine I.* The End of Certainty. N.Y., 1997.
[18] *Ritzer G.* The Globalization of Nothing. University of Maryland, 2004.
[19] *Sztompka P.* Society in Action: A Theory of Social Becoming. Cambridge, 1991.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-361-367

TURBULENT NORMS OF CONTEMPORARY SOCIETY: THEORY OF "NORMAL ANOMIE"*

Review of the book: "Normalnaya anomiya" v Rossii i sovremennom mire ["Normal Anomie" in Russia and Contemporary World]. N.N. Zarubina i dr.; pod obsch. red. S.A. Kravchenko. Moscow: MGIMO-University, 2017. 281 p.

REFERENCES

[1] Dmitriev A.V., Sychev A.A. *Skandal. Sociofilosofskie ocherki* [Scandal. Social-philosophical Essays]. Moscow; 2015 (In Russ.).
[2] Durkheim E. *O razdelenii obshchestvennogo truda* [The Division of Labor in Society]. Moscow; 1996 (In Russ.).
[3] Kravchenko S.A. "Normalnaya anomiya": proizvodstvo "nichto" ["Normal anomie": The production of "nothing"]. *Sociologicheskaya Nauka i Socialnaya Praktika*. 2015: 3 (In Russ.).
[4] Kravchenko S.A. "Normalnaya anomiya": kontury kontseptsii ["Normal anomie": The contours of the concept]. *Socologicheskie Issledovaniya*. 2014: 8 (In Russ.).
[5] Kravchenko S.A. K itogam X Konferentsii ESA [The results of the Xth Conference of the ESA]. *Sociologicheskie Issledovaniya*. 2012: 3 (In Russ.).
[6] Merton R. Socialnaya teoriya i socialnaya struktura [Social theory and social structure]. *Sociologicheskie Issledovaniya*. 1992: 2 (In Russ.).
[7] Nazarov A.D. Etnomigratsionnye ugrozy i vyzovy vokrug i vnutri sovremennoj Rossii [Ethnic-migration threats and challenges around and within contemporary Russia]. *Novye vyzovy i ugrozy stabil'nosti v Rossii — prognoz i mery po ih nejtralizatsii i protivodejstviyu.* Moscow; 2015 (In Russ.).

* © Nazarova E.A., 2018.

[8] *"Normal'naya anomiya" v Rossii i sovremennom mire* ["Normal Anomie" in Russia and Contemporary World]. [N.N. Zarubina i dr.; pod obsch. red. S.A. Kravchenko. Moscow; 2017 (In Russ.).
[9] Ovsyannikov A.A. Novoe pokolenie: dolgaya doroga v poiskah novyh idealov i smyslov zhizni [New generation: A long road in search of new ideals and meanings of life]. *Sociologicheskaya Nauka i Socialnaya Praktika*. 2015: 1 (In Russ.).
[10] *Provokatsiya: sfery kommunikativnogo proyavleniya* [Provocation: Spheres of Communicative Manifestation]. Pod red. A.V. Dmitrieva. Moscow; 2016 (In Russ.).
[11] Toschenko Zh.T. Obschestva travmy [Societies of trauma]. *Nezavisimaya Gazeta.* 23.01.2018 (In Russ.).
[12] Toschenko Zh.T. *Kentavr-problema (Opyt filosofskogo i sociologicheskogo analiza)* [Centaur-Problem (Philosophical and Sociological Analysis]. Moscow; 2011 (In Russ.).
[13] Toschenko Zh.T. *Paradoksalnyj chelovek* [Paradoxical Man]. Moscow; 2008 (In Russ.).
[14] Sheregi F.E. *Rossijskaya molodezh: nastroenie, ozhidaniya, tsennostnye orientatsii* [Russian Youth: Mood, Expectations, ands Value Orientations]. Moscow; 2013 (In Russ.).
[15] Bauman Z., Donskis L. *Moral Blindness. The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity*. Cambridges; 2013.
[16] Beck U., Beck-Gernsheim E. *Distant Love: Personal Life in the Global Age*. Cambridge; 2014.
[17] Prigogine I. *The End of Certainty*. New York; 1997.
[18] Ritzer G. *The Globalization of Nothing*. University of Maryland; 2004.
[19] Sztompka P. *Society in Action: A Theory of Social Becoming*. Cambridge; 1991.

НАШИ АВТОРЫ

Алешковский Иван Андреевич — кандидат экономических наук, заместитель декана факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: aleshkovski@fgp.msu.ru).

Андреев Алексей Игоревич — кандидат биологических наук, заместитель декана факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: andreev@fgp.msu.ru).

Вершинина Инна Альфредовна — кандидат социологических наук, доцент кафедры современной социологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: urbansociology@yandex.ru).

Гриценко Святослав Александрович — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков Московского технологического университета (МИРЭА) (e-mail: gricenko@mirea.ru).

Долгорукова Ирина Владимировна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского государственного социального университета (e-mail: DolgorukovaIV@rgsu.net).

Зинькина Юлия Викторовна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; стажер-исследователь факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: juliazin@list.ru).

Карасев Дмитрий Юрьевич — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономической и социальной истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: karasev-dy@ranepa.ru).

Кириллов Андрей Владимирович — доктор исторических наук, декан факультета управления Российского государственного социального университета (e-mail: KirillovAV@rgsu.net).

Кравченко Сергей Александрович — доктор философских наук, заведующий кафедрой социологии Московского государственного института междуна-

родных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации; главный научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: sociol7@yandex.ru).

Куропятник Александр Иванович — доктор социологических наук, заведующий кафедрой культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: alkuropjatnik@mail.ru).

Куропятник Марина Степановна — доктор социологических наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: kuropjatnik@bk.ru).

Мазаев Юрий Николаевич — кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Российского государственного социального университета (e-mail: MazaevJUN@rgsu.net).

Милошевич Шошо Биляна Чедомир — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Университета Восточного Сараево (e-mail: milosevic_biljana@yahoo.com).

Назарова Елена Александровна — доктор социологических наук, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: helena_nazarova@mail.ru).

Нарбут Николай Петрович — доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов, главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (e-mail: narbut_np@rudn.university).

Рубан Лариса Семеновна — доктор социологических наук, главный научный сотрудник Отдела социологии молодежи Института социально-политических исследований Российской академии наук, руководитель международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком») (e-mail: lruban@yandex.ru).

Танатова Дина Кабдуллиновна — доктор социологических наук, декан факультета социологии Российского государственного социального университета (e-mail: TanatovaDK@rgsu.net).

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru).

Цвык Анатолий Владимирович — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (e-mail: tsvyk_av@rudn.university).

Чернова Надежда Ивановна — доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой иностранных языков Московского технологического университета (МИРЭА) (e-mail: chernova@mirea.ru).

Шульгин Сергей Георгиевич — кандидат экономических наук, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: sergey@shulgin.ru).

Юдина Татьяна Николаевна — доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии Российского государственного социального университета (e-mail: JudinaTN@rgsu.net).

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 26 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — **«Библиографический список»** и **«References»**. Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
   - **аннотация** (резюме) объемом 250—300 слов на русском и английском языках;
   - **список 7—8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
   - **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность,

ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес.

Решение о публикации выносится в течение трех месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: http://journals.rudn.ru/sociology/index.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors, где также приведена подробная информация для авторов.

AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and inter-disciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 26 to 50 thousand symbols for articles; from 12 to 20 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter "P", indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables**, **diagrams**, **graphs**, **and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to 'References' can be found on the journal's website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
   - **abstract (summary)** of 250—300 words in Russian and English;
   - **a list of 7—8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
   - **information about the author** in Russian and English, including: the author's full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as **the author's contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address.

The decision as to publication is made within three months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: http://journals.rudn.ru/sociology/index.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors, which also provides the detailed information for authors.